

АНТИЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА



ТЕОДОР ГОМПЕРЦ



ГРЕЧЕСКИЕ  
МЫСЛИТЕЛИ

СЕРИЯ

АНТИЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

ИССЛЕДОВАНИЯ



ТЕОДОР ГОМПЕРЦ



ГРЕЧЕСКИЕ  
МЫСЛИТЕЛИ

ТОМ ВТОРОЙ



СЕРИЯ

АНТИЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА



ИССЛЕДОВАНИЯ



Издательство  
«АЛЕТЕЙЯ»  
Санкт-Петербург  
1999



ТЕОДОР ГОМПЕРЦ



ГРЕЧЕСКИЕ  
МЫСЛИТЕЛИ



Перевод с немецкого  
*Д. Жуковского и Е. Герцык*

Научная редакция нового издания,  
комментарии, примечания и предисловие  
*А. В. Цыба*

*Научное издание*



Издательство  
«АЛЕТЕЙЯ»  
Санкт-Петербург  
1999



ББК 13011 (Герм.)

Т. Гомперц (2)

Основатель и руководитель серии:

*О. Л. Абышко*

Т. Гомперц (1832–1912) — выдающийся немецкий (австрийский) исследователь античной культуры, один из самых авторитетных и уважаемых специалистов по классической филологии (профессор классической филологии в Венском университете с 1873 г.) и истории античной философии, наряду с В. Виндельбантом и Э. Целлером. «Греческие мыслители» (Griechische Denker, Bd. 1–3, 1896–1909) — главный труд его жизни, непревзойденный и по нынешний день по широте охвата многочисленных проблем, универсальности анализируемого фактического материала, богатству привлекаемых источников. Чрезвычайно оригинален творческий метод, положенный Т. Гомперцом в основу своего сочинения: он стремится установить аналогии, почти всегда очень удачные, между греческими мыслителями современной эпохой. Ученый также выдвигает на первый план научную ценность физических теорий древности и подчеркивает роль софистов как просветителей. Все это, наряду с энциклопедическим размахом изложения, делает данное издание не только увлекательным чтением для всех специалистов и любителей античности, но и настоящим учебным пособием по античной культуре.

Перевод «Греческих мыслителей», выполненный для первого русского издания 1912 г., тщательно отредактирован: сверен с оригиналом, исправлено чтение имен, устаревших терминов, добавлены обширные комментарии, учитывающие современное освещение проблем. Тексту книги предпослана вступительная статья о жизни и творчестве этого выдающегося ученого.

© Издательство «Алетейя» (СПб), художественное оформление, редакция текста — 1999 г.

© А. В. Цыб, предисловие, комментарии, примечания, редакция текста, 1999 г.

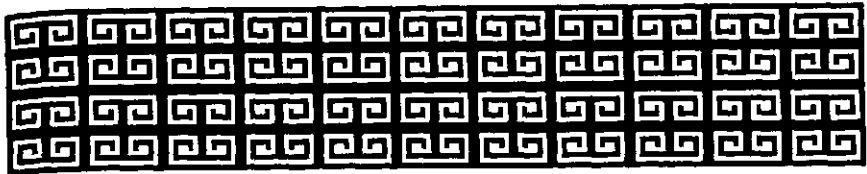
## СОКРАТ И СОКРАТИКИ

Διὸ καὶ Κλεάνθης ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ ἡδονῆς τὸν Σωκράτην φησὶ παρ' ἑκάστα διδάσκειν, ὡς ὁ αὐτὸς δίκαιός τε καὶ εὐδαίμων ἀνὴρ, καὶ τῷ πρώτῳ διελόντι τὸ δίκαιον ἄλλο τοῦ συμφέροντος καταρᾶσθαι ὡς ἀσεβές τι πρᾶγμα δεδρακότι.

*Κлимент Александрийский, Stromata II 22, 499. Potter*

«Потому-то и Клеанф в своем втором рассуждении „О наслаждении“ говорит об учении Сократа, столь часто им повторявшемся, что человек праведный и человек счастливый одно и то же. Он проклинал того, кто впервые разделил одно от другого справедливое и полезное, и находил, что это было делом нечестивым».

*(пер. Н. И. Корсунского)*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ \*

### Перелом в религии и в нравах

1. Гомеровские произведения рисуют нам лишь начатки городской жизни. Увеличение плотности населения и разделение труда, и в результате стечение больших масс народа в городах, значение которых растет с каждым годом, — все это, без сомнения, главные факторы дальнейшей эволюции. Широкое развитие городской жизни оказывает свое влияние в моральном и религиозном отношениях. Социальные инстинкты, коренящиеся в семейных чувствах и обнаруживающие свое влияние в героическую эпоху вне узкого круга кровного родства только там, где они основываются на отношениях личной верности, захватывают теперь область более широкую. Социальная мораль достигает гораздо большей силы, когда она медленно, с преодолением многочисленных препятствий постепенно распространяется на широкие круги людей. Правда, пропасть, разделяющая враждующие сословия, очень велика, партийная ненависть исключает, по-видимому, всякое общение между борющимися сторонами. Необузданная ненависть мегарского аристократа Феогида доходит до того, что он хочет «пить темную кровь» своих недругов (вторая половина шестого столетия),\*\* а гомеровские герои хотят «сырjem поестъ» тела своих врагов. И партийный дух настолько владеет умами, что в поэтических произведениях того же Феогида слова «хорошо» и

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Феогид — поэт из Мег, автор «Элегий», в которых высказывает отрицательное отношение к демократическим порядкам. (Прим. ред.)

«дурно» означают не моральную ценность, а служат исключительно для обозначения двух борющихся между собой сословий. Но наш взор не должен сосредоточиваться исключительно на том, что разделяет людей. Внимания нашего заслуживает и объединяющая их связь, которая постепенно крепнет.

Человеческая жизнь стала цениться выше. У Гомера уплата пени ограждала убийцу от мести родственников. Кровная месть не есть правило, она — исключение.\* Нравственное мерило послегомеровского времени гораздо строже. Смерть всегда требует кровной мести: пока она не выполнена, община считается запятнанной, боги оскорбленными, а потому сама государственная власть исполняет обязанность мщения, правда, не без участия потерпевшего. Эту эволюцию объясняли уже описанным нами раньше углублением веры в души и влиянием ряда пророков, которым Дельфийский оракул указал, по-видимому, путь нравственной реформации. Это отчасти правильно, но не всецело. Что наказание за злодеяние есть дело общины, что на ней лежит пятно, если за преступлением не последовало наказание, на эту перемену в воззрениях указанные выше причины должны были оказать влияние; сама по себе кровная месть не указывает непременно на прогресс нравов. В современной Аравии среди обитателей пустыни в обычае наследственная месть, а городские жители довольствуются пеней. Нравы гомеровского времени не имеют характера первобытности; скорее здесь можно говорить о разрушении первоначальных нравов, которое могло наступить в эпохи переселений и воинских походов, когда ценность жизни падает ниже нормы и когда ослабляются родовые связи. Мы уже встречали примеры, когда вера и обычаи послегомеровского времени оказывались наследием далекого прошлого (I 72), а гомеровские поэмы рисуют нам такое состояние, которое не лежит на прямом пути развития, а представляет собою как бы отклонение от него.

Нужно указать еще на одно обстоятельство. Если в этом культурном прогрессе сказалось влияние боговдохновенных людей, то они были только орудиями прогресса, происшедшего от общих причин. Замена неоседлой жизни на войне оседлой и мирной, преобладающее значение городского населения со

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



свойственными ему представлениями изменили представление о мире богов. Силы природы, почитаемые только за их власть над человеком, возводятся в сан защитников и охранителей правового порядка, которого требует общественное благо. Так как одновременно с этим прогресс естествознания содействовал связыванию мира в одно целое и потому деятельность богов не представлялась более игрой сталкивающихся настроений и страстей, то можно сказать, что уже были налицо условия для указанного изменения религиозных воззрений, которые с приблизительной точностью мы можем обозначить как облагораживание первоначальных потенций. Мы говорим: с приблизительной точностью, ибо греческая религия всегда оставалась религией природы. Но в центре ее теперь стоит власть, охраняющая право, карающая злодеяние, власть, главным образом воплощенная в высшем или небесном боге, в Зевсе,<sup>1</sup> к которому, однако, обращаются так же, как к «богу» вообще или к «божественному», причем, однако, вера в многобожие не терпит при этом серьезного ущерба. Такое противоречивое воззрение на божество мы уже видели у Геродота (I 232). Мы встречаем его и у великих поэтов, иногда у трагиков, и прежде всего у Эсхила.

2. Мы не хотим пройти мимо величайшего греческого поэта, не сказав о нем нескольких слов. О просветляющем влиянии поэзии говорят многие и, по-видимому, гораздо больше, чем они его испытали. Кто хочет непосредственно испытать это чувство, тому нужно лишь заглянуть в драмы Эсхила. Достаточно прочесть из них двадцать строчек, чтобы почувствовать себя внутренне освобожденным, возвышенным, обогащенным. Мы стоим здесь перед пленительной загадкой человеческой природы. Поэзия, как и музыка, в меньшей степени другие искусства и красота природы способны вызывать в душе мир, связанный с господством цельной личности над ее элементами, и давать высокое наслаждение, свойственное этому психическому состоянию равновесия. Как происходит такое влияние, об этом лучше скажет нам будущее, когда решение эстетических и моральных вопросов будет опираться на биологию. Два обстоятельства мешают нам, однако, счесть великого поэта и его последователей показателями перемены образа мысли эллинов. Внял ли поэт менее увковолится художественными за-

дачами, чем спекулятивными и религиозными намерениями; драматург вынужден наделять своих персонажей мыслями и настроениями, которые лишь отчасти совпадают с его собственными. Но если мы примем в соображение эти ограничения, все же остается достаточно, чтобы признать огромное значение за свидетельством этого человека, который является не только зеркалом, но и деятелем разбираемого нами культурного процесса.

Эсхил — это тот, который больше, чем всякий другой, наделил образ высшего бога, «повелителя повелителей», «блаженнейшего из блаженных», чертами карающего и награждающего судьи. Для него незыблемо убеждение, что всякая несправедливость должна быть искуплена, и искуплена здесь, на земле. Этот оптимизм не должен нас удивлять. Эсхил боролся при Марафоне, при Саламине, при Платеях!\* Он пережил то чудо, когда мировое могущество «великого царя» разлетелось в прах перед маленькой Грецией, перед его скромным родным городом. Как мог сомневаться во всемогуществе божественной справедливости тот, кто видел подобный суд Божий и удостоился быть участником его выполнения! В этой мысли, в утешительном ожидании, что о «скалу права» «разобьется» всякая неправда, живет поэт и с этой мыслью он творит.\*\* Эта надежда делает его счастливым. «Ибо если сила и право идут рядом, то кто видел более дивную пару?» Поэтому и взор его редко проникает за грани здешнего мира (как мы уже говорили). Восторги потустороннего мира, о которых так вдохновенно говорит фиванский поэт, Пиндар, имеют мало значения для афинского драматурга. Если на драмах Эсхила сияет блеск освободительных войн и побед, то все же ему не совсем чужды и темные, первобытные, иррациональные черты греческой религии. Как и Геродоту, ему также знакомы и зависть, и не-благоволение богов.

Но этим наследственным чертам отцовской веры он уделит место на заднем плане той мировой картины, которую набросал.

\* В битвах на Марафонской равнине (420 г. до н. э.), при о. Саламине (480 г. до н. э.) и при Платеях в Беотии (479 г. до н. э.) греки нанесли сокрушительное поражение персам. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Вспомним трилогию «Прометей». Вина титана — его благоволение к людскому роду, по этой причине и терпит он Зевсом ниспосланную на него невыразимо тяжелую муку. Однако она не бесконечна. Великое творение заканчивалось примирением с Богом небес и освобождением прикованного благодетеля людей. Здесь мы встречаемся с тем, что можно назвать прогрессом, приближением к более чистому и высшему идеалу в среде богов. Это необычайное событие, аналогичное установлению мира в природе после борьбы, допускает единственное объяснение. Дело шло о разрешении противоречия между религиозным преданием и собственным убеждением поэта. Та же черта исторической эволюции лежит и на «Орестее». Заповедь беспощадной мести за убийство выполняется Орестом по внушению Дельфийского бога. Но убийцу матери охватывает безумие, насланное мстительными духами Клитемнестры. Другими словами, гуманное чувство поэта и его времени восстает против беспощадной строгости древнего кровавого обычая.\* Основание ареопага, руководящего более человеческими чувствами, примиряет противоречивые требования. К вышеупомянутому мотиву при обработке сказания присоединялся, может быть, еще и другой, более субъективный. Могучая натура поэта обрела мир в своей душе, наверное, не без борьбы. Может быть, он хотел изобразить этот процесс медленно и мучительно приобретенного просветления; может быть, он бессознательно ввел свои психические переживания в историю богов. Но если Эсхил является нам главным свидетелем облагорожения и гуманизации богов, то он не всецело покинул родную почву греческой естественной религии. Колебания в религиозных вопросах, которые мы видели у Геродота, встречаются и у нашего, несравненно более последовательного драматурга. В отрывке из «Дочерей солнца», на который мы уже указывали однажды по другому поводу (I 86), Эсхил выступает провозвестником пантеистического мирозерцания, отождествляя Зевса со вселенной. Такое признание ясно показывает нам, насколько религиозные понятия той эпохи были лишены догматической неподвижности.

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Рядом с новым цепко держится и старое. Оно даже временами осиливает новое, — например, у второго великого поэта-трагика, у Софокла. Последний стоит несколько ближе к Гомеру, чем его предшественник. Правда, дух драм Эсхила коснулся и его. Почти все основные мысли Эсхила повторяются у Софокла, но в более смягченном тоне, хотя часто с резким диссонансом. Преимущества и недостатки его духовного склада ясно выступают здесь. У него меньше силы мысли, но больше наблюдательности. Про него можно сказать, что он менее априорист и более эмпирик, чем Эсхил. Отсюда большее разнообразие индивидуальных фигур и более отчетливое их изображение, отсюда же и меньше единства жизни- и мирозерцания. Раньше много говорили о «нравственном миропорядке»,\* присутствующем в трагедиях Софокла. Более внимательная и беспристрастная критика разрушила это обманчивое представление. Судьбой человека, по мнению Софокла, руководят боги. Однако между характером действующего лица и судьбою, его поражающей, часто наблюдается резкая дисгармония. Поэт беспомощно взирает на ужасную, подчас жесточайшую судьбу, но он молитвенно склоняется перед загадками божественного мироуправления. Недаром современники называли его «одним из самых благочестивых», а также «одним из смелейших афинян».\*\* Он не изъявляет претензии на понимание всего и не дерзает восставать против непонятого. Только порою в разных творениях его слышится крик оскорбленного чувства справедливости или боязливого сомнения. Но в общем он терпеливо сносит суровость мирового потока. Можно здесь говорить и об отречении, а также, насколько это допустимо для удивительно уравновешенной натуры, исполненной патриотической гордости и художественного творчества, об «отреченном унынии». Оно продиктовало ему суровое изречение: «Самое большое благо — не родиться»\*\*\*. Это то же настроение, которое мы находим в творениях Геродота, его друга, и в поэзии Вакхилида.\*\*\*\* Непостоянство счастья, изменчивость всего земного, непрочность человеческого существ-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* Родился в 505 г. до н. э. в Иулиде на о. Кеос, ум. ок. 450 г., автор эпиникиев (песен в честь победителей всегреческих спортивных состязаний) и дифирамбов (гимнов, посвященных богу Дионису), современник и соперник поэта Пиндара. (Прим. ред.)

вованя — все это, правда, темы, трактовавшиеся с различными оттенками и в разной степени интенсивности во многие не вполне поверхностные эпохи. На ярко-светлом небе греческого миросозерцания, в период времени от Гомера до Геродота, все более и более сдвигались тучи. И когда только что упомянутый историк жалуется, что Греция в его время поражена более тяжелыми болезнями, чем в течение двадцати предшествующих поколений, то это утверждение дает нам ключ к пониманию особого тона, с которым Геродот, Софокл и, прежде всего, Еврипид говорят о бедствиях, связанных с человеческой жизнью.\*

3. У Еврипида подобные утверждения встречаются не как случайные и единичные. Мысль, заключающаяся в вышеприведенном изречении Софокла, является для него общим местом. Наиболее ярко это пессимистическое воззрение на жизнь выразилось в следующих строках: «Новорожденного встречает глухой стон, предвещающий об ожидающем его страдании; в могилу, после освобождения смертью, его сопровождает радостное, праздничное пение». Если нас спросят об общих причинах такого настроения, то прежде всего придется указать на усиление рефлексии.<sup>2</sup> Это кажется парадоксом, но это так. Предположим, что изобретательность нашего времени достигла необычайного, ей удалось освободить наши органы чувств от всякой пространственной границы, совершенно уничтожить различие близкого и далекого для зрения и слуха. Возможно, что наша жизнь станет тогда невыносимой, ибо прилив мучительных впечатлений будет неотступно нас осаждать. Мы непрестанно будем слышать стоны и рождающих и умирающих. Вряд ли торжественные возгласы счастливых могут уравновесить неприятные восприятия звуков страдания. Подобное же действие производит рефлексия. Она в большой степени смягчает различие близкого и далекого во времени. Она значительно усиливает способность и воображения и воспоминания. Прошедшее и будущее соперничают при ее помощи с настоящим. Беззаботную веселость юности она превращает в серьезность зрелого возраста, который с сожалением смотрит назад или озабоченно вперед. Такое влияние производила в описываемую нами эпоху рефлексия, сила которой еще не

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

притупилась от привычки. Что такое объяснение правильно, по крайней мере в отношении Еврипида, об этом свидетельствуют те его фразы, которые рисуют пессимизм поэта не как законченное воззрение, а как развивающееся. Иметь детей считалось в наивные времена и считается теперь еще в наивных кругах безусловным благословением. Скептицизм Еврипида не оставляет в покое и этого народного верования. Он не только описывает страдания, посланные судьбой родителям, он ставит вопрос, не имеет ли преимущества бездетная жизнь: «Ибо неудачные дети — это самое большое несчастье; удачные являются источником нового горя: мучительного страха, чтобы с ними не случилось чего-нибудь плохого».\* В таком же духе говорит Еврипид о богатстве и об аристократическом происхождении. К радости обладания присоединяется мучительный страх потерять его. Благородное происхождение кажется ему опасным, потому что оно не предохраняет от бедности, а аристократическая гордость является для обнищавшего аристократа препятствием к заработку. Глаз поэта, подобно той ночной птице, которой привычнее в темноте, чем при свете, повсюду находит только зло, порождаемое обладанием благами. Конечно, здесь с склонностью к мучительному раздумью связывался и тяжелый опыт. Мы подходим к вопросу об объективных причинах склонности к пессимизму. Отчасти ответ дает нам вышеприведенная фраза Геродота. Рядом с бедствиями непрерывной войны нужно указать на ухудшение внутренних условий. Вряд ли можно сказать, чтобы экономическая жизнь Афин и Греции была нормальной. Временно стихнувшая распря сословий оживает с новой силой и проявляется в жестоких формах. Ужасы революции, поступки, вызванные отчаянием, сопровождающие различные фазисы Пелопоннесской войны, так бесподобно описанные Фукидидом, — все это нельзя объяснить иначе, как сильными нарушениями экономического равновесия. Непрерывные войны должны были еще более ослабить экономически слабых, а экономически сильные должны были еще более укрепнуть, так как бурные времена давали много поводов для обогащения. Социальные противоречия в известном смысле обострились. Важным свидетелем здесь является сам Еврипид — своим трогательным восхвалением среднего со-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

словия. Так хвалят обыкновенно то, что потеряли или что боятся потерять. Растущие требования, предъявляемые народными массами к государству, могут объясняться отчасти и увеличением алчности; но действительная нужда, непрерывные опустошения Аттики, затрудненность торговли и ремесленной деятельности в долгую войну — все это не могло не оказать значительного влияния.

Ко всему этому присоединялось беспокойство, свойственное всякой переходной эпохе. Рядом с пессимизмом в духовном облике Еврипида мы обнаруживаем отсутствие устойчивости, постоянные колебания между крайними противоположными направлениями мысли. В этом отношении он верно отражает свою эпоху, оторвавшуюся от власти авторитета и обычая. Как в любимом месте, в прохладном гроте на берегу Саламина,\* где он обычно творил, он охотно подставлял свое лицо морскому бризу, так он отдавался и влияниям то одного, то другого мнения. В одном случае он поет восторженную хвалу естествознанию, не отступающему ни перед каким дерзновением; он увлекался им в учении Анаксагора и Диогена,\*\* учеников которых он прославляет, между прочим, и за их гражданские добродетели. В другой раз в пылких стихах он «отбрасывает кривой путь исследователей неба», «лживый язык которых, покинувший истинный путь познания», отрицает божество и утверждает, что он познает непознаваемое. При разнообразии подобных взглядов трудно найти их общее основание. Трудно, но не невозможно. По пути облагорожения веры в богов Еврипид шел по стопам Эсхила. «Если боги делают злое, значит, они не боги»\*\*\* Эта основная мысль выражает его взгляд на божество. В нем заключены все возражения и обвинения, которые он без усталости выдвигал против религиозных преданий своего народа. В одном пункте он существенно отличается от своих предшественников, как от Софокла, так от Эсхила и Пиндара. Каждый из этих последних является в религиозных вопросах тем, что англичане в политике называют «*Trimmer*». Все они хотят влить новое вино в старые меха. Они преобразовывают народные предания, желая приблизить их к

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Диоген Аполонийский, см. том I данного сочинения Т. Гомперца.  
(Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

своему нравственно-религиозному чувству. Они пытаются устранить все то, что кажется им обидным и недостойным богов. Еврипид, в действительности гораздо менее наивный, поступает иначе, по-видимому, еще наивнее.\* Он точно следует старым преданиям. Иногда можно думать, что он поступает так, чтобы не лишать себя материала для критики ходячих религиозных представлений. В действительности же он отказывается от роли посредника, потому что задача такого посредничества кажется ему почти неразрешимой. Между его взглядами и обычными религиозными воззрениями различие слишком велико. Вместо того чтобы сглаживать предосудительные черты в мифологии, он точно сохраняет их и относится безусловно отрицательно к таким богам. В этом вопросе он обнаруживает смелость, которая напоминает старого Ксенофана; с последним он имеет еще то общее, что рядом с антропоморфическими религиозными понятиями он беспощадно нападал и на другие основные пункты эллинского мирозерцания, например, на обожествление победителей атлетов на национальных играх.

Облагорожение богов идет у Эсхила рядом с доверчивой верой в божество, у Еврипида — рядом с сомнением. Что боги с человеческими слабостями и страстями недостойны почитания, это для него несомненно. Но существуют ли в действительности боги, достойные почитания, соответствующие своему идеалу? Иногда он верит этому, нередко сомневается. В одном из самых смелых его изречений, дошедших до нас, он вполне серьезно ставит вопрос, не тождествен ли Зевс с «необходимостью природы» или также и с «человеческим духом». Однако он не всегда сомневается и не всегда восстает против религии своего народа. Совершенно иным является он нам в «Вакханках», написанных им в старости. Можно сказать, что ему надоело и разум и разумничанье; мистическо-религиозное настроение рвет здесь оковы мышления, здесь господствует религиозное воззрение, освобожденное от всяких стеснений рассудочности и морали; преобладает экстатическое вдохновение безумствующих во славу Диониса менад, оно торжествует над моралью и трезвостью.\*\* Поэт как будто кается в том, что он отпал от гения своего народа, как будто снова хочет испытать мир природы, неисковерканное ощущение природы. Не вполне свободны от подобных настроений и

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



предшествующие его произведения. В «Ипполите» Еврипид рисует образ девственного и строго нравственного юноши, которого он наделяет, между прочим, и чертами орфико-пифагорейского аскета. Афродита, от почитания которой он отказывается, губит его, воспламеняя страстью к нему его мачеху, Федру; она заставляет ее жестоко отомстить презиравшему ее возлюбленному. На чьей стороне симпатии автора? Нет никакого сомнения, он с большим сочувствием относится к невинному юноше, обреченному судьбе. Однако в гибели его он видит не только дело рук жестокой богини. Высокомерное желание Ипполита уйти из-под естественной власти любви кажется ему сопротивлением закону природы, в этом он вполне эллин. Предостерегающие слова, которые поэт влагает в уста старому слуге в начале драмы, не оставляют сомнения на этот счет.

Однако в гораздо большей степени Еврипид был представителем просвещения и его широких требований. Он всегда ратовал за равенство всех людей. Он не только оспаривает преимущество аристократического происхождения, но отваживается колебать устои древнего общества, рабство.\* Только имя отличает незаконнорожденного от законнорожденного, только установления, а не природа, знают различие между рабом и свободным (см. том I). Часто в груди презренного раба живет более возвышенное чувство, чем в сердце его господина. Здесь мы встречаем мысли уже, может быть, высказанные Гиппием из Элиды, или по крайней мере он подготовил их введением понятий: природа и установление. Мы встретимся с этими понятиями в школах сократиков. Они долго не получали признания со стороны главных мыслителей. Можно думать, что здесь сказался инстинкт самосохранения древнего общества, построенного на рабстве, общества, которое долго противилось допускать эти мысли, противилось им сильнее, чем религиозным ересям.

Можно ли предполагать, что мысли, подобные вышеприведенным, возникали только в голове, не касаясь сердца? Мы не напрасно связываем их с эпохой просвещения, так как именно в эту эпоху должны были быть разрушены старые предрассудки, прежде чем возникли новые взгляды. Просвещение расчистило для них поле. Но истинные корни этого, более гуманного воззрения лежат не здесь. Воззрение это распространялось, ибо

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

трудно предположить, чтобы подобная перемена взгляда ограничивалась одним или несколькими лицами. Демократия в Афинах и в других местах стерла классовые различия, и этот процесс нивелирования не мог остановиться на какой-нибудь произвольной границе. Олигархический автор сочинения «О государстве афинском», достаточно знакомый нашим читателям (см. том I), постоянно говорит о дерзости метеков\* и рабов. При этом он делает очень важные для нас замечания. Главное орудие Афин, флот, требовало больших расходов, и потребность в деньгах возмещалась отчасти податями с метеков и рабов. Таким образом, государство должно было предоставить им известные права, и граждане не должны были медлить с освобождением рабов, и таким образом в результате они, афиняне, стали «холопами рабов». Другим важным обстоятельством было следующее. Если бы было позволено ударить чужого раба, метека или вольноотпущенника, то можно было бы нечаянно ошибиться и ударить свободного гражданина; настолько мало было отличие в одежде и внешнем виде между свободным гражданином и человеком, принадлежащим к одному из этих классов. Отсюда мы можем заключить, что с рабами стали обращаться менее жестоко (Платон называл это баловством),\*\* а вместе с тем стали гуманнее и взгляды. Если бы мы имели статистику того времени, то, по всей вероятности, оказалось бы, что преступления насилия, жертвой которых в значительной степени являлись люди, принадлежащие к незащищенным классам общества, уменьшились, а рядом с этим увеличилось количество поступков, требующих хитрости и изобретательности. Ибо можно заранее предположить, что формальная ловкость и хитроумие, вызванные ростом просвещения, прогрессом диалектики и риторики, направлялись и в дурную сторону. Жалобы Еврипида\*\*\* на вредоносность «слишком хороших речей», на красноречие, умеющее прикрасить всякую неправду, или изображенное Аристофаном в «Облаках» состязание олицетворенных справедливой и несправедливой речей подтверждают это предположение. Правда, у нас совершенно нет способов точно взвесить эти противоположные влияния и учесть выгоду или ущерб, ими приносимые.

\* Категория населения полиса, обладающая личной свободой, но не входящая в состав его граждан. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Полезно, однако, остановиться на гуманизирующем влиянии «просвещения», так как и теперь часто приписывают ужасы и крайности конца пятого столетия влиянию «просвещения», так называемой «софистике» и ее мнимым результатам, «крайнему индивидуализму» и «этическому материализму».\* Что все это чистая фантазия, ясно уже из сказанного нами в первом томе; отчасти мы будем еще иметь поводы касаться этого вопроса. Но разве можно серьезно думать, что в эпоху, предшествующую эпохе просвещения, люди были менее эгоистичны, или что их эгоизм был менее жесток? Разве возможно забыть, что Гесиод, совершенно не затронутый никаким просвещением, советует крестьянину лишать крова батрака, т. е. выбрасывать его на улицу, когда в его услугах нет надобности?\*\* Или разве просвещение заставило аттических эвпатридов эпохи\*\*\* до Солона ввергнуть массу народа в задолженность, превратив в шестидольников, и продать тысячи из них в рабство? Разве учеником софистов был Феогид, который жалеет о тех временах, когда сельчане бродили, как запуганные животные, и были лишены всякого участия в политических делах?\*\*\*\* Борьба сословий, возгоревшаяся вновь во время Пелопоннесской войны, и ее жестокие проявления не требуют объяснения. Проблема, в действительности заключающаяся здесь, совершенно другая. Как случилось, что, начиная с Клизфена (конец шестого столетия),\*\*\*\*\* почти до половины пятого столетия, борьба сословий, бушевавшая до того времени во всей Греции и преимущественно в Афинах, почти совершенно затихла, а затем, за исключением отдельных проявлений (например, убийство Эфиальта),\*\*\*\*\* вплоть до Пелопоннесской войны протекала в гораздо более мягких формах?

Правильный ответ на это следующий. Тут оказали влияние различные причины отчасти экономического, отчасти полити-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* Аттическая родовая знать. (Прим. ред.)

\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\*\* Реформы Клизфена 509—507 гг. до н. э. заложили основы демократического строя Афин. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* Афинский политический деятель, который в 462 г. до н. э. провел реформу государственной власти, передав ее из ведения аристократического ареопага Совету пятисот, народному собранию и народному суду; был убит в 461 г. (Прим. ред.)

ческого характера: расцвет аттического государства, усиление промышленности и торговли, хорошо огражденных сильным флотом, временное преобладание выросшего среднего сословия, обеспечение масс, которое не доходило, однако, до истощения средств союзных государств; затем мудрое законодательство, направленное на смягчение классовых противоречий и слияние различных слоев народа, законодательство, вдохновляемое вышеупомянутым великим государственным человеком и его непосредственными последователями. В пределах Афинского союза был еще идеальный фактор, влияние которого не следует преувеличивать, но и нельзя отрицать, по крайней мере на протяжении двух десятилетий. Мы имеем в виду национальное чувство, усилившееся после персидских войн, чувство, которое должно было сблизить различные государства. Это было кратким блеском греческой, в особенности же афинской, истории, краткая, но плодотворная пауза между предшествующими и последующими классовыми раздорами. Об экономических изменениях, которые дали новую пиццу сословной розни и вызвали междоусобия, мы уже говорили. Если характер афинского господства становился все насильственнее, то отчасти это происходило оттого, что неопределенность греческого понятия государства противилась всяческому, даже законом регулируванному подчинению одного государства другому. Вследствие нежелания союзников подчиняться и естественной тенденции к преобладанию со стороны афинян создались пагубные конфликты. Отсюда попытки к отпадению, чему Пелопоннесская война благоприятствовала. За такими попытками следовали суровые меры наказания, которые многими принимаются за признак морального одичания и приписываются также влиянию просвещения. Чтобы правильно судить о справедливости таких обвинений, необходимо рассмотреть интернациональную мораль этой эпохи и эпохи, ей предшествующей.

4. Интернациональная мораль греков распадается на две резко отличные морали. Она различна смотря по тому, касается ли она отношения греческих государств друг к другу или отношения греков к негрекам, т. е. варварам. В последнем случае эгоистический интерес безграничен, — в первом случае ему ставятся известные пределы, хотя и очень растяжимые.

Что эллину приличествует господствовать над варварами, в этом не сомневаются, хотя бы за отдельными лицами среди варваров и признавались высокие человеческие достоинства. Этот взгляд возвещает и поэт просвещения, может быть, не без молчаливой оговорки, конечно, не разделяемой слушателями. «Пусть чужеземец всегда служит греку; мы свободны, они — рабы»,\* — таково выражение убеждения, которое не изменилось до самых поздних времен. По крайней мере на практике мы не видим случая, который бы противоречил подобному воззрению вплоть до времен Александра, когда начавшееся слияние постепенно лишало такие взгляды почвы. Практика государств допускала похищение людей и угнетение самой безобидной греческой общины, в практике отдельных лиц были обычными такие поступки по отношению к варварам, которые были часто в резком противоречии с другими поступками. Как странно, что Ксенофонт, этот благочестивый ученик Сократа, так усердно занимавшийся морально философскими исследованиями, свирепствовал огнем и мечом среди мирных жителей Фракии, находясь на службе у фракийского князя Севфа.\*\* Можно подумать, что в данном случае Ксенофонт опустился ниже обычного уровня современной ему морали. Однако такое заключение немедленно уступает место соображению, что этот честолюбивый офицер постоянно заботился о том, чтобы представить свою карьеру в лучшем свете, и в данном случае он, без сомнения, не чувствовал нарушения обычной среди его соотечественников морали. Ведь одним поколением позже не кто иной, как Аристотель объявил, что похищение людей у варваров и массовое обращение их в рабство вполне допустимо и даже в интересах варваров, не способных к самоуправлению.\*\*\* Прогресс культуры мало что изменил здесь. Только в одном пункте (о более гуманном обращении с рабами мы уже говорили) произошло некоторое смягчение нравов. Согласно описанию в Илиаде, один греческий герой за другим втыкает свой меч или свое копьё в тело павшего Гектора: «никто не приближался к нему, не ранив его». Против такого поругания и обезображивания мертвых восстают в пятом столетии не только поэт (драматург Мосхи-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

он),\* но и историк Геродот, и, если справедливо свидетельство последнего, также и спартанский царь Павсаний. Победитель при Платеях якобы резко отказался последовать совету отомстить за поругание мертвого Леонида поруганием тела персидского полководца Мардония.\*\*

Значительно большего прогресса можно ожидать в области того, что позволительно назвать междуэллинской моралью. Сознание общего происхождения греческих племен возникло постепенно. Гомер почти не знает общего обозначения для всей эллинской нации.\*\*\* Здесь не место объяснять, как эта нация осознала свое единство, как национальное сознание возросло и окрепло под влиянием общих святилищ, оракулов, национальных игр и литературных произведений и, наконец, под влиянием войн, ведомых сообща против чужеземных врагов. Мы не можем также останавливаться на возникновении многочисленных, тесных и свободных союзов. Общность интересов целых стран, необходимость охраны мореплавания, потребность оградить некоторые основные условия существования от изменчивого счастья войны — вот причины, вызвавшие возникновение всякого рода союзов, которые были поставлены под защиту общих богов. Наиболее значительным по своему долговому, то благодетельному, то губительному влиянию, был союз амфикионов, центром которого было святилище Аполлона в Дельфах.\*\*\*\* Члены этой Амфикионии давали клятвенное обещание ставить известные границы военному праву, так, например, не лишать друг друга доступа к источникам и не разрушать до основания завоеванных городов; затем они обязывались защищать Дельфийское святилище и принадлежавшую ему «священную землю и охранять бога словом, рукой, ногой и всей силой» против всякого врага.\*\*\*\*\* Правда, эти торжественные клятвы не помешали тому, что священная земля стала яблоком раздора между союзниками и что за обладание

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* «Амфикиониями» (ἡ Ἀμφικτιονία) назывались союзы греческих городов, объединенных поклонением одному божеству и защитой его святилища. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ею не однажды возникали «священные войны». Правда, не было недостатка и в справедливых жалобах на подкупы Пифии,\* на злоупотребление дельфийскими предсказаниями в интересах отдельных государств, партий, даже в антинациональных целях. Все же в общем за жрецами этого святилища нельзя не признать большой заслуги в деле национального единения народа, раздробленного на отдельные государства. Сакральное право, строительство дорог, установление календаря получили отсюда одинаковое или приблизительно одинаковое устройство. Рядом с Дельфами нужно назвать Олимпию. Праздновавшиеся там игры неоднократно давали повод для выражения общегреческого патриотизма, и божий мир на время праздничных игр, по крайней мере в пограничных странах, выражался временным перемирием.

В конце концов война, война и война — вот что было уделом жизни греческих государств. Маленькая нация терзалась непрестанными войнами. Если верить Геродоту, то перс Мардоний выражал удивление, почему греки, «которые ведь говорят одним языком», предпочитают всегда хвататься за оружие, вместо того чтобы мирно улаживать дела «при помощи герольдов и посланников».\*\* Как понятно, что поэт просвещения благословляет мир и жалуется на неразумие, благодаря которому всегда вновь возгорается война и слабые оказываются поработанными.\*\*\* Однако пути человеческого прогресса крайне запутаны, и у нас является сомнение, достигла ли бы столь многого в искусствах и в науках Эллада, если бы она пользовалась миром, была бы организована в одно союзное государство, а не находилась в постоянной горячке войны, в которой закаливались ее силы и от которой она скоро погибла. Не говоря о других исторических примерах, ведь Италия эпохи Возрождения являет собою точную историческую параллель греческому расцвету, представляет совершенно схожую картину, такую же огорчительную для не слишком глубоко вникающего круга людей и такую же радостную для поклонника

---

\* Жрица храма Аполлона в Дельфах, изрекающая оракулы. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

высших достижений человеческого гения. В конце концов, указанные нами факторы национального единения оказали некоторое влияние, смягчив крайнюю жестокость, проявлявшуюся на войне. Прежде всего следует упомянуть об уважении к мертвым. Перемирие, устраиваемое для погребения павших, считается человеческою обязанностью даже в одном месте «Илиады».\* Но вся поэма в целом противоречит такому взгляду, и мы должны поэтому видеть в этом месте позднейшее добавление. В самом начале эпоса поэт возвещает, что гнев Ахилла отошлет много душ храбрых мужей в преисподнюю, а тела их отдаст на съедение псам и птицам. В другой раз богиня Афина, враждебная троянцам, восклицает: «Или, упав близ судов кто-нибудь из троянцев, быть может, птиц плотоядных и псов своим жиром и мясом накормит».\*\* А герой Диомед похваляется силой своего лука: пораженный им сгниет, обагрят землю кровью, «а кругом больше птиц соберется, чем женщин»\*\*\* Та же «Илиада» полна битв, которые ведутся из-за трупов павших героев. Оба войска напрягают крайние усилия, чтобы вырвать друг у друга не только доспехи, украшавшие умерших, но и тела, их уже лишенные. Даже в заключении поэмы, где чувствуется некоторое смягчение, предполагается, что принятие выкупа за тело не правило, а редкое исключение. Ведь для того чтобы Ахилл отказался от тела Гектора, потребовалось вмешательство и приказание высшего бога. Только позднейший эпос, эпос, в котором описывались сражения греков с греками, а не с варварами, «Фиваида»,\*\*\*\* заканчивался торжественным погребением всех павших борцов с согласия победителей, удержавших поле сражения. С тех пор устанавливается как правило, что нельзя не только уродовать мертвых воинов, нельзя также и лишать их почести погребения.

Эллинское чувство выставило новые требования не только в отношении мертвых, но и живых. Жизнь и свободу побежденных нужно щадить, но не их собственность.\*\*\*\*\*

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Илиада VIII 378. Пер. И. М. Минского. (Прим. пер.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* Поэма эпического цикла «Фиваида» складывается в V в. до н. э., хотя повествует о событиях, предшествующих Троянской войне. (Прим. пер.)



Насколько можно касаться последней, какова была вообще судьба покоренных, это зависело от природы войны, от размеров победы, а также от качества приобретенного. Очень редко желали совершенно стереть с земли греческую общину, и даже попытка такая требовала особого оправдания, которое вряд ли когда-либо считалось достаточным. Но изгнание покоренного народа, конфискация его земли или превращение самостоятельных земельных собственников в платящих подать крестьян, — а эти меры и осуществлялись фактически в войнах греков с греками, — не считались нарушением права войны, хотя в огромном большинстве случаев довольствовались гораздо меньшим. Но в историческое время считалось недостойным убивать пленных,<sup>3</sup> в гомеровских песнях убийство пленника признается «приличествующим», хотя часто это и не выполнялось. И ужасная судьба, рисуемая «Илиадой» в следующих строках: «Мужи убиты оружием, дома превращаются в пепел, дети уводятся в плен и пышно одетые жены», не распространялась на покоренные греческие города. Правда, нет недостатка и в исключениях, но они немногочисленны и если не оправдываются обстоятельствами, то, по крайней мере, объясняются ими. Фиванцы, считавшие себя законными господами и свой город естественной столицей Беотии, не щадили военнопленных других беотийских городов. Сиракузы, которые восприняли как глубокую несправедливость вмешательство афинян в сицилийские дела, после блестящей победы над последними заточили тысячи в каменоломни, где и предоставили им умирать под открытым небом.\* И Афины во время Пелопоннесской войны не могли удержаться от подобных крайностей. После взятия отпавшего союзного города Тороны женщины и дети были проданы в рабство; мужчины едва избегли самой худшей участи; при заключении мира они частью были освобождены, частью обменены на пленников. Иначе обошлись с другим отпавшим союзником, с обитателями города Скионы. Продажа женщин и детей в рабство сопровождалась умерщвлением мужчин и конфискацией земли, которую афиняне подарили платейцам, бежавшим из своей родины. Пять лет до этого Платей после долгой осады были взяты спартанцами (427); фиванцы убедили победителей наказать город за измену: женщины были проданы в рабство, оставшиеся в живых войны казнены, и город разрушен. Такие же жестокости, проявленные

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

афинянами в отношении обитателей острова Мелоса, еще возмутительнее, так как остров, колонизованный спартанцами, был, однако, самостоятельной общиной, которая не только не нарушила союзнической верности, но даже не принимала участия в войне, она только хотела остаться нейтральной. Правда, существуют и современные параллели подобного насилия, — вспомним обстрел англичанами Копенгагена в 1807 году! Спартанцы в таком же роде поступали с капитанами нейтральных судов. Когда им было это нужно, они захватывали такие суда и жесточайшим образом расправлялись с капитанами. Но как понять это оригинальное изображение Фукидидом событий на Мелосе?\* В известном диалоге афиняне под его пером совершенно открыто без всяких прикрас возвещают о своей политике насилия. Лишь немногие были столь наивны, чтобы видеть в глубокомысленном обсуждении вопросов естественного права точную передачу дипломатических переговоров.\*\* Другие античные и современные писатели думали, что историк хотел изобличить бессовестную политику тогдашних руководителей афинян. Мы принуждены возражать против такого понимания, которое разделяется даже Гротом.\*\*\* В речах афинских послов чувствуется большое презрение к предсказаниям и оракулам, а к теологическому взгляду на историю они относятся с холодным сомнением. Фукидид не был противником такого взгляда, а потому не мог желать и дискредитировать его. Но даже помимо этого, презрение к фразеологии (например, «мы не будем говорить прекрасных слов, не будем напоминать о победе над персами и строить на этом наши притязания на господство»), этот здоровый политический реализм может быть смело признан собственностью Фукидида, а не предметом его осуждения. Он, наверное, не думал, что афиняне сделали бы лучше, если бы пустили в ход красноречие и под покровом лицемерных правовых требований старались скрыть то, что в действительности было вопросом силы. По нашему мнению, историк следует здесь исключительно своему чувству правды, нелюбви к фразам и глубокому политическому пониманию; он стремится обнаружить вопрос до возможной ясности и указать на то, что интересы и

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

отношения силы государств являются самым существенным и решающим в интернациональных отношениях. Этому вполне соответствуют и те лишенные аффектации и холодные выражения, в которых он говорит о заключительной катастрофе.

Хладнокровие гораздо более свойственно гордому своим рассудком афинскому историку, часто устранявшему свое человеческое чувство, нежели афинскому народу. Афиняне легко приходили в возбуждение, но их нельзя назвать невеликодушными. Они были очень доступны влиянию страстей, но человечность их проявлялась в том, что даже тогда, когда они были во власти гнева или когда вопрос шел о самом жизненном их интересе, они не заглушали в себе раскаяния и прощения. В том же году, когда спартанцы свирепствовали в несчастных Платеях, в Афинах был произнесен кровавый приговор над жителями города Митилены, на острове Лесбосе, который нарушил союзнический договор.\* Было решено умертвить всех мужчин, способных носить оружие, и продать в рабство детей и женщин. Но через несколько времени мнение изменилось. Ужасный приговор был аннулирован новым голосованием народа, и радостная весть с величайшей поспешностью сообщена, причем гребцы должны были напрячь все свои силы. Правда, и смягченный приговор был все же очень строг по современным понятиям: более тысячи наиболее виновных было обречено на смерть; но все-таки факт сам по себе свидетельствует о том, что из всех грехов только афиняне оказывались способными взять назад жестокое решение. Они не могли проявить того коварства, с которым спартанцы завлекли в западню две тысячи илотов<sup>4</sup> под предлогом дарования им свободы.

Однако хотя сердце этого благородного народа и следовало часто порывам великодушия, все же афинская политика определялась не этим, а хорошо или плохо понимаемым интересом государства. Великодушие афинского демоса проявилось при окончании гражданской междоусобицы последних лет пятого столетия, когда он дал почти полную амнистию мятежникам олигархам, на которой и настоял вопреки различным подговорам. Его гуманное отношение обнаруживалось часто в законодательстве, направленном к защите слабых; так, например, в государственной поддержке лиц, не способных к труду, в предо-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. В 428 г. до н. э. Митилены приняли попытку выйти из Афинского морского союза. (Прим. ред.)

ставлении женам (по крайней мере известной категории) права жаловаться в суд на плохое обращение со стороны супругов, наконец, в попечении о вдовах и сиротах, в особенности в воспитании на государственные средства сирот павших воинов. Гомеровское время не знало участи более печальной, нежели участь сироты, который получает самую скудную долю на пиру и глоток, «увлажняющий губы, но не смачивающий глотки». Даже раб в Афинах не был лишен всякой защиты права.\* От слишком плохого обращения своего господина он мог бежать в святилище Тесея. Если его жалобы оказывались справедливыми, то он мог требовать продажи себя другому; такого рода ограждение раба мы находим, правда, и в других государствах Эллады. И внешняя политика Афин не была лишена всякого альтруистического побуждения. Защита слабых есть излюбленная тема аттических ораторов и драматургов. Пока государственный интерес совпадает с подобными чувствами, ему предоставляется место и на практике. При этом здесь так же мало лицемерия, как в современной Великобритании, где воодушевление свободой чужого народа подлинно, сильно и придает силы политике интереса, пока оно не противоречит этой политике, но в других случаях «интерес Англии» (как на гробнице Канинга в Вестминстерском аббатстве) облекается в форму основного морального закона. Если проследить переменные фазы афинской политики, то обнаруживается поразительный факт: ссылки на право и на мораль становятся тем чаще и определеннее, чем больше ущерба терпит мощь государства. Когда одно коромысло опускается, другое подымается. Что в одном случае прославлялось как священное предание, как драгоценное наследие древних, то в другом случае осмеивалось как «бессильная ветхозаветность».

Ввиду подобных фактов можно было бы сомневаться в возможности морального прогресса в интернациональных отношениях, однако это было бы ошибкой. Общность чувств следует за общностью интересов, а не предшествует последней. Гуманизирующие влияния всякого рода могут временами достигать значительной силы, но они никогда не смогут осилить инстинкта самосохранения нации или государства. Никогда не было более благоприятных условий для такого прогресса, как в настоящее время. Сильные войны последнего поколения как будто противоречат такому утверждению. Но это были, если

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

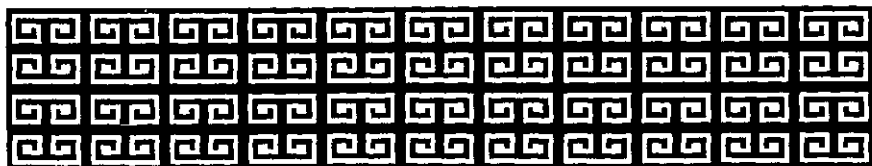
позволительно парадоксальное выражение, войны мира. Они завоевали для мира огромные области. Вместо массы отдельных государств они образовали два государственных тела в восемьдесят миллионов людей, а в Америке война помешала распадению огромного северного союза. За самим по себе уже значительным прогрессом может последовать и дальнейший. Его можно ожидать от солидарности интересов, если не всех, то, по крайней мере, многих государств. Эта солидарность должна возрастать вместе с увеличением разделения труда и облегчения путей сообщения, которые создают все более обширные экономические области и завязывают более тесные связи между самыми отдаленными частями земного шара. Таким образом, может все чаще случаться, что вооруженное столкновение двух государств влечет за собой столь значительный вред для многих других, что последние вынуждены предупредить конфликт, угрожая вмешательством и требуя мирного решения спора. Подобная угроза может стать постоянной, а руководящим принципом для решения вопроса должно служить общее благо в соответствии с обстоятельствами дела. Этим достигалось бы наибольшее приближение к господству внутригосударственного права и внутригосударственной морали, насколько это, по-видимому, совместимо с существованием известного количества самостоятельных и самодержавных государств, так как это разделение человеческого рода вряд ли когда-нибудь устранимо.

Однако вернемся к древней, расчлененной и, может быть, потому и творческой Греции или, вернее, к ее духовной столице. Уже очень часто этот важный центр заступал для нас место целого. Но теперь, когда наш рассказ сосредоточится на берегах Илисса под скалою девственной богини,\* полезно ознакомить читателя со страной и с людьми этой «школы Эллады».\*\*

---

\* Речка, протекающая за городской стеной Афин, на берегу которой состоялся разговор, представленный Платоном в диалоге «Федр». «Девственная богиня» — Артемида, храм ее находился на берегу Илиса (Федр 229с). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Афины и афиняне

1. В одном никогда не сомневался скептик Еврипид: в красе своего родного города. Голос его не переставал славить «славные фиалковенчаннные Афины», «сыновей Эрехтея, отпрысков блаженных богов, обвеваемых сияющим эфиром»,\* и их священную страну. И больше чем через две тысячи лет его хвала находит отзвук. Как бедно было бы человечество, восклицаем мы, если бы Афин не существовало! Попытаемся отдать себе отчет в причинах, или, по крайней мере, в некоторых условиях невероятного умственного расцвета, местом которого был этот завидный уголок земли.

Афинам досталось наследие Милета, нерадостное наследие. Когда драматург Фриних, предшественник Эсхила, изобразил на сцене «Взятие Милета»,\*\* его вторичное покорение персами после ионического восстания, то волнение среди зрителей было настолько сильно, что новая постановка драмы была запрещена, и автор слишком жизненной поэмы был приговорен к штрафу. Но именно это глубокое падение Ионии и было причиной возвышения Афин в Греции. Падение Милета, этой колыбели эллинской науки, сделало Афины духовной столицей Эллады. Таким образом, нашему исследованию поставлены тесные границы. Следующий анализ имеет задачей объ-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Эрехтей — мифический царь афинян, посланный им богиней Афиной в ларце в облике змееныша, царствование которого паросский мрамор датирует временем ок. 1505 г. до н. э. (См.: Бартоне А. Златообильные Микены. М., 1990, с. 318). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Фриних (ок. 500 г. до н. э.) — наиболее выдающийся афинский трагик до Эсхила. Милет возглавил восстание против персов в 494 г. до н. э., окончившееся поражением, и был сожжен. (Прим. ред.)

яснить не то, что Афины непременно должны были достигнуть приобретенного ими высокого положения, а то, что они могли его достигнуть, когда их соперник спустился со своей высоты.

Все, что мы говорили (ср. I, с. 9) о благоприятных условиях Греции для культуры, в полной и еще большей мере приложимо к Аттике. Эта часть греческого материка, наиболее выдающаяся на высотах, обращена спиной к нецивилизованному западу и северу и как бы простирает руки к своей древней цивилизации на востоке. Если стоять на самой южной оконечности, приблизительно на ступенях храма Афины на мысе Суний,\* то взгляд падает на ближний Кеос и на острова, цепь которых доходит до азиатского побережья. В Аттике на небольшом пространстве встречались люди самых разнообразных профессий и с самыми различными талантами. Равнину населяли земледельцы, горы — пастухи, а длинную береговую полосу — рыбаки и мореходы. В шестом столетии эти три группы населения образуют три областные партии: «равнинных», «горцев» и «береговых». Жители Аттики считали себя уроженцами своей земли, автохтонами.\*\* Это доказывает, что они были оседлыми в течение многих столетий, что афинское население не было ни выгнано из страны, ни покорено. Могучая волна дорического переселения не докатилась до Аттики. Благодаря этому явилась возможность постоянного и прогрессивного развития, которое столь же благоприятно для слагающейся общины, как мир спокойного детства для развития человека. Противоположная опасность расслабления и застывания устранялась многими обстоятельствами: необходимостью проявлять свою силу в пограничных войнах, необходимостью упорного труда на далеко не плодородной почве, но хорошо вознаграждающей за труд; море, почти окружающее Аттику, благоприятствовало мореходству, торговле и промышленности. Население принадлежало к ионическому племени, наиболее живому в духовном отношении. Однако на севере маленькой страны обитали эолийские бео-

\* Суний — мыс на юго-восточной оконечности Аттики; далее речь идет об архипелаге Киклады, где уже в III тыс. до н. э. существовала развитая архаическая цивилизация. (Прим. ред.)

\*\* Поэтому и первые афинские цари (по мифологическим данным) носят столь экзотический, хтонический облик, в котором часто доминировала символика змеи. (Прим. ред.)

тийцы,\* на западе — мегарские дорийцы.\*\* Народец, населявший Аттику, не мог совершенно избавиться от влияния такого соседства. Хотя аттическое наречие является связующим звеном между другими ионическими диалектами, с одной стороны, и эолическим и дорическим — с другой, но все же в архитектуре, одежде и воспитании детей у афинян есть много общих черт с неионическими племенами и в особенности с дорическим. Не было здесь недостатка и в других племенах (финикийцы — на соседнем Саламине и в Милете,\*\*\* фракийцы — в Элевзине); очень известный род в Афинах вел свою родословную от карийских предков,\*\*\*\* а изгнанные из других частей Греции аристократические роды избрали своим местопребыванием Афины (Нелиды и Эакиды). Афины славились своим гостеприимством в отношении людей, богов и культов. Таким образом, все содействовало многостороннему развитию, не исключая и ландшафта. «Когда выйдешь из тени оливкового леса, — пишет Эрнст Курциус, — и придешь в гавань, находящуюся на расстоянии получаса ходьбы... то кажется, как будто пришел в другую страну».\*\*\*\*\*

Роскошь азиатских ионийцев не коснулась афинян. Правда, древние афиняне не могли сравниться в удали и отваге со своими азиатскими соплеменниками. Та страсть к приключениям, которая заставляла милетцев становиться в ряды египетских наемников, самосцев — достигать оазисов Сахары, совершенно отсутствовала у афинян седьмого и шестого веков. Затем следует указать на все выгоды маленького государства. Чем подробнее узнаем мы историю древних Афин, тем более поражает нас та непрерывность, с которою шло их развитие.\*\*\*\*\* Тяжелые сословные раздоры значительно задержали ход развития, но не изменили его характера. Почти незаметно

\* Эолийцы — одно из четырех главных древнегреческих племен наряду с ионийцами, дорийцами и ахейцами. (Прим. ред.)

\*\* Мегары — город в Средней Греции, соперничающий с Афинами. (Прим. ред.)

\*\*\* О-в Мальта (ἡ Μελίτη). (Прим. ред.)

\*\*\*\* Карийцы — доиндоевропейский этнос, обитавший в Малой Азии, на о-вах Эгейского моря и материковой Греции. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



дарство перешло ко второй ступени конституционного развития, к господству аристократии. Также путем медленного прогресса наступает следующая фаза; постепенно, непрерывными переходами, все более обширные круги общества привлекаются к участию в политических правах, и, в конце концов, господство аристократии заменяется народоправством. Но древние землевладельческие роды, уже лишившись своих политических преимуществ, еще долго пользовались значительным влиянием. Среди различных благоприятных условий развития мы укажем еще на одно. В самое цветущее время в Афинах не было лихорадочной страсти наживы и, следовательно, не было плутократии. Преимущество наследственной монархии заключается в том, что в ней высшая должность в государстве не является объектом вожделения для жадных честолюбцев; наследственная аристократия сыграла здесь приблизительно такую же роль. Она закрыла высшие должности для сомнительного соревнования жадных авантюристов. Благодаря этому оказалось возможным преобладание наиболее здоровых традиций; неравенство между людьми не достигло своего крайнего выражения, это было причиной того, что умственная жизнь не ценилась слишком низко.

2. Раскрыть основные причины духовного расцвета Афин — дело совершенно невозможное. Вместо того чтобы заниматься пустыми гипотезами, обратимся к фактам, которые если не должны были, то по крайней мере могли способствовать этому расцвету. Но для этого нам нужно вернуться назад. В Милете наука была на службе у жизни. Мореплавание огромного торгового города требовало астрономических и математических знаний. Это и был тот ствол, к которому привились ростки космологической спекуляции. Искусство существовало в Афинах раньше, чем научное исследование успело пустить в нем корни. Многие побуждало к искусству, которое было связано с ремеслом: необходимость пополнить скудную выручку от земли произведениями ремесленного труда; привлечение чужеземных ремесленников Писистратом и Солоном с вышеуказанной целью; изобилие в стране сырого материала для искусства и для художественно-ремесленных произведений в виде самой тонкой глины для горшечников и богатых залежей мрамора для скульпторов. Что органы чувств особенно тонки и

остры там, где воздух наиболее чист, где свет наиболее полон, — в этом не сомневались уже и в древности. Еще в одном отношении славился климат Аттики. С той поры многое изменилось к худшему. Прославленного Аристофаном разнообразия растительности, вследствие которого почти во всякое время года «созревали плоды и произрастали растения»,\* так что различия времен года почти стирались, такого разнообразия теперь нет. Ибо вместе с опустошением лесов количество осадков значительно уменьшилось, а количество пыли сильно увеличилось. Но в другом отношении Аттика осталась до настоящего времени исключительной страной. Не бывает двух дней кряду, чтобы солнца не было видно, а количество прекрасных по-летнему дней равняется половине всех дней в году. Эрнст Курциус указывает на то, что «полевые плоды, выросшие на той почве, еще теперь нежнее, тоньше, ароматичнее», «что аттические фрукты вкуснее фруктов всех других стран», что «ни на одной греческой горе не произрастает более душистых трав, чем на Гиметте,\*\* известном в древности, как пчелиное пастбище». Утончился ли и сам человек благодаря этим природным влияниям? Этого мы не знаем. Но одно неоспоримо: ясность и живость ума афинян и духовное превосходство, выделявшее их среди остальных греков, которые, в свою очередь, отличались от варваров, — все это общеизвестные факты, на которые указывал уже Геродот.\*\*\*

Наука и искусство суть близнецы, хотя часто и враждуют друг с другом. В основе обоих лежит дар точного наблюдения. Наблюдение, в свою очередь, обуславливается степенью восприимчивости органов чувств. Где мы имеем одно впечатление, там (как замечает глубокомысленный француз, у которого мы заимствуем кое-что в дальнейшем изложении)\*\*\*\* грек имел двадцать, и каждое из них заставляло живо звучать его душу. Отсюда, кстати сказать, и то чувство меры, которым отмечено все греческое искусство, боязнь всякой чрезмерности и умеренность в применении средств выражения. Отсюда также повышенная способность верно передавать впечатления, получен-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Равнина ок. Афин, славившаяся своим медом и каменоломнями мрамора. (Прим. ред.) См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ные извне, будут ли то впечатления последовательные или одновременные, будет ли то резец или кисть, с помощью которых их хотят воплотить в формы и краски, или творец слова попытается передать их звуками, словами, ритмом речи или стиха. Бесчисленные красоты гомеровских поэм, в особенности «Илиады», пластические изображения болезней у гиппократовских врачей, образцовые произведения пластического искусства и чарующие своею изобразительностью исторические описания Геродота и Фукидида — на все это мы должны смотреть как на разветвления единого ствола. Но даже и в тех искусствах, где не требуется подражательности, например, в музыке и в архитектуре, обнаруживается повышенная чувствительность, свойственная эллину. В их гамме различаются не только целые тона и полутона, как в нашей гамме, но и четверти тона. Части и детали здания указывают на удивительные тонкости, например, каждый желобок на колоннах Парфенона имеет большее углубление на концах, меньшее — в середине. Естественно, что рядом с повышением восприимчивости и впечатлительности увеличивается и количество приемов гения, которые ускользают от наших более тупых органов чувств и раскрываются нам лишь после детального рассмотрения, например греческого Парфенона, или после тщательного анализа всякого словесного и ритмического построения. А все преимущества, свойственные грекам, в еще большей степени были присущи ионийцам и в особенности афинянам.

До сих пор мы обнаружили общий корень художественных и научных способностей. Но нетрудно показать и путь дальнейшего раздвоения; художественная способность отличается ясным различением частей, устройением целого, строгим соответствием формы и содержания, органа и функции; интеллектуальная способность требует ясности наблюдения, расчленения научного материала, точного соподчинения частей его. Там, где отдельное восприятие так ясно и определено, естественно, должна была возникнуть и утвердиться потребность сохранить от затемнения и спутанности и комплексы восприятий и их умственные копии. Богатства и полноты созерцаний и представлений достигает только тот, кто умеет тщательно и толково их разделять, расчленять, упорядочивать. Мы наталкиваемся здесь на источник одного из двух главных течений научного

мышления — аналитического. По-видимому, труднее проследить начало другого течения, дедуктивного мышления, и связать эту способность ионийцев к величайшим научным построениям с другими проявлениями духовного склада этого племени. Между жизнерадостною любознательностью ионийца, его любовью к краскам и любованию всем, что услаждает ухо и глаз, и стремлением к научной точности, к холодным и бесцветным абстракциям (как, например, «бесконечное» Анаксимандра), по-видимому, находится пропасть. Первоисточник абстракции, потребность упрощения и обобщения есть в действительности потребность облегчения. Для того чтобы большое количество образов не ощущалось как обременяющая тяжесть, они должны быть сведены к возможно меньшему количеству возможно простых основных понятий. Тогда можно, по крайней мере временно, освободить сознание от бесчисленных частных случаев, сохраняя в то же время уверенность, что обладаешь ими и что можешь всегда ими воспользоваться, когда это необходимо. Душе становится легче и свободнее дышать. Таким образом, вопреки видимости дедуктивное мышление в своем источнике соприкасается с интересом к пестрой полноте созерцания. При дальнейшей эволюции отдельных ветвей знания наступает разделение, и в результате оказывается, что занятия абстракциями меры и числа принесли наиболее богатые плоды среди дорийцев, а не ионийцев. Два обрисованных течения соединяются и образуют то, что можно назвать систематическим мышлением, которое ни на одну частность не смотрит как на нечто отдельное, а как на часть законченного целого здания (системы). Это было высшим преимуществом и вместе большою опасностью эллинского духовного склада. Этим объясняются наиболее блестящие успехи исследования, отсюда же немало поспешных и ошибочных обобщений. В петлях сети, которая должна охватить факты, легко запутывается ум исследователя. И опять мы должны вспомнить об искусстве, этом близнеце науки; лучшие знатоки искусства склонны приписывать причину остановки в его развитии стремлениям к системе, к правилам, к установлению канона. Однако сейчас нас занимают не тени великого света. Полезно указать еще на одну ветвь этого могучего стремления. К господству над материалом знания, к теории, присоединилось стремление подчинить выс-

шим господствующим основным принципам и мир практики. Вскоре будет речь о человеке, который стремился к осуществлению этого предприятия со всей силой страсти.

3. До сих пор мы говорили об ионийцах и об афинянах как об однородной массе. Там, где надо указать на общее в народе или племени, нельзя избежать такого представления, но в настоящем случае оно особенно опасно. Как раз обилие ярких индивидуальностей есть, может быть, наиболее характерная черта афинской истории. Этой чертой объясняются оригинальность и богатство гениальных дарований, отличающих в такой сильной степени славную эпоху Афин. Едва ли когда-нибудь так полно осуществились требования, выставленные Вильгельмом Гумбольдтом, а после него Джоном Стюартом Миллем.\* Вряд ли когда-нибудь так удачно были соединены «свобода» и «разнообразие положений», следствием которых явилась «яркая индивидуальность» и «крайнее разнообразие». Что завоевание и прогрессивное развитие политической свободы содействовало расцвету Афин, это обстоятельство не укрылось уже от древних. «Не в одной какой-нибудь области, а повсюду обнаруживается, какая важная вещь равенство прав. Афиняне были на войне не сильнее своих соседей, пока были подчинены самодержавной власти. Но как только они освободились от нее, они тотчас заняли первое место». Если даже это мнение Геродота\*\* о могуществе Афин, для которых мудрая политика Писистрата была очень выгодна, и преувеличено, оно все же совершенно справедливо в отношении проявления духовных сил.

Обычные выражения — свобода, народоправство и т. п. дают мало представления об афинской политической жизни. Существенное здесь не то, что собирающееся на Пниксе мужское население постановляло решение большинством голосов и управляло этим путем государством. Гораздо больше значения имеет установленное гораздо раньше демократии, бесконечное мелкое расчленение государства, которое можно сравнить с удивительным строением, какое представляет маленькое животное под микроскопом. От семьи до всей общины шли по-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

степенно расширяющиеся концентрические круги. «Дом», «род», «братство», «племя» — каждая из этих корпораций объединяла своих сочленов в общей работе, в общем богослужении, в общих празднествах; всюду было радостное сотрудничество и соревнование, которое шло на пользу целому тем, что содействовало процветанию отдельных частей. И здесь ничто не изменилось, когда Клисфен одной остроумной комбинацией заменил родовые союзы местными, роды — округами и так связал два противоположных принципа, что невыгоды обоих были по возможности смягчены, а их преимущества выиграли. Получившееся в результате объединение, восторжествовавшее и над местным началом, и над рознью между аристократией и старыми горожанами, совсем не было окаменением, центростремительной силой, которая давила самостоятельную жизнь маленьких кругов. Совершенно наоборот, община получила еще больше делений. И в каждой ячейке была ключом жизнь, удовлетворявшая и практическим и духовным потребностям. Религиозное общение и общность интересов являлись связующим звеном как в целой общине, так и в мелких корпорациях. Общие святилища, общие могилы, земли, книгохранилища и т. д. сближали членов корпораций, благодаря им возникала атмосфера как бы семейной теплоты, без которой иониец, и в особенности афинянин, не мог обойтись даже и в общественной жизни. Но где же, спросит удивленный читатель, индивидуум, его свобода и свободное развитие? Разве все эти корпорации не являлись препятствиями, стеснениями индивидуальной жизни в пользу жизни общества? Ответ на этот вопрос дает сравнение Афин со Спартой. В последней значение родовых союзов рано упало, если не совершенно исчезло, вследствие непрерывного напряжения, связанного с постоянными войнами. Даже семейная жизнь потеряла в значительной степени свое влияние. Воспитание детей было всецело вверено государственным органам. Жилищем юношей, даже только что женившихся, была казарма, муж обедал не в кругу семьи, а в сисситиях, т. е. в лагерях, ставших обычными и в мирное время. Деление общины было чисто военным. Между общиной и отдельным индивидуом почти не было посредствующих корпораций, или они стали чисто механическими делениями. И каковы же были последствия? Отдельный человек, приноровленный исключительно к

государственной цели, всецело занятый мыслью о государстве, обнаруживает минимум художественной и научной деятельности. Как раз противоположное мы видим в Афинах. Отсюда мы можем заключить, что эти посредствующие союзы являются как бы оболочками, в которых могут возникать своеобразие, разнообразие и оригинальность. Вполне ясно, что государственная свобода может получить устойчивость и оказать благотворное влияние лишь там, где она основывается на самоуправлении маленьких кружков, так как без этой основы народная свобода вообще не может существовать или должна привести к тирании большинства и, в конце концов, к несвободе отдельной личности.

Именно тирании большинства в значительной мере и не было в Афинах, и не только в политическом отношении, но и в социальном. В отсутствии этой тирании Фукидид или Перикл (если мы должны приписать последнему мысли надгробной речи, вложенные в его уста историком) видит главное благо и самое важное основание величия Афин.\*

В достопамятных, многозначительных словах этой речи восхваляется афинское государственное устройство, при котором не остается неиспользованной ни одна сила, желающая служить обществу, и не предоставляется никаких преимуществ никакому классу, а всякая заслуга признается и вознаграждается, невзирая на ранг или богатство. Тот же дух свободы господствует и в частной жизни; мы не раздражаемся против ближнего, если он устраивает свою жизнь согласно своему вкусу, и мы не порти́м ему существование косыми взглядами и досадой, которые вызываются нетерпимостью. Вообще же жизнь исполнена радости и лишена мучительных мрачных сторон. Мы соединяем красоту с простотою, занимаемся познанием, не становясь бездеятельными. Богатством мы пользуемся как средством к полезной деятельности, а не для пустого хвастовства; сознание бедности у нас не бесчестно, бесчестна боязнь труда, который спасает от бедности. Одни и те же люди способны у нас заниматься одновременно и своими частными, и государственными делами; да и люди, занятые ремеслами, не лишены понимания общественных дел. Ибо только мы одни

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

почитаем того, кто не занимается ими, не безобидным, а бесполезным членом общества». В конце концов указывается на то, что «как афинское государство в своей совокупности является школой эллинов, так и каждый в отдельности делается способным к разнообразной деятельности и к большой ловкости, соединенной с изяществом, и таким образом представляет собой цельную, завершенную в себе личность», а не часть ее (можем мы прибавить), не четверть, не восьмую.

Нет сомнения, что Перикл верно обрисовывает условия, необходимые для роста оригинальности и гениальности. Чем слабее в нас власть косного обычая и чем менее мы стеснены в нашей деятельности, тем скорее следуем влечениям и голосу нашей природы, поскольку это допускает благо других и собственное психическое здоровье, и не следуем рабски чужим образцам: тем более вероятно, что мы деятельно и полно проживем жизнь, что мы сохраним и разовьем наши задатки и, наконец, что благодаря нестесненной игре чувств и мыслей и живому потоку представлений, не прерываемому и не стесненному, мы достигнем высших для нас возможностей. Конечно, сказанное относится преимущественно к работникам на поприще научного и художественного творчества. Но число их будет необходимо возрастать именно там, где не все склонности будут одинаково втискиваться в одни и те же государственные или общественные рамки и вследствие этого частью извращаться, а частью глохнуть. И таким образом, если многие богато и своеобразно развитые личности, стоящие выше обычного уровня, выделяются из массы, естественно предположить, что там познают и открывают новые пути и источники красоты и, прежде всего, новые истины. Два глаза видят меньше, чем много глаз. Различие увеличивается, если это множество глаз неоднородно, если их преимущества и недостатки взаимно уничтожаются, если зоркость одних достигает высшей степени вблизи, зоркость других — вдали и третьих — на промежуточных расстояниях.

4. Но если внутренние условия в такой значительной степени благоприятствовали духовной продуктивности маленького народа и маленькой страны, которая была не больше Люксем-



бурга или Форальберга, то и внешние условия немало способствовали такому же результату. Победоносный исход персидских войн вызвал огромный прилив материальных богатств,\* которые скопились в Афинах, принявших наследство ионических торговых и промышленных городов, отрезанных теперь от материка. Они стали столицей союза или государства, охватывающего весь греческий восток. Все, что было талантливое между союзниками или подданными, устремлялось в обширное предместье. Даже сам характер афинян значительно изменился. Препятствие покойный строй жизни, характерный для древних Афин, совершенно исчез, отчасти вследствие значительного усиления их могущества, отчасти вследствие более тесного сближения с ионийцами Малой Азии; смелый дух предприимчивости, бодрая и жизнерадостная способность к деятельности, которыми прежде отличались милетцы, перешли теперь к афинянам. Афины стали более ионическими, чем они были перед этим. Но увы! им пришлось разделить и судьбу ионийцев. Большое напряжение сил скоро привело к ослаблению; за блестящим расцветом последовало начало падения. Тут были две причины. С одной стороны, страстная жажда власти, которую ничто не могло утолить: афинянам, говоря словами Фукидида, «всякое неосуществленное предприятие казалось только упущенным успехом»,\*\* а шансы неуспеха они редко учитывали. С другой стороны, государственное устройство было таково, что хотя могло развивать и дисциплинировать все внутренние силы незначительной общины, но было совершенно неспособно удерживать в спокойном русле ход могущественно разросшегося большого государства. Если государственные установления позволительно назвать механизмом, состоящим из групп людей и в конечном счете из отдельных людей, то преимущество афинской конституции заключалось гораздо больше в том действии, которое оказывало целое на отдельные части, и гораздо менее в совокупной работе, которая должна была быть произведена. Менее всего эти учреждения могли вести внешнюю политику в большом масштабе; задачу эту, поскольку нас учит исторический опыт, были способны выполнять монархии и аристократии, а демократии лишь в том редком и счастливым

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

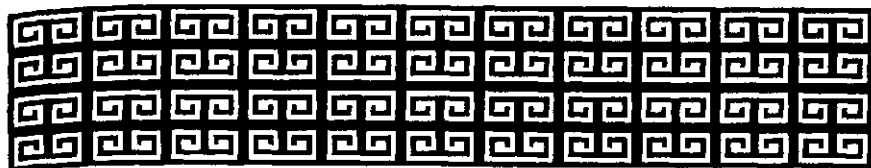
\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

случае, когда у кормила правления стоял какой-нибудь Кромвель\* или Перикл, так что, говоря снова слова Фукидида, народовластием «оно было лишь по имени, а в действительности было господством одного человека».\*\* Для нас государственные судьбы Афин представляют в данный момент лишь второстепенный интерес, и мы можем остановиться на эпохе расцвета и на незабвенных делах сынов этого государства, не обращая внимания на тучи, собирающиеся вокруг них. Мы познакомимся теперь с одним из величайших из этих сынов, который стал родоначальником славных потомков.



\* Оливер Кромвель — политический лидер английской буржуазной революции.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Жизнь и деятельность Сократа

1. Во все столетия встречались ясные, холодные и сильные умы, редко также ощущался недостаток в горячих сердцах. Но соединение горячего сердца с холодным умом встречается редко, а самое редкое из всего — это необычайная работа сердца, направленная к тому, чтобы сохранить холодность ума, наподобие того как паровая машина поддерживает деятельность холодильника. Такая комбинация в большом масштабе встречается едва ли чаще, чем один раз в тысячелетие. И как бы для того чтобы вознаградить нас за свою редкость, она оказывает влияние, которое длится, не ослабевая, в течение ряда столетий. Такое явление почти противоестественно. Всякий энтузиазм имеет тенденцию не прояснять, а затемнять ум. Именно таково влияние аффекта. Он вызывает те представления, которые его питают, и устраняет те, которые не поддерживают его. Необходимое спокойствие при восприятии и обсуждении фактов возможно лишь там, где есть беспристрастие, т. е. отсутствие аффекта. Бенжамена Франклина называли энтузиастом трезвости. В гораздо большей степени эта характеристика подходит к Сократу. Господствующая в его могучей природе страсть, доходящая до упоения мученичеством, была направлена на просветление интеллекта. Он с такой же страстностью стремился к чистоте понятий, с какою мистик мечтает об единении с божеством. От него изошел тот импульс, который вызвал к жизни многочисленные школы, или, вернее, секты философов-моралистов, возместившие угасающую религию для бесчисленного количества образованных лиц. Мы должны по достоинству оценить это необычайное историческое явление. В этом одна из задач настоящего сочинения.

Сократ, сын ваятеля Софрониска, родившийся в Афинах в 469 до Р. Х.\* или на несколько лет ранее, научился с ранней юности искусству своего отца. Произведение, вышедшее из-под его резца, представляющее Харит,\*\* показывалось еще в поздней древности на акрополе, и не совсем невероятно, что найденный там рельеф в стиле той эпохи и есть именно его работа. Скоро, однако, Сократ отказался от занятия своим ремеслом, посвятил остаток своей жизни исключительно философии и стал мало заботиться о домашних делах; это, наверное, немало содействовало неприятностям семейной жизни с Ксантиппой, от которой он имел трех сыновей.\*\*\* В философии его будто бы наставил Архелай, уже известный нам ученик Анаксагора (I 324/25, 344), с которым Сократ был в близком общении некоторое время на острове Самосе. У нас нет основания не верить этому сведению, дошедшему от надежного и беспристрастного человека, трагика Иона из Хиоса; оно приведено им в его «Путевых картинах».\*\*\*\* Это тем более вероятно, что из всех систем натурфилософии именно в системе Анаксагора наибольшую роль играет понятие цели,<sup>5</sup> которое имеет большое значение и у Сократа. Кроме того, Архелай был как раз тем анаксагорейцем, который в круг своих исследований, кроме естествознания, ввел и вопросы человеческой жизни. Таким образом, он был как бы предназначен для того, чтобы возбудить спекулятивный интерес в том, кто (говоря словами Цицерона) свел философию с неба на землю,\*\*\*\*\* т. е. на место вселенной центром исследования поставил человека. Но, по-видимому, ошибаются те, которые, отрицая свидетельство современника, не отвергаемое и Феофрастом, разделяются и с сообщениями других лиц, говорящих об этических исследованиях Архелая, ссылкой на то, что предполагаемого учителя Сократа нельзя себе представить без этической фило-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* Старший сын Лампрокл и младшие Софрониск и Менексен. (Прим. ред.)

\*\*\*\* Ион Хиосский (ок. 490—422 гг. до н. э.) — поэт, автор трагедий и сатировых драм, сохранившихся во фрагментах. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

софии. Правда, этот анаксагореец заронил лишь искру в душу Сократа; богатый горючий материал, на который она попала, великий афинянин ни от кого не заимствовал. Самобытность его дарования ясно обнаруживается в неиссякаемом богатстве мыслей, в мелких чертах, рисующих его рассеянность, или в крайней самопоглощенности, почти одержимости проблемами, занимающими его в каждое данное время. «Когда однажды рано утром (в лагере у Потидеи) его охватило раздумье, он стоял на месте, и так как не мог осилить мысли, то, не уступая, продолжал стоять и размышлять. Наступил полдень, и они обратили на него внимание и с удивлением говорили один другому, что Сократ стоит с раннего утра на одном месте, размышляя о чем-то. Наконец, когда настал вечер и они уже поели, некоторые ионийцы вынесли свои постели — тогда было лето — отчасти для того, чтобы было прохладнее спать, отчасти — чтобы наблюдать, останется ли он стоять ночью. Он продолжал стоять до утра и до восхода солнца; тогда он помолился Гелиосу и ушел». Так рассказывает в платоновском «Пире» Алкивиад, бывший товарищем Сократа в этом походе.\* Невольно вспоминается Ньютон, который однажды, погруженный в размышление, весь день просидел полуодетый на своей кровати. В другой раз, внезапно охваченный мыслями, он остался в погребе, куда спустился за бутылкой вина для своих гостей.

Его бесстрашие на поле сражения, его равнодушие ко всему внешнему (которое Аристотель называет «благородством»),\*\* его необыкновенная способность переносить холод и жару, голод и жажду, а также способность пить вино больше всех своих товарищей, совершенно не теряя при этом ясности ума, — обо всем этом рассказывается в платоновском «Пире» частью Алкивиадом, частью воспроизводится непосредственно перед нами. Что эта могучая натура была богато одарена сильными инстинктами разного рода и лишь впоследствии просветлена самовоспитанием, в этом чувствуется такая внутренняя правда, что мы не можем не поверить подобным сообщениям у древних. «Сирийский предсказатель и физиономист Зопир видел, — рассказывает Федон из Элиды, любимый ученик учителя, в своем

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

диалоге „Зопир“, — на лице Сократа отпечаток сильной чувственности». Когда окружавшая Сократа толпа учеников протестовала против такого мнения, он успокоил их замечанием: «Зопир правильно угадал, но я осилил свои страсти». Говорят, что этот человек с большим темпераментом был подвержен сильным приступам гнева.\* Хотя это сообщение и недостаточно засвидетельствовано, но само по себе оно не представляет ничего невероятного. Это могло случаться с ним, но нечасто, ибо правильное наше представление о поразительной власти его воли над всеми аффектами. Его самообладание было необходимым условием избранной им деятельности. Главным занятием его жизни было вести разговоры. Вблизи меняльных столов на рынке, в аллеях, окружавших места для гимнастики, он постоянный посетитель. В одном месте с юношами, в другом со взрослыми он начинает разговоры о незначительных вещах, переходя постепенно и незаметно к самым важным проблемам; эти разговоры стали впоследствии образцом огромной отрасли литературы, сократического диалога, принятого его учениками и художественная форма которого перешла потом почти ко всем позднейшим философским школам. Если разговора с ним не избегали или, тем более, если его искали, то он не слишком давал чувствовать говорящим с ним свое превосходство над ними. Это было для него тем легче, что он избрал себе область, гораздо более похожую на его неоткрытую страну, нежели на подробно исследованную. Строго научное исследование человеческих вещей было совершенной новостью и Сократ имел основание утверждать вплоть до своей смерти, что он просто скромный искатель и что в нем нет гордости познавшего. Но он, конечно, намеренно подчеркивал эту скромность. «Ирония» есть слово, которым грек обозначает мистифицирование и в особенности полушутливое симулирование скромности или «самоуничижения» и которое представляет крайнюю противоположность высокопарному хвастовству и тому, что греки называли *alazoneia* (спесь).\*\* Эта черта, так прекрасно гармонирующая с тонкостью аттического духа и установившимися в Афинах формами обхождения, чуждыми всего грубого и плос-

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

кого, особенно отличала Сократа. Указанное свойство афинского народа, культивирование этого приема в разговоре и удобство его применения именно в области исследования, избранной великим новатором, — все это вместе создало прославленную иронию Сократа, про которую столь же неверно будет сказать, что она маска, как и то, что она есть всецело его природное свойство. Среди людей, втянутых Сократом в разговор, попадались и люди очень самолюбивые, а результат разговора — доказательство отсутствия у них ясных понятий в тех вопросах, в которых они считали себя вполне осведомленными, — бывал нередко унизителен для них. Так что несмотря на всю «иронию» и другие предосторожности, разговор оставлял часто неприятное впечатление и тягостное воспоминание. Для Сократа все сводилось к тому, чтобы убедить самого себя и других, что самые важные вопросы суть еще нерешенные загадки, что слова и понятия, которые каждый доверчиво употребляет с детства, в действительности есть гнездо противоречий и неясностей! Пристыженность, с которой уходил собеседник, была не единственным неприятным чувством. Тот, кто ставит вопросы там, где до сего времени господствовало общее согласие, неизбежно заслужит кличку упряма и всезнайки, несмотря на всю свою скромность. Еще большее недоверие должен был вызвать к себе тот, кто затрагивал такие глубокие проблемы, как: «Что такое справедливость?», «Что такое благочестие?», «Каково лучшее государственное устройство?» Он легко мог показаться нарушителем общественного мира, опасным смутьяном и революционером. Ведь всякий, кто занят заложением основ общественного строя, редко избегает подозрения в том, что он именно хотел поколебать и разрушить эти основы. Если мы подумаем о том, насколько материальная необеспеченность и отсутствие занятия поддерживали эти подозрения, то нас должно удивлять, что он сам и его странная деятельность, совершенно выходящая из обычных рамок и проходившая так открыто, не подвергались притеснению в течение нескольких десятилетий;<sup>6</sup> мало того, ему удалось сгруппировать вокруг себя многих весьма талантливых, а частью и аристократических, афинских юношей (например, Алкивиада, Крития и родственников последнего, Платона и Хармида), и даже «нищему болтуну», как его называли в комедии, не закрыт был доступ

в круг Перикла, стоявшего во главе государства. Из этого мы видим, как высоко ценились в афинском обществе ум и гений и как мало значения имели узкие условности и кичливость высшего класса. Но совершенно иначе должен был смотреть на странного человека средний афинянин, не говоря уже о людях, лично оскорбленных Сократом. Большая часть не знала о нем ничего, кроме того, что он постоянно ведет замысловатые разговоры, касающиеся высоких и священных предметов, что его не останавливает никакой авторитет, даже авторитет суверенного народа, которому повсюду льстят, что он с утра до вечера в одном и том же разорванном одеянии, «босой как бы назло сапожникам», с гордым видом, с пристальным взором бродит повсюду, так что честному гражданину должен был казаться праздным вором и вместе богохульствующим умником. Это именно впечатление и передали авторы комедий. Мишенью своих постоянных насмешек они избрали известного в городе человека с лицом Силена, со странными манерами, и его товарищей, «сумасшедшего Аполлодора» и художавого «полуживого, цвета самшитового дерева» Херефонта.\*

2. Для изменения такого взгляда не представлялось случая. Слава Сократа как смелого солдата не выходила за пределы узкого круга его ближайших товарищей по оружию, так как он не бывал вождем. Не играл он роли и в гражданских войнах, бывших в Афинах в конце столетия. Тридцать тиранов могли даже вначале считать его своим вследствие его личных отношений к их главе, Критию.\*\* Только этим объясняется, что он вместе с четырьмя другими лицами был послан арестовать противника олигархов, саламинца Лента. Но Сократ отказал в содействии; ибо как ни откровенна была его критика действительных или мнимых недостатков демократии, он все-таки совершенно не был склонен оказывать поддержку олигархическому террору. Сам по себе этот факт был слишком незначителен, чтобы снискать ему расположение народа, если он и был известен в широких кругах. Только однажды Сократ был при-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* После поражения Афин в Пелопоннесской войне тридцать аристократов захватили власть в городе в 404 г. до н. э. и установили олигархический строй. Одним из олигархов был Критий — ученик Сократа и последователь Платона. (Прим. ред.) См. прим. и доб. Т. Гомперца.



нужден принять участие в важном политическом акте, но это было мимолетно и без успеха.

В августе 406 года афиняне одержали блестящую победу на море около двух маленьких островков, называемых Аргинузами, находящихся между Лесбосом и малоазийским побережьем. Однако торжество было омрачено большим несчастьем. Вожди не приняли мер к спасению экипажей многих поврежденных кораблей, а также не пытались спасти тела безвозвратно погибших. Мы не можем сказать, насколько в этом действительно были виновны военачальники.\* Не в их пользу, по крайней мере, говорит их противоречивый способ оправдания. Вначале они говорили, что разыгравшаяся буря помешала спасти потерпевших кораблекрушение, а затем, что два офицера, на которых было возложено дело спасения, промедлили. Когда дело разбиралось в первый раз в народном собрании, защиту обвиняемых выслушали спокойно и без предвзятости и решили передать дальнейший разбор дела совету пятисот. Но в это время произошло событие, изменившее дело. Праздновался древний и о н и ч е с к и й праздник Апатурии, во время которого афинский народ собирался по фратриям.\*\* При этом фратриям показывались дети, родившиеся в течение года, они заносились в списки, дети школьного возраста читали наизусть стихи и т. д.; но главным образом приносились торжественные жертвы богам, стоявшим во главе фратрий. Это было в полном смысле семейное празднество, подобное нашему празднику Рождества. В это время недочет среди родных, произведенный в их рядах смертью, ощущался особенно остро. С новой силой возродилась еще не заглохшая злоба против тех, которые действительно или предположительно были виновниками того, что одни погибли, а другие, погибшие, оказались лишенными почести погребения, имевшего большое значение в религиозном представлении древних. Как бы для того, чтобы омрачить празднество, отцы и братья погибших ходили по городу в траурных одеждах, с остриженными волосами и возбуждали народные страсти.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Праздник родового единства проходил четыре дня в месяце Пянепсигоне (октябрь—ноябрь). Фратрия — союз нескольких родов (в Афинах обычно около тридцати), объединение фратрий составляло филу. (Прим. ред.)

Под этим впечатлением начался разбор дела в совете. В нем было принято предложение Калликсена. Народу было предложено отказаться от дальнейшего допроса военачальников и сразу решить вопрос об их вине, хотя и тайным голосованием. Приговор должен был иметь последствием казнь стратегов и конфискацию их имущества. Само народное собрание началось очень бурно. Было ли решение, предложенное Калликсеном, незаконным и в какой степени, об этом мнения лучших знатоков аттического государственного права расходятся. Во всяком случае оно противоречило духу конституции и было опротестовано Эвриптолемом и его товарищами. Этот протест оказал то действие, что разбор дела был прерван до того времени, пока суд не выскажет своего мнения о правильности протеста. Если бы он был признан, то автор решения и участвующие в нем подлежали бы строжайшему наказанию. Даже и в эту минуту, когда страсти так разошлись, собравшийся народ не пренебрег правовыми нормами. С одной стороны кричали: «Нельзя мешать народу иметь свою волю», с другой — возражали: «Народ должен уважать законы, им самим данные». Решающим моментом было, вероятно, появление человека, бывшего на одной из двадцати пяти погибших триер и с трудом спасшегося на бочке. Он сообщил, что последним желанием и просьбой умирающих товарищей было отомстить генералам, покинувшим храбрых и победоносных граждан. Эвриптолема угрозой привлечь к обвинению склонили отступить от протеста. Однако этим не было устранено всякое сопротивление. Порядком народного собрания заведовала комиссия из пятидесяти человек, называемых пританами, которые в продолжение десятой части года составляли перманентную комиссию совета. Очередь исполнения этой обязанности лежала в это время как раз на филе Антиохиде, к которой принадлежал Сократ. Большинство комиссии отказывалось поставить на голосование предложение Калликсена. Это вызвало снова бурю негодования, и снова сопротивление было сломано с помощью той же угрозы. Один Сократ (как сообщают его ученики, Платон и Ксенофонт) непоколебимо оставался при своем убеждении.

Однако дальнейшее рассмотрение дела пошло спокойно. Угрозы достигли только того, что предварительно вопрос был решен в смысле преобладающего настроения народа; но они не

могли нарушить правильный ход продолжения собрания. Защитник стратегов Эвриптолем не предлагал оправдания, он хотел лишь правильного ведения процесса, который согласно принятому, хотя и не обязательному для народного собрания, обычаю должен был происходить отдельно для каждого обвиняемого (декрет Каннона); его противник, Калликсен, поддерживал свое первоначальное предложение. Обе речи были выслушаны спокойно. Последовавшее голосование посредством поднятия рук оказалось благоприятным для Эвриптолема. Так, по крайней мере, заявило бюро, на обязанности которого лежал подсчет голосов. Но этот результат был оспариваем, может быть, не без основания. Возможно, что большинство пританов, которые только что уступили сильному давлению, не смогли быть вполне беспристрастными. Голосование было повторено, и на этот раз оказалось против Эвриптолема. Теперь оставалось последнее и тайное голосование; урны были наполнены камешками, которые должны были решить судьбу обвиняемых. Последовало осуждение, которое для шести находящихся в Афинах стратегов означало смерть, для других — конфискацию их имущества.

После акта насилия в Афинах обычно наступала реакция. Прошло несколько лет, и против агитаторов было возбуждено обвинение, которое закончилось изгнанием, а Калликсена привело к самоубийству. Вспомнили ли теперь о безуспешном сопротивлении странного чудака, называемого Сократом, также и вне круга его близких учеников, и научились ли больше ценить его после этого? Это возможно, но маловероятно. Для нас этот случай имеет двоякий интерес, как доказательство силы его характера и как луч света, освещающий его внешнюю жизнь. Если бы сократовская школа не сохранила воспоминание об этом эпизоде и не нашла его достойным упоминания, мы никогда не узнали бы, что наш философ был однажды членом совета и не уклонялся от участия в выборах по жребию на эту должность. Приходится верить Платону, что только эту должность Сократ и занимал. Но те самые мотивы, которые заставили его участвовать в этих выборах, должны были оказывать влияние и во многих других случаях. Может быть, более чем один раз он принимал участие в излюбленном занятии необеспеченных престарелых афинян и вместе с дарами друзей получал и скромную плату гелиастов (присяжных). Ведь место суда должно было давать пищу его стремлениям к познанию

«человеческих вещей». Главным источником этой пищи были, конечно, разговоры, которые являлись вспомогательным средством для его собственной работы мысли. Теперь время познакомиться с формой, содержанием и результатами исследований Сократа.

3. «Две вещи следует по справедливости приписать Сократу, — говорит его внучатый ученик, Аристотель, — индуктивные речи и установление общих понятий».\* При этом речи эти служат образованию понятий. Слово «индукция» употребляется здесь в ином смысле, чем в современном языке. Для нас индукция есть умственная деятельность, которая из известного числа отдельных случаев выводит общую норму действительного бытия или действительных свойств. Индуктивным путем мы доходим до познания однообразия при сосуществовании и последовательности, будут ли это самые последние законы или выводные. Правильной индукцией мы узнаем, что все люди смертны, неправильной, ибо не совсем полной, — что все млекопитающие не кладут яиц, а производят живых детенышей. Сократовская индукция тоже идет путем сравнения отдельных моментов, но цель ее — получение не естественных норм, а норм понятий. Она стремится прежде всего к определению или дефиниции понятий. При этом она поступает двояким образом. Во-первых, она разбирает ряд моментов и стремится путем сравнения их получить общие признаки и отсюда вывести общее определение понятия. Во-вторых, она исходит от уже образованного, хотя бы и неопределенного определения понятия и ставит своей задачей выяснить, насколько эти определения в действительности основываются на общих признаках охватываемых ими отдельных случаев или насколько эта общность является только видимостью, и какое нужно изменение, расширение или сужение определения понятия, чтобы общность признаков образовала его содержание. Аристотель различает два вида сократовской индукции; само это слово (греческое слово означает «ведение» к какой-нибудь цели) он сохраняет для первого, второй же вид он называет параболой — слово, которое вначале означало сопоставление в целях сравнения.\*\* Платоновские диалоги, в осо-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Ср. перевод А. В. Кубицкого: «...две вещи можно по справедливости приписать Сократу — доказательства через наведение и общие определения». (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

бенности первого, сократовского периода, полны примерами этого метода и послужат нам для освещения его. Следующий пример мы заимствуем у человека, отсутствие тонкости которого ручается за то, что он не сам выдумал эти примеры, а приписал их Сократу. «Однажды в кругу друзей, — рассказывает Ксенофонт,\* — возник вопрос, что такое справедливость? Сократ предлагает написать в одном месте на песке первую букву одного понятия, в другом месте первую букву другого, а поступки, которые могут быть приписываемы одной и другой категории, подписывать под ними. Ко второй группе оказываются отнесенными ложь, обман, насилие и т. д. Затем указываются случаи, противоречащие такой группировке. Оказывается, что все эти поступки, когда они совершаются на войне против неприятеля, не признаются несправедливостью». Таким образом выясняется первая модификация. Указанные поступки попадают в рубрику несправедливости только тогда, когда их совершают в отношении друзей (в широком смысле слова). Но и на этом нельзя успокоиться. Ибо как отнестись к поступку, когда, например, военачальник хочет поднять дух своего войска неверным сообщением о подходе союзных сил? Или также когда отец подмешивает к еде лекарство, которое его больной ребенок отказывается принять, и благодаря такому обману вылечивает его? Или также когда опасение, что повергнутый в отчаяние друг может лишиться себя жизни, заставляет нас отобрать у него оружие? Является опять новая поправка прежних определений. А именно, для того чтобы вышеупомянутые поступки могли действительно считаться подвидами несправедливости, они должны быть совершены с намерением вредить лицам, на которых они направлены. Хотя это исследование и не заканчивается, собственно, определением понятия, но оно есть попытка классификации, которая подготавливает почву для определения. Вначале оно занимается только установлением объема, не содержанием понятия, о котором идет речь. По мере того как все точнее определялись свойства подвидов этого вида, открывался и путь к более точному определению границ содержания понятия. Как бы ни оказалось, в конце концов, окончательное определение, но применение хитрости и насилия с целью нанесения вреда другим лицам, исключая неприятелей на войне, не будет там пропущено.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Но если Сократ и был прежде всего философом понятий и если исследования его вследствие этого были направлены на общее, то все же он очень медленно, осторожно и осмотрительно переходил от частного к общему. Ни одна черта его метода не засвидетельствована лучше. Он совершенно так же боится поспешных обобщений, как те исследователи, которых в новое время называют индуктивными. Мы постоянно вспоминаем советы Бэкона против недопустимых обобщений. Материалом для его обобщений были события и представления повседневной жизни и мысли. «В своих исследованиях Сократ всегда исходил из самого обычного и наименее сомнительного — он считал это самым правильным путем».\* Так говорит Ксенофонт, и в данном случае он вполне совпадает с Платоном. В речах его постоянно фигурируют сапожники и кузнецы, валяльщики и повара, а также быки, ослы и лошади. Благодаря этому они получили немного тривиальный характер и вызывали насмешки, которые он всегда встречал с равнодушной улыбкой, с тем добрым доверием к божеству, которое для него означало веру в неизменную победу истины.

Этот его метод не ограничивался сферой образования понятий. Ведь понятия не что иное, как элементы суждения. Ничего нет удивительного в том, что Сократ стремился к ясности и правильности суждения не только этим посредствующим путем и что, в конце концов, он остался верным той же тенденции и вне пределов теоретического исследования. Если нужно исцелить юношу от незрелой веры в себя и поколебать его уверенность в способность вести государственные дела — Сократ расчленяет общее понятие государственного дела на отдельные элементы и незаметно приводит мнящего себя государственным человеком юношу с помощью вопросов и ответов, касающихся всех отраслей управления, к убеждению, что у него совершенно нет необходимых знаний. В другой раз тот же прием служит ему для противоположной цели. Внутренне зрелый, но чрезвычайно застенчивый молодой человек боится выступить в народном собрании. Рядом вопросов ему доказывается, что у него нет оснований испытывать страх ни перед одним из классов, из которых составляется народное собрание, а потому нечего

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

бояться и собрания в целом. Если знание дела является необходимым условием всякой общественной деятельности, то кто же станет выбирать по жребию людей на должность врача, рулевого или плотника, вместо того чтобы поручить эти дела специалистам. Это довольно тривиальные примеры сократовского метода. Он, однако, остается таким же и в гораздо более трудных и запутанных исследованиях. Сократ неутомим в настойчивости, когда ему приходится идти по извилистым и разветвляющимся путям исследования и бороться с возрастающими трудностями. При этом решение иногда достигается; во многих же случаях приходится признаваться, что усилие было тщетно и погоню за убегающим зверем нужно отложить до другого раза. Высшая моральная добродетель исследователя, неистощимое терпение соединяется с одним из высших интеллектуальных преимуществ — безусловной непредвзятостью. Мы можем формулировать сократовское воззрение следующим образом: ни одно положение не настолько понятно само собой и не общезначимо, чтобы его не стоило исследовать и испытать его прочность; ни одно утверждение не настолько странно или парадоксально, чтобы не заслуживало доли внимания, чтобы не стоило исследовать основания, говорящие в его пользу, и не взвесить их с беспристрастностью судьи. Нельзя отказываться ни от какого анализа, как бы ни был он затруднителен; нельзя отбрасывать или пренебрегать никаким мнением, как бы ни было оно нежелательно. Большому сердцу и сильному уму афинского мыслителя удается соединить две почти несоединимые вещи: горячее рвение и самое бесстрастное спокойствие при исследовании высших стремлений человека. Суждение его не подкупается любовью, не затемняется ненавистью. Вообще он ненавидел только одно, «ненависть к слову» (*misologia*), великое препятствие безгранично свободного и беспристрастного исследования. Жизнь без перекрестного допроса и исследования разума (в форме диалога) — это жизнь, которую «не стоит жить».\*

От формы и духа сократовских разговоров мы переходим к их содержанию. Здесь, однако, нам нужно идти обходным путем. В предыдущем изложении мы уже не раз упоминали

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Платона, Ксенофонта, Аристотеля. О них, как учениках и учениках учеников Сократа, мы будем говорить позже. Но в качестве источников наших сведений об учении Сократа они требуют особого рассмотрения. От самого Сократа мы не имеем никакого письменного наследия, кроме четырех стихов, которые ничего не дают нам, даже если бы подлинность их была твердо установлена. Наше знание о его учении основывается на свидетельстве других лиц, главным образом вышеупомянутых. В отношении метода и духа его исследования среди указанных трех свидетелей совпадение настолько полное, что мы могли до сих пор оставлять вопрос об их достоверности незатронутым. Но, во всяком случае, вопрос этот требует ответа.

4. Наиболее обильный источник сведений мы имеем в творениях Платона. Все они написаны в форме диалога. Во всех диалогах, за одним исключением, выступает Сократ как говорящее лицо и — в большинстве случаев — как лицо, ведущее разговор. Это прославление учителя выдающимся учеником дает нам весьма много. Первоклассный художник, портретист слова, равного которому не было во всемирной литературе, Платон дает читателю вполне живой и ясный образ своего почитаемого друга. В верности его изображения нет ни малейшего сомнения. Оно вполне согласуется как само с собой, так и с другими свидетельствами. Об идеализации можно говорить в том смысле, в каком вообще она свойственна творениям великих портретистов. Существенные черты обрисованы ярко, все второстепенное и лишнее опущено или затенено. Правда, не надо забывать, что Платон совершенно не претендует на полноту изображения, и поэтому его молчанию о той или иной подробности жизни Сократа или о его личных отношениях (например, к Архелаю, к Ксенофонту и т. п.) не нужно придавать значения. Совершенно иначе обстоит дело с дидактическим содержанием платоновских творений. Будучи творениями первоклассного оригинального мыслителя, они, естественно, содержат более чем простое изображение сократовских доктрин. В довершение всего от одного свидетеля, притом, как мы скоро увидим, самого важного, от Аристотеля, мы узнаем, что одно из основных учений Платона, так называемое учение об идеях.



было совершенно чуждо Сократу.\* Учение это в различных сочинениях Платона подвергалось разным освещениям и испытало несколько изменений, обусловливаемых как прогрессом самого автора, так и влияниями современников. Между тем Платон и свою основную доктрину, и все ее видоизменения вкладывает в уста Сократу.<sup>7</sup> Мы видим, таким образом, что в этом отношении он позволяет себе полную свободу. В дальнейшем мы увидим, что известное ядро убеждений у него все-таки было общее с Сократом; увидим также, насколько, как ему казалось, он только развивал главные теории своего учителя в его же духе; увидим наконец, как, достигнув глубокой старости, он порывает со своим прошлым, а благодаря этому разрывает и нить, связующую его с Сократом; личность последнего отходит в диалогах на задний план, а затем и совершенно сходит со сцены.

Гораздо меньше художественной свободы, но несмотря на это не больше исторической достоверности в сообщениях Ксенофонта. Он был отличным офицером, но малоталантливым писателем. Досуг своей старости он употребил на то, чтобы в ряде сочинений дать характеристику Сократа и его учения. Наиболее обширное из этих творений — «Воспоминания о Сократе», которые согласно установившемуся словоупотреблению мы будем называть «Меморабиями». Кто знаком с пером Ксенофонта по другим многочисленным его творениям, тот с доверчивым ожиданием отнесется к этому главному его сочинению и к трем примыкающим сюда, «Пиру», трактату о домоводстве и апологии, или защите Сократа. Можно было предполагать, что при отсутствии спекулятивной оригинальности и художественной потребности изложение выиграет в смысле точности. Но это ожидание оказывается не вполне оправданным, так как кроме вышеуказанных качеств у Ксенофонта не было и других необходимых свойств.

Сведения Ксенофонта о сократовских разговорах не вполне соответствуют истине. Это явствует из разбора самих его свидетельств. В начале трактата о домоводстве он заявляет, что сам присутствовал при разговоре Сократа с Критобулом. Это сообщение неверно. В течение разговора упоминается событие,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

о котором Ксенофонт не мог слышать от Сократа. Мы имеем в виду смерть Кира младшего, павшего в битве при Кунаксе (401), в лагере которого как раз в то время и находился Ксенофонт; он вернулся на родину много лет позже, уже после казни Сократа (399).<sup>\*</sup> Возникшее недоверие получает богатую пищу в дальнейшем, например, когда он подробно рассказывает о персидских делах, которые были так близки ученику и так далеки учителю. Ведь последний вообще никогда не посещал чужих стран и, за исключением паломничеств в Дельфы, покидал Афины только однажды, повинувшись долгу военной службы. Точно так же любовное описание всех подробностей возделывания полей, вполне понятное у сельского хозяина Ксенофонта, звучит странно в устах Сократа, который не выходил без нужды за ворота города, потому что луга и «деревья (фраза, вложенная ему в уста Платоном) ничему не научают». Таким образом, книгу о хозяйстве нужно вычеркнуть из числа строго исторических свидетельств. Но напрасно мы захотели бы признать строго исторический характер за «Меморабилиями». Как отнестись к тому факту, что в этом сочинении так же подробно говорится о малоазийских народцах, мизийцах и пизидях,<sup>8</sup> об особенностях их жилищ и способе ведения войны, как и в его «Анабазисе», т. е. в той книге, где Ксенофонт описывает возвращение десяти тысяч, в котором он сам принимал участие, и говорит при этом об этих народцах, хорошо ему известных, по личному опыту? Вполне ясно, что устами Сократа говорит сам Ксенофонт. Должны ли мы вывести отсюда, что пользование Сократом у нашего автора есть лишь художественный прием, что разговоры эти всецело фиктивны и что так и смотрел на них сам автор? Подобные мнения высказывались в последнее время; однако они представляются нам недоказанными. Уже само предположение, что Ксенофонт не пытается в своих сократических сочинениях сообщать факты действительности, находится в резком противоречии с задачей, которую он сам себе ставит в «Меморабилиях». Ведь он сам возвещает, что его задача опровергнуть обвинения, выставленные против Сократа (вероятно, по поводу брошюры риторы Поликрата).<sup>\*\*</sup> Он поль-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

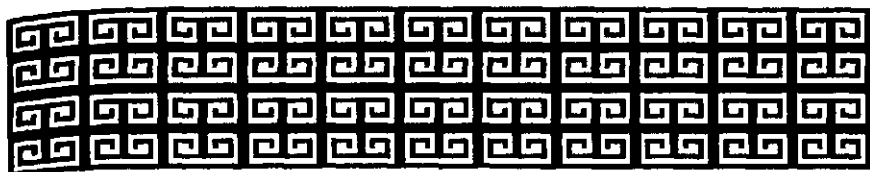
зается здесь не исключительно формой диалога, он рассказывает о привычках Сократа и некоторые случаи с ним. «Он хочет, — говорит он, — дополнить также сообщения других учеников». Все это было бы бессмысленно, если бы он смотрел на передаваемые им разговоры как на простые фикции. «Истина и вымысел» — так совершенно правильно определили содержание его бесед. Совершенно невероятно, чтобы Ксенофонт мог только выдумывать и ничего не сообщать, чтобы он всячески напрягал свое не очень богатое воображение и совершенно не пользовался памятью! Вполне определенные признаки свидетельствуют о том, что далеко не все мысли, обороты и формулы, встречающиеся здесь, суть порождения его сравнительно скудного и шаблонного ума. Рядом с невероятно растянутыми фразами попадаются фразы до непонятности сокращенные, рядом с тривиальнейшими мыслями стоят выражения поразительной оригинальности и парадоксальности. Есть и такие беседы, в которых нет настоящего конца, и мы должны предположить, что передатчик просмотрел их основную мысль или, скорее, просто не понял ее.

Но как провести границу между подлинным и неподлинным, хотя бы с приблизительной вероятностью? Только в последнее время близко подошли к этому вопросу, и он получил, как нам думается, принципиально правильное решение. Если не желать следовать субъективному чувству — произвольно принимать или отвергать отдельные черты ксенофоновского портрета, если хотеть приписать Сократу и Ксенофонту то, что поистине принадлежит им, то необходимо найти критерий оценки. Наши поиски не будут напрасны. С одной стороны, у нас есть другие многочисленные сочинения Ксенофонта, из которых мы получаем ясное представление о его характерных особенностях, отчасти объясняющихся условиями его жизни, а с другой стороны, мы имеем хотя не очень многочисленные, но вполне достоверные данные об учении Сократа. Оба критерия требуют очень осторожного применения.

Представить нашим читателям такое исследование во всех его подробностях не входит в задачи настоящего сочинения. Результат первой части его будет дан в главе, посвященной жизнеописанию и сочинениям Ксенофонта. Второй из указанных масштабов мы получаем из безусловно заслуживающих

доверия, хотя кратких сведений Аристотеля. В лице последнего мы имеем очень компетентного свидетеля с ясным критическим умом, человека, стоявшего достаточно близко к интересующему нас историческому явлению, чтобы быть самым точнейшим образом осведомленным о нем, и в то же время достаточно далеко, чтобы не предаться культу героя, поддавшись личному очарованию; изложение его не апология, не художественное прославление, оно вполне объективно. Правда, и из этого источника мы должны черпать с некоторою осторожностью. Иногда мы не вполне уверены, имеет ли Аристотель в виду исторического Сократа или лицо платоновских диалогов. Затем он упоминает о подробностях сократова учения, только когда это необходимо ему, большей частью с намерением опровергнуть его; поэтому он намеренно выдвигает одни лишь слабые стороны. Тем не менее, в особенности если мы будем остерегаться вышеуказанных источников ошибок, от свидетельств Аристотеля можно получить очень многое. Мы никогда не должны забывать об их неполноте. Ибо о том, что для Аристотеля, окруженного сократическими школами и принадлежавшего к одной из ее ветвей, было само собой понятным и критически неопровержимым, о том он меньше всего говорит. Но искать «свидетельств из первоисточников» для определения того ядра учения, которое обще всем оттенкам сократовского направления, совсем и не нужно. О великой причине великих последствий говорят эти последние. О прелести рая говорят реки, текущие из него и разливающиеся по всем странам.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Сократово учение

Никто не делает ошибок добровольно — эти слова выражают суть сократизма.\* Они составляют ствол, который нужно проследить вверх к ветвям и вниз к корням. Положение это есть краткое выражение той мысли, что всякий моральный проступок имеет начало в интеллекте и основан на ошибке разума. Иными словами, кто знает, что правильно, тот так и поступит: недостаток разумения есть единственный источник всякого морального несовершенства.

Теперь нам понятно, почему Сократ придавал такое огромное значение прояснению понятий. Труднее объяснить себе, как эта безгранично высокая оценка интеллекта и его значения для жизни возникла в уме Сократа. Правда, стремление к замене неясных представлений и смутных чаяний ясно определенными понятиями и умозрениями является характерным для всей этой эпохи, которую мы в предыдущих главах охарактеризовали как эпоху просвещения. Стремление к развитию интеллекта, к применению его для просветления вопросов общественной и частной жизни, желание заменить предания приобретенным знанием, слепую веру зрячим мышлением — все подобные тенденции уже встречались нам. Нет также надобности сообщать об односторонностях, к которым приводило это направление мысли; например, к склонности неудачно национализировать прошлое человечества, в особенности начатки культуры, основания государства, языка и общества. Завершение всего того, что мы назвали интеллектуализмом эпохи, и составляет учение Сократа. До того времени думали, что не

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

только интеллект нуждается в дисциплине, но и воля, и что награда и наказание, упражнение и привычка необходимы как средства воспитания. Сократ рассуждает так, как если бы, говоря словами Аристотеля, неразумной части души не существовало вовсе.\* Все поведение определяется интеллектом. Этот последний всемогущ. Признать что-нибудь правильным и не последовать этому знанию, считать какой-нибудь поступок неправильным и все-таки подчиниться влечению к нему — это, по мнению Сократа, не только явление, достойное сожаления или гибельное, оно просто невозможно. Он не осуждает, не борется, он просто отрицает то, что тогдашнее словоупотребление называло «подпадать плотским вожделениям» и что римский поэт облек в типичные слова: *video meliora proboque, Deteriora sequor* (Вижу лучшее и одобряю, следую худшему).\*\*

Нет ничего легче, как признать односторонность этой точки зрения и отвергнуть ее. Однако гораздо полезнее отдать себе отчет в том элементе истины, который содержится в этом преувеличении. Интересно понять, как Сократ пришел к тому, что признал за целую истину важную ее часть и какую услугу он, один из «великих одноглазых»,\*\*\* оказал человечеству тем, что выдвинул вперед именно эту, наименее заметную сторону.

Хотя то душевное состояние, которое Сократ оспаривает, без сомнения, встречается в действительности, однако оно гораздо реже, чем это обычно предполагают. Страсти осиливают часто не убеждения или мнения, а лишь их призраки. Неясность мышления, спутанность понятий, непонимание оснований, незнание как объема, так и существенного содержания предписаний, которые принимаются огулом без анализа, — эти и другие интеллектуальные недостатки являются существенным условием разлада между заповедями и поступками, того разлада, который составляет проклятие жизни. Если отсутствие одного общего образа мысли обуславливается не исключительно этими интеллектуальными недостатками, то все же они делают то, что самые противоречивые элементы мирно уживаются в одной и той же душе. Эта неясность и неопределенность делают характер неустойчивым, парализуют его силу, доставляют лег-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

кую победу порочным вожделениям, нередко оставляя впечатление, будто победа эта вызвана силой страсти, а не слабостью сопротивления. Подобная запутанность мыслей приводит к одновременному признанию взаимно противоречащих мерил суждения, к душевному состоянию, которое едва ли можно лучше обрисовать, чем это сделал один современный французский драматург, вложив в уста одного из своих действующих лиц следующие слова: «О какой морали говорите вы? Их тридцать шесть. Есть мораль социальная, которая не имеет ничего общего с политической, которая опять-таки не имеет никакого отношения к религиозной морали, а та, в свою очередь, совершенно не похожа на мораль в торговых делах и т. д.»\* Все же очень редко случается, чтобы правильность понимания обуславливала правильность поведения. Это бывает только в том случае, когда цель поступков точно установлена и вопрос идет лишь о выборе средств, в особенности в том случае, когда цель поставлена неуклонным личным интересом самого действующего лица. Крестьянин, обрабатывающий свое поле, рулевой, направляющий свой руль, ремесленник в своей мастерской — все они в огромном большинстве случаев не хотят и не могут хотеть ничего другого, как возможно лучше исполнить возложенную на них задачу. Их удача или неудача почти всегда ограничена степенью их разумения или опытности в данном деле. К этой области поэтому применимо (по крайней мере приблизительно) вышеприведенное основное положение Сократова учения. И ничто не вызвало в Сократе более упорного изумления, как постоянно повторяющееся наблюдение, что во второстепенных вопросах жизни люди имеют ясное представление об отношении цели и средств или же неуклонно стремятся к выяснению его, тогда как в высших интересах, с которыми глубоко связано благополучие или несчастье их, не встречается ничего подобного. Этот контраст производил на него сильнейшее впечатление и решающим образом повлиял на направление его мысли. Подобно тому как в ремесле и во всякой специальности качество работы повышается с расширением умственного кругозора, так Сократ ожидает такого же прогресса в том случае, когда озаряется ясным пониманием личная и общественная

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

жизнь, когда они подчиняются точным правилам поведения, которые должны составить систему средств для достижения высших целей.

«Никто не делает ошибок добровольно!» В этом изречении двойкий смысл. Во-первых, в нем заключено убеждение, что огромное количество происходящих ошибок возникает вследствие недостаточного развития рассудка; во-вторых, другое убеждение, лежащее в основе первого, — что отсутствие у людей общего единства касается только средств, а не целей. Все без исключения хотят хорошего. В этом люди не отличаются один от другого; они различаются лишь по степени способности осуществлять эту общую цель, а это различие зависит всецело от степени развития их рассудка.

Но здесь возникает новый вопрос. На чем основан этот моральный оптимизм нашего мудреца? Как возникла вера в то, что моральная ошибка является всегда результатом заблуждения, а не злой воли?<sup>9</sup> Ответ следующий. Для Сократа совершенно несомненна тесная связь между моральным совершенством и счастьем, с одной стороны, и моральным несовершенством и несчастьем — с другой; поэтому только ослепление, граничащее с безумием, может заставить избрать последнее и отказаться от первого. Слегка перефразируя стих Эпихарма, в сократовских кругах любили повторять изречение: «Никто не несчастен по своей воле, никто не радостен против желания».\* При этом греческое слово, которое мы передаем словом «несчастный», колеблется между двумя различными значениями; как и немецкое слово «elend», оно может означать «негодный человек» и «несчастное существование». Эта и другие двусмысленности языка придают вышеуказанной оптимистической вере иллюзию очевидности, которой в действительности совершенно нет. Прежде всего нужно указать на соединение двух слов, двойной смысл которых мог особенно легко вызывать эту иллюзию. «Хорошо поступать» и «хорошо

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Эпихарм — комедиограф, современник и ученик Пифагора, близкий к нему по своим философским взглядам. О нем см.: Диоген Лаэртский VII 78; а также: *Жмудь Л. Я.* Указ. соч. С. 73, 95. (Прим. ред.)



себя чувствовать», оба значения содержатся в греческом *eu prattein* (*wohl thun нем., to do well англ.*) Не только это совпадение обманывало еще не окрепшее мышление; часто также сглаживалось различие между поступком, который «хорош» потому, что он содействует цели поступающего, и таким, который «хорош» потому, что он содействует общественной цели. Как мы говорим о «дурном» намерении, о «дурном» орудии и о «дурном» сне, точно так же и в греческом языке есть слова и для обозначения негодных предметов и губительных для общества направлений воли и предметов, не достигших своего осуществления. Таким образом, во многих местах у Платона для доказательства этой основной мысли Сократа, что «никто не делает ошибок добровольно», приводится тот простой довод, что никто не избирает для себя дурное или вредное, причем совершенно не обращается внимание на только что указанное нами различие.

Но как ни необходимо было указать на эти ошибки, происходящие от языка, это все-таки второстепенный пункт. Новое могучее и плодотворное учение обязано своим происхождением не двусмысленности слов, не недостатку точного различения понятий. Если Сократ считает тождественными добродетель и счастье, то, конечно, прежде всего потому, что он это так ощущает. Мы слышим здесь голос не его народа, а голос его внутреннего Я.

2. Клеанф, второй представитель стоической школы, в своей книге «О наслаждении» приводит часто повторяющееся изречение Сократа, что «счастлив справедливый человек».\* В одной элегии Аристотеля, написанной на смерть рано умершего товарища, киприйца Эвдема, элегии, сохранившейся, к несчастью, только в отрывках, мы находим следующие строки, тождественные с вышеприведенным изречением: «Учением и поступками он доказал, что человек одновременно и добр, и счастлив, и одно не может быть отделено от другого».\*\* Здесь речь идет о человеке «единственном и первом среди смертных», возвестившем это учение, которому Эвдем немедленно по при-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. О Клеанфе см.: Диоген Лаэртский VII 168—176. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

бытию своем в Афины, движимый великой любовью (т. е. почитанием), воздвиг алтарь, предназначенный для прославления героя (I 145). Вопреки мнению некоторых древних и современных людей, видевших в этом человеке Платона, который был еще жив ко времени смерти Эвдема (353), беспристрастный взгляд единственно укажет на Сократа. Отождествление добродетельности со счастьем, или эвдемонизм,\* есть общее наследие всех сократовских школ, в какую бы разнообразную форму оно ни облекалось. Если учение казалось само собой понятным или почти понятным его автору, то для более критического взгляда его учеников оно нуждалось в доказательстве. И величайший из учеников Сократа, Платон, в самом значительном сочинении своем, в «Государстве», применяет всю мощь своего мышления, пытаясь доказать следующий тезис: справедливый, в качестве справедливого и вследствие своей справедливости есть вместе с тем и счастливый.

Прежде чем идти дальше, остановимся на минуту на мотивах, которые привели Сократа к этому учению и побуждали проповедовать его со всей силой своего ума. Основные психические моменты этого, без сомнения, следующие. У Сократа был идеал поведения — идеал рассудительности, справедливости, неустрашимости и независимости. Он чувствовал себя счастливым, поскольку он следовал этим правилам. Смотря вокруг себя, он видел и у других людей идеалы жизни, но вместе с тем он наблюдал вялость, половинчатость, разлад чувств, отсутствие строгой последовательности и в результате частые уклонения от намеченного пути; он видел значительные таланты и могущественные инстинкты, которым недоставало направляющего начала, которые расточались и применялись неудачно, и люди, обладавшие ими, не достигали внутренней гармонии и прочного мира. Ему казалось недостойным свободного человека, казалось «рабским» состоянием\*\* быть игрушкой капризных импульсов. Алкивиад, яркий представитель этого типа, так именно и рисует сам себя в «Пире» Платона. Когда он слушает поучения Сократа, он трогается до глубин души, сердце его начинает сильно биться, он плачет и в сравнении

\* От η' εὐδαιμονία — «счастье», «благосостояние». (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

с Сократом кажется себе вполне недостойным. В такое состояние его не мог привести даже такой блестящий оратор, как его дядя Перикл. Точно так же у Ксенофонта Сократ приписывает «рабские» чувства тем, кто вследствие недостатка познания о «добром, прекрасном и справедливом» колеблются в своих поступках подобно путешественнику, не знающему пути, или неумелому счетчику, решающему свою задачу то так, то иначе. Сократ болезненно ощущал в своих современниках отсутствие внутренней гармонии и определенной, единой воли.<sup>10</sup> Мы называли его борцом за просвещение; но вместе с тем он как никто познал и неустрашимые недостатки критической или просветительной эпохи и ярче всего ощущал их. Старая вера была подточена; с внешней стороны правила поведения оставались прежние, но они были лишены внутренней силы: в душе было беспокойство. Тот разлад, который мы наблюдаем в драмах Еврипида, должен был заставлять искать нового мировоззрения, которое могло бы так же полно охватить человека, как прежде религия. Сократ был основателем этого нового мировоззрения не в том смысле, чтобы его идеалы были во многих пунктах существенно иные, чем прежние идеалы его народа. Сам он только в некоторых вопросах (прежде всего в вопросе о государственных учреждениях) подвергал их уничтожающей критике, но подготовил эту критику для многих случаев. Пафос его жизни состоял в устранении душевного разлада. Как сообщает Клеанф в указанном выше сочинении, он заклеил «нечестивцем» того, кто впервые отделил справедливое от полезного и дал таким образом душе двойное мерило. С одной стороны, нравственный идеал, о котором мечтают в праздничные дни, с другой — прямо противоположный идеал счастья, которым надо жить в будни. Тут божественный образ, перед которым склоняют колено, там идол, которому служат; единодушное осуждение клятвопреступника и узурпатора, запачканного кровью вроде Архелая Македонского, и рядом с этим не менее единодушное удивление перед величием этого человека и общая зависть к его удаче (сравни «Горгий» Платона).\* Если непосредственная и главная задача Сократа за-

\* Архелай Македонский, сын Пердикки II, прослыл деспотом и тираном, убит в 399 г. до н. э. О преступлениях, совершенных Архелаем, идет речь в «Горгии» Платона (470d—472). (Прим. ред.)

ключалась в том, чтобы придать ценность существующему строю жизни, то вместе с этим он открывает путь, который ведет к преобразованию ее. Положение: «добродетель есть счастье» легко превратилось в обратное: «счастье есть добродетель». Эвдемонизм, который раньше если не исключительно, то главным образом стремился обосновать традиционные правила поведения, должен был в конце концов привести к критическому пересмотру всех этих правил. Путь к полной перестройке моральной, социальной и политической жизни был подготовлен.

Но об этом мы будем говорить позже. Прежде всего нам нужно проследить основное учение Сократа в его последствиях. Мы можем предоставить слово Ксенофону. Одно из мест, которые слишком содержательны, чтобы мы могли счесть их созданием самого Ксенофонта, гласит так: «Мудрость и добродетель» (вначале, правда, называются различные виды этих качеств, затем они дополняются другими видами) «он не различал; признак обеих он видел в том, что всякий знает прекрасное и доброе и пользуется ими, а также узнает отвратительное (или дурное) и избегает его. Если же затем его спросить, считает ли он мудрыми и дельными людьми тех, кто, зная, что должно делать, делают противоположное тому, то он отвечал, что считает их не умными и не дельными».\* Другими словами, он отрицал противоречие между познанием и поведением и выводил отсюда то следствие, что моральные качества всецело и единственно заключаются в мудрости. В силу применения ее к разным областям жизни добродетель начинает казаться разнovidной; в действительности же она едина, ибо она тождественна с разумением и мудростью. Как мудрости, ей можно учиться и, так как такое важное знание никогда не может улетучиться, его нельзя потерять. Здесь мы соединили свидетельства Платона и Ксенофонта и восстановили, таким образом, скелет сократовского учения о добродетели.

Правда, скелет не есть целое. Вряд ли мы будем знать в точности, насколько Сократ вдавался в детали, выходя за пределы основных черт своего учения. Мы должны здесь различать две вещи: позитивное содержание его морального учения и обоснование его.

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

3. Психологическую основу его убеждения о всесильности интеллекта мы уже видели. Он был так поглощен собственными идеалами, что всякое уклонение от них считал только следствием интеллектуальной ошибки. Но психологическое основание теории — одно, а логическое ее обоснование — другое. Он хотел доказывать, а не ораторствовать, он всегда исходил из «самого ходячего и несомненного», ему было недостаточно сослаться на свое собственное чувство. Он стремился к возможно более объективному обоснованию, и это облегчалось для него несовершенством тогдашнего мышления, отсутствием строгого различия между тем, что мы называем индивидуальной моралью и моралью социальной. Сократовское обоснование морали исходило из первой.\* Всякий стремится к своему собственному благу. Если же поведение его противоречит этой цели, не служа при этом ни другой цели, вышестоящей, ни ослеплению страсти, то в этом противоречии виновато неверное знание (или, как мы должны прибавить, недостаточное умение применять знания). Эта простая мысль являлась, по-видимому, исходным пунктом Сократовой теории, поскольку она являлась теорией, построенной на рациональных основаниях. Легко доказать ошибочность и вред многочисленных извращений жизни тем, кто несет их на себе; легко показать, что они не достигают той цели, от которой никто не откажется сознательно. Отсюда было легко перейти и на ошибки социальной морали. Наш философ пытался доказать, что антисоциальные поступки вредят интересам лица, совершающего их. Примерами, иллюстрирующими эту мысль, полны «Меморалии» Ксенофонта.\*\* Нужно дорожить дружбой, потому что друг есть самое полезное обладание. Нужно избегать несогласий в среде родных, потому что глупо обращать во вред то, что природа дала нам на пользу. Нужно повиноваться законам, потому что это повиновение приносит нам наибольшую выгоду и т. д., и т. д. Мы не можем присоединиться к мнению некоторых новейших исследователей, что как указанные примеры в частности, так и сама основная мысль не принадлежит Сократу.<sup>11</sup> Когда все подобное считают недостойным Сократа, то при этом упускают из виду многие различия, которыми нельзя

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Как и диалоги Платона. См., напр., «Евтифрон». (Прим. ред.)

пренебрегать безнаказанно; при этом не замечают, что еще важнее следствия, вытекающие из основной тенденции сократизма. Страстная потребность освободить человека от колебаний противоречивых желаний, от случайности мнения и вместе с тем дать непоколебимую основу его высшим стремлениям не могла обойтись без подобных аргументаций. Ведь положение «это должно быть» нужно было свести к «это есть»; на место не требующего доказательства повелительного наклонения заповеди поставить изъявительное наклонение несомненных человеческих интересов. Многие приходилось оправдывать перед рассудком, что для ясно зрящей, чуткой души не требовало никакого оправдания. Неприятное чувство, оставляемое в душе современного читателя подобными рассуждениями, зависит отчасти от тривиальной манеры Ксенофонта, подробно останавливающегося на самом понятном, отчасти от вышеуказанных причин. Кроме того, остается впечатление, что подобные увещания с указанием на отдаленные выгоды, которые покупаются ценой непосредственных жертв и трудностей, малопригодны к тому, чтобы стать действительными мотивами поведения. Нас неприятно поражает, что такие мотивы должны присутствовать в сознании. Отталкивающее должно на нас действовать, когда мать заботится о ребенке только для того, чтобы иметь опору в старости! Но на эти рассуждения можно взглянуть и с иной точки зрения — с точки зрения интеллектуального оправдания и рационального обоснования. Если так смотреть, то рассуждения эти входят в целое сократизма и не лишены известной ценности. Задача заключалась в том, чтобы оправдать семейные, дружеские и другие альтруистические чувства перед холодным рассудком и поддерживать единство воли указанием на то более или менее обоснованное соображение, что противоречие между требованиями, предъявляемыми обществом, и личными интересами лишь кажущееся; этим путем если и нельзя было создать новых мотивов, то все же можно было укрепить с рациональной стороны существующие и защитить их от нападений антисоциального духа. Правда, при этой попытке приходилось отдавать предпочтение более грубым, наиболее заметным выгодам перед более тонкими, более скрытыми и более длительно действующими.

Но есть другие области, в которых рассудочное рассмотрение этических вопросов гораздо важнее. Добрые, гуманные чувства

рождаются не из размышления. Они суть следствия естественных задатков, воспитания, окружающей среды. Аргументация не способна породить их. Однако раз они существуют, она может дать им направление. Здесь не столько приходилось бороться с незнанием, как с неясностью. И сократовская диалектика непрерывно с нею боролась. В этой борьбе точное определение понятий было очень важно. Если ясность понятий не могла породить мотивов поведения, то она могла помешать тому, чтобы эти мотивы, которые подобно подвальным растениям возрастают в темноте, пустили корни в душе. Как много вредных поступков не существовало бы вовсе, если бы покров неясности не заслонял от глаз их принадлежность к той категории поступков, предсудительность которых вполне очевидна; например, в отношении некоторых не вполне добросовестных приемов оправдания так называемой деловой моралью, или в отношении вреда, приносимого государству, на которое смотрят как на абстракцию вместо того чтобы видеть в нем совокупность чувствующих человеческих существ. Здесь, как и в других случаях, применимы прекрасные слова Дж. Ст. Милля: «Если бы удалось сделать невозможную софистику рассудка, то софистика души лишилась бы своего орудия и стала бы беспомощна».\* Рядом со спутанностью понятий в голове отдельного человека как велико число вопросов, в отношении которых и коллективное мышление страдает той же болезнью! Если бы Сократ появился среди нас, как часто (и как победоносно) применял бы он свое диалектическое оружие в борьбе с общественным мнением! С какой горькой усмешкой вынудил бы он признание законодателей, что дуэль одновременно и запрещена и рекомендуется. Как забавляло бы его указание на то, что один и тот же поступок оценивается совершенно различно, смотря по тому, в каком классе общества совершается! Как бичевал бы он ту систему воспитания, которая прививает одновременно, или в разное время, взаимоисключающие идеалы жизни. С каким удовольствием обнаруживал бы он те кричащие противоречия, в которые постоянно попадают журналисты и парламентарии по вопросам «политической морали», «святости договоров» и т. п. Вряд ли мы ошибаемся, предпола-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

гая, что эта забота о точном ограничении понятий, о прояснении темноты мысли и разрешении всяких противоречий была важна не только в теоретическом отношении, но и в практическом. Если среди античных философов после Сократа так много цельных людей, если в школах киников, киренаиков, стоиков и эпикурейцев с таким импонирующим постоянством придерживались идеалов (значение которых напрасно хотят иногда уронить) и с такой удивительной последовательностью стремились к их осуществлению, то это в значительной степени нужно приписать влиянию сократовской школы мышления.

Нам остается сказать о с о д е р ж а н и и сократовской морали. Здесь правила индивидуального поведения идут рука об руку с правилами общественной практики. Нам придется говорить не только о морали, но и о политике. Правда, как для одной, так и для другой из этих областей у нас нет подробной системы Сократова учения. Но дух, в котором он исследует эти вопросы, явствует из черт, общих теориям его последователей и с которыми вполне совпадают некоторые черты, хорошо известные нам как принадлежащие к его учению.

«Это прекраснейшее изречение, — говорит Платон, — которое когда-либо было или будет высказано, что полезное прекрасно, а вредное отвратительно».\* Здесь идет речь об общевредном и общепольном, и «энтузиазм трезвости», который мы чувствуем в этих словах поэта-философа, пылал еще сильнее в сердце его учителя, преданного культу рассудка. Он не знает добра, которое не было бы добром для кого-нибудь, т. е. полезным. «Сорная корзина, выполняющая свое назначение, прекраснее, чем бесцельно сработанный золотой щит».\*\* Так гласит изречение Сократа у Ксенофонта — изречение, которое ни в каком случае не могло быть выдуманно автором «Меморабилий» и сомневаться в аутентичности которого нет поэтому никакого основания. Способствовать благополучию людей было для Сократа высшим руководящим правилом в государственных или общественных делах. Масштабом при оценке поступка было исключительно то, насколько он служил этой высшей цели. Но Сократ не пытался получить совокупность высших требо-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



ваний синтетическим или конструктивным путем. Здесь так же, как и в вопросе о качестве индивидуального счастья, он совершенно отказался от подробного расчленения и затем построения. Точно так же он не пытался отграничить сферу индивидуума от сферы общего. Вся эта работа выпала на долю его продолжателей.

Утилитарную мораль, или, как мы предпочитаем называть ее, мораль последствий, мы вполне уверенно можем приписать Сократу. Полезность или целесообразность суть критерий его мышления по моральным, социальным и политическим вопросам. Его можно назвать основателем того рационального радикализма, который настолько же неоценим, как орудие критики и нападения против негодных сторон жизни, как и опасен и губелен в силу тенденций к немедленному и насильственному осуществлению своих требований, которые, однако, в отдельных случаях не что иное, как требования людей, подверженных ошибкам. Разум против авторитета, целесообразность против традиции или темных инстинктов — таков боевой клич в борьбе, подготовленной и едва начатой Сократом. Сам он в значительной степени находился под властью традиционных чувств своего народа. Он хотел только принципиального признания верховенства разума. Уже и такое признание должно было ослабить некоторые узы благоговения, вряд ли в этом можно сомневаться. Не вполне несправедливо его упрекали в том, что он убеждал детей не следовать «неразумной» воле своих родителей, что он советовал уважать только разум, а не возраст.\* И уважение к существующим государственным учреждениям должно было значительно пострадать от его критики.

Непрестанным его нападкам подвергался способ выбора должностных лиц посредством жребия.\*\* Этим путем он подготавливал такое время, в котором специальные знания, выше всего ценимые им и его последователями, должны были найти большее применение в государственном управлении, чем это было до этого в Афинах. Тем не менее мы не можем считать его критику вполне правильной. Ответственные государствен-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца

ные должности и тогда уже замещались не по жребию. С другой стороны, рядом с несомненными недостатками выбора по жребию были и обстоятельства, отчасти смягчающие эти недостатки, а также и не менее несомненные преимущества этой системы. Смягчало недостатки этой системы то обстоятельство, что несение обязанности отдельным лицом было очень кратковременно, что коллегии были очень многочисленны, что многие, опасаясь обнаружить свою неспособность, могли не принимать участия в выборах ответственных должностей (например, в очень утомительных обязанностях совета пятисот). Вместе с тем эта система выборов служила к распространению политического образования и укреплению гражданских чувств. Но самое важное было то, что сами по себе опасные для маленькой общины партийные раздоры привели бы к еще более губительному антагонизму, если бы всякая победа одной партии сопровождалась полным господством ее во всех частях управления. Участие меньшинства в государственных делах смягчало этот антагонизм. Еще ближе подходил Сократ к нашим современным взглядам, когда он боролся с предубеждением против свободного ремесленного труда, предубеждением, почти неизбежным в рабовладельческом государстве. В этом отношении Сократ был радикальнее Платона и Аристотеля и совершенно не разделял презрения к ручному ремесленному труду.\* По его мнению, женщины способны к большей степени образования, чем то думали его современники. По крайней мере, было бы странной случайностью, если бы совпадение в этом вопросе Платона, Ксенофонта и Антисфена, отрицавших всякое качественное различие в духовном укладе обоих полов, не вытекало из одного общего источника.\*\*

Но не будем входить в частности. Главное — это утверждение прав критики вопреки традиции и авторитету и оценка всех учреждений, всех заповедей и предписаний с помощью одного единственного мерил влияния опыта и разума на человеческое благополучие. Если даже применение этого принципа в руках людей, по существу склонных к ошибкам, часто бывает неправильным, однако другого лучшего канона мысль мудрецов в

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

течение двух тысячелетий не могла открыть. Утилитаризм, его преимущества, неправильное его понимание, действительные или мнимые основания, выставляемые против него, — все это займет наше внимание в дальнейшем, когда мы встретимся с этим учением в более ярком его выражении, какое оно получило у последователей Сократа.<sup>12</sup> Тогда же нам придется строго разграничить перепутанные теории эвдемонизма, гедонизма, утилитаризма и их разветвлений. Теперь только еще одно замечание. Можно совершенно отрицать индивидуально эвдемонистическое обоснование морали и в то же время высшим мерилom морали и политики признавать социальную полезность. Можно, наконец, оставить и эту точку зрения, хотя, несмотря на все хитроумные возражения, у нас нет ничего, что бы могло замесить эту теорию и сохранить метод, по которому всякое уставовление, всякое предписание, всякое правило поведения является средством к определенным целям и подлежит проверке с этой стороны. И пока мы стоим на общей почве с Сократом, на почве рассудочного исследования. Можно сказать, что где сошлись два человека, чтобы рационально обсудить человеческие отношения, там и Сократ среди них.

4. Правда, его влияние на широкие круги людей и на отдаленные поколения не было непосредственным. Оно шло через его учеников, учеников последних и, испытывая другие влияния, сплеталось с ними. Иначе было с человеком Дальнего Востока, близким Сократу по духу и почти его современником. Мы говорим о Конфуции (478 г. до Р. Х.), которого чтили как основателя религии обитатели срединной империи и прилегающих стран. Среди его канонизированных изречений мы встречаем совершенно сходные с изречениями Сократа. В 39-й книге Ли-Ки читаем: «Усовершенствование знания состоит в исследовании вещей. Если вещи обследованы, то знание совершенно; только тогда мышление истинно, когда совершенно знание; когда мышление истинно, тогда сердце просветлено; только когда просветлено сердце — образуется личность; только когда образована личность — упорядочивается домашняя жизнь; только когда упорядочена домашняя жизнь — в порядке государство».\* Георг фон дер Габеленц, писавший о Конфу-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ции, говорит о нем: «Мы видим, что в этом основном месте, где мы ожидаем услышать слово „совесть“, он говорит о знании и о его совершенствовании. По-видимому, он смотрит на нравственность как на вещь, которой можно поучиться».\* Есть у Конфуция и прямое указание на теорию, обосновывающую мораль счастьем субъекта; недаром же его обвиняли в эвдемонизме. Но завершением всей системы все же является трезвый альтруизм: «Любите друг друга», «Воздавайте добром за добро и справедливостью за зло», «Чего ты не хочешь, чтобы тебе делали, не делай другому». Таковы некоторые из его изречений. Этот эвдемонизм создал по крайней мере основу, которая уверенностью возмещает недостаток пафоса. Так, например, в одной из государственных бумаг (девятнадцатого столетия нашей эры) мы читаем: «Ваше Величество! Я слышал, что тот, кто искореняет зло, пожинает удачи, соответствующие степени усилия, что на долю того, кто множит радости других, выпадает счастье. Таково было руководящее правило наших древних королей». Под счастьем понимается земное счастье; вообще у китайских философов-моралистов конфуцианской школы совершенно отсутствует представление о потустороннем мире с его наградами и наказаниями. И здесь, в неопределенном отношении к вопросу о бессмертии, сохраняется параллель с Сократом. Платон в «Апологии» заставляет его признаться в полной неуверенности по вопросу о природе смерти, а благочестивый Ксенофонт, очевидно, под влиянием своего учителя, хоть и влагает в уста своему умирающему герою, Киру, всякого рода аргументы бессмертия, но кончает лишь сомнительными выводами о дальнейшей жизни души.\*\*

Сократ ни в каком случае не был одинок в своем скептицизме. Когда он, один из участников битвы при Потидее (ср. с. 45), смотрел на надгробный памятник павшим товарищам (памятник, сохранившийся до нас в плохом состоянии), то стих: «Как земля тело примет, так души примет эфир»,\*\*\* являлся как бы официальным выражением отрицания личного бессмертия. Так мало была распространена в ту эпоху вера, которой придержи-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Но в «Федоне» влагает в его речь подробнейший эпизод из орфического учения о бессмертии и переселении душ. (Прим. ред.) См. также прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

вались мисты и орфики; в массе же народа ей постоянно приходилось бороться с неверием. Это предположение, что душа возвращается в эфир, как тело в землю, разделялось дружившим с Сократом Еврипидом, а также автором комедий Эпихармом. Здесь оспаривалось личное бессмертие, но не сознательное продолжение жизни душ, так как эфир, или небесная материя, мыслился как носитель мировой души, связанной с высшим божеством. Но Еврипид не был бы самим собою, если бы в этом одном пункте он выражал свое исключительное убеждение. Рядом с этой пантеистической верой в его драмах встречаются места, в которых выступает полная неуверенность в судьбе души и даже надежда на окончательное уничтожение сознания. Подобные колебания вместе с постепенным ослаблением веры в бессмертие души были, по-видимому, преобладающими в конце пятого столетия. Также и там, где не высказывают сомнения в дальнейшей личной жизни, все же очень мало говорится о славе и блаженстве умерших и совершенно не утверждается с уверенностью их участие в земных событиях. Литературные свидетельства этой перемены поучительно дополняются памятниками. Наиболее древние афинские гробницы приблизительно около 700 г. до Р. Х. как многочисленностью и роскошью даров, так и приспособлениями для жертвоприношений умершим свидетельствуют о силе веры в загробную жизнь и глубочайшем почитании душ. С течением времени чувства эти заметно слабеют. Приношения не прекращаются, но в эпоху высшего художественного расцвета становятся до шаблонности однообразными. А в конце четвертого столетия вообще исчезает богатство украшений; с явной готовностью подчиняются распоряжениям Деметрия Фалерского\* об ограничении расходов на гробницы. Наряду с обеднением народа на эту перемену влияло и падение веры в загробную жизнь души.

5. Сократ вообще в вопросах веры держался середины.\*\* Он не был ни атеистом, ни верующим на старый образец. Это,

---

\* Деметрий Фалерский (350—283 гг. до н. э.) — афинский перипатетик и выдающийся политический деятель, во время правления которого (317—307 гг. до н. э.) школа аристотеликов переживала наивысший расцвет. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

по крайней мере, можно установить в точности, хотя в отдельных вопросах многое остается неопределенным. Судебный процесс и смерть Сократа вызывают в нас глубокое религиозное чувство. Он считал, что служит божеству и находится под его защитой. Это, однако, еще не решает вопроса о природе его теологической веры. Маловероятным кажется, чтобы мифологические боги были предметом его почитания. Если бы его точка зрения была тождественна с народным верованием, вряд ли обвинение против него последовало бы в той форме, какую оно приняло; по крайней мере, обвинителям не удалось бы перетянуть на свою сторону несколько сотен афинских присяжных. В других подобных процессах Диагора,\* Анаксагора, Протагора обвинительный материал был налицо в виде сочинений этих писателей. Нам кажется маловероятным, чтобы в данном случае совершенно не было никаких фактических свидетельств, а лишь одни неопределенные слухи. Мы можем заметить также, что ответ на эти обвинения в платоновской «Апологии» крайне слаб, что различными адвокатскими приемами он пытается затушевать свою неспособность ослабить самое ядро обвинения. Частью обвинителя забрасывают перекрестными вопросами и заставляют дать гораздо более широкую и потому более шаткую формулировку обвинениям, частью ответ составляется из бездоказательных словесных и логических фокусов. К этому присоединяется еще то соображение, что точка зрения мифической народной религии в кругу философов была давно уже превзойденной точкой зрения,<sup>13</sup> и, что еще важнее, что это отчуждение обнаружилось позднее во всех разветвлениях сократовской школы, хотя и в различных формах. Мы особенно должны заметить то обстоятельство, что отдельные боги, к которым Сократ обращается, согласно Платону, суть, с одной стороны, Аполлон, владыка Дельфийского святилища, где живет высшая мудрость и растится высшая нравственная культура, с другой стороны, Солнце и Луна как факторы природы, которые и для Платона и Аристотеля всегда оставались несомненными божественными сущностями.

Сократ молит богов о «добре» вообще.\*\* «В чем оно заключается — об этом боги знают лучше, — думал он, — чем люди».

\* Диагор (V в. до н. э.) — лирический поэт, известный отрицанием богов. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Просить у них определенных благ или помощи в тех или других делах казалось ему недостойным, как это и можно было ждать от моралиста, который хотел, чтобы человек опирался на самого себя, на свою мощь, обусловленную знанием, и независимого, насколько возможно, от всего внешнего. Таким образом, он мало придавал значения подробностям культа и советовал почитать божество, не мудрствуя лукаво «по закону государства» (как гласило одно дельфийское изречение).<sup>\*</sup> В изображении Платона в «Евтифроне» Сократ выливает полную чашу насмешки на ханжество и на крайний зелотизм<sup>\*\*</sup> и приходит к выводу, что благочестие должно являться скорее придатком праведного поведения, с которым в другом месте оно у него всецело сливается, а не составлять самостоятельной добродетели с особым кругом обязанностей. Просветленное настроение приятнее божеству, чем множество жертвоприношений. И Ксенофонт, который лично далек от такого взгляда, влагает в уста Сократа подобные же заявления.

Приблизительно таково же отношение Сократа к мантике — искусству предсказания. Ксенофонт, в высшей степени преданный мантике, рисует нам Сократа, порицающего обращение за советом к богам и толкователям знамений, когда вопрос может быть решен на основании познания.

Исключением из этого является Дельфийский оракул, то святилище, которое пользуется симпатией Сократа уже благодаря изречению, написанному на стене храма: «Познай самого себя». Оно стало любимым изречением Сократа. Вместе с большинством своих современников он видел в сновидениях<sup>\*\*\*</sup> выражение божественной воли. Но что сказать о прославленном его «демоне», т. е. о том божественном голосе, который сыграл немаловажную роль в его жизни? Если верить Ксенофону, то Сократ признавал за собою совершенно особый дар пророчества. Он предвидел будущее и на основании этого предвидения советовал друзьям делать или не делать то или другое, и те, которые следовали его советам, имели удачу, а тем, которые не следовали, было плохо. Свидетельство Платона гласит со-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* От ὁ ζηλωτής — «ревнитель». (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Этому противоречит эпизод, рассказанный в диалоге «Феаг» (128d—129d). (Прим. ред.)

вершено иначе. Он ничего не сообщает о предсказаниях, ни о положительных велениях, обращенных к Сократу, ни о каких бы то ни было советах, даваемых им друзьям. Для него явление это гораздо более странное и редкое. С ранней юности, часто в важных случаях жизни, а также и при незначительных поводах, какая-то внутренняя сила удерживала Сократа от замышляемых им предприятий. Иногда он называл эту силу «голосом» (иногда это казалось ему просто «привычным знаком»), а так как она была необъяснима и вместе с тем влияние ее было благотельно, то он считал все это внушением божества или демона. Различие свидетельств Платона и Ксенофонта очень поучительно; к сообщениям последнего мы должны относиться с большим недоверием. Ксенофонту приятно было сделать Сократа чем-то вроде предсказателя или чудотворца; для этого он не просто выдумывает, но прибавлениями и убавлениями ступшевывает своеобразие явления и создает образ, который настолько соответствует действительности, что обман нелегко обнаружить. Но что сами мы думаем о демоне? Мы не можем причислить это явление к категории предчувствий и уподобить тому постоянному общению с божеством Юнга-Штиллинга, которое усиливалось при всяком осуществлении ожиданий. Но вместе с некоторыми древними мы не можем также видеть здесь только голос совести. Если демон удерживает Сократа всякий раз, как он хочет принять деятельное участие в государственных делах, то можно думать, что здесь им руководит инстинкт, темное, но правильное сознание того, что свойственно его натуре. То же самое можно сказать и о тех случаях, когда внутренний голос удерживал Сократа от возобновления интимного общения с теми учениками, которые прервали знакомство с ним и хотели его возобновить. В некоторых случаях Платон пользуется этим свойством Сократа в полусутоливом тоне для мотивирования незначительных фактов, для усиления драматизма диалога. Предстоящий разговор приобретает больше интереса, когда непосредственно перед этим Сократ собирался уйти или прервать разговор, и только демон удержал его от этого. Кажались ли Сократу божескими внушениями те из глубины бессознательного исходящие запреты, достигающие силы слуховых галлюцинаций, или даже и те чувства стесненности, которые всем нам известны? В этом случае слово «демон» было



общим выражением для психических явлений различных классов. Обо всем этом мы можем высказывать лишь предположение, да и то с очень небольшой долей вероятия.

Почти столь же беспомощны мы в отношении очень важного вопроса, решение которого предстоит нам, о свойствах высшего божества, признаваемого Сократом. Здесь нам придется сделать выбор из двух возможностей, так как древнее наивное воззрение нужно, конечно, оставить в стороне. Высшее божество Сократа могло быть похожим на божество Ксенофана; оно могло быть вселенским духом, мировой душой или мировым разумом. Или оно заключало в себе черты высшего существа, если не творца, то устроителя мирового целого. Другими словами, воззрение Сократа было или пантеистически поэтическим, или деистически телеологическим. Большинство наших читателей готовы полагать, что достаточно высказать эту альтернативу, чтобы разрешить ее. По-видимому, только второе воззрение подходит к здравому умственному складу Сократа, всегда стремящемуся к целесообразности. Это решение не лишено вероятности, однако мы не можем окончательно принять его. Следующий пример может показать сомнительность этих выводов. Если бы от сократовой веры в демона до нас дошел лишь темный слух, разве не отвергли бы мы этот факт, ссылаясь на то, что для воплощенного разума вся подобная мистика чужда. Великие люди часто соединяют в себе очень разнообразные и часто противоречивые элементы, и величие их в значительной степени основывается именно на этом соединении. Когда хотят дорисовать скрытую часть индивидуального характера исключительно на основании известной части его, то подвергаются опасности представить целый образ более однотонным и скудным, чем это есть в действительности. В пределах Сократовой школы идея бога принимала различные формы. Эвклид, основатель мегарской ветви, возвел на трон Все-Единое элеатов; Антисфен, глава киников, проповедовал личного бога.

Кто из учеников стоял ближе к учителю, вряд ли этот вопрос можно решить сколько-нибудь удовлетворительно. Аристотель молчит, Платон ничего не сообщает, он идет своим путем, руководимый учением об идеях; остается самый ненадежный свидетель, Ксенофонт. Последний в двух отделах

«Меморабилии», подвергавшихся неоднократному разбору,\* трактует теологическую тему с телеологической, почти исключительно антропоцентрической точки зрения. Если верить ему, Сократ смотрел на божественную деятельность исключительно под углом зрения человеческой пользы. Два разговора (с Аристотелем и Евтидемом) полны указаний на целесообразность строения тела животного и человека и устройства вселенной на благо человеку. Указания эти должны убедить сомневающихся и неверующих в божественном попечении. Возражения против подлинности обеих глав оказались неосновательны. Остается нерешенным вопрос, должно ли быть приписано содержание их Сократу или Ксенофону. Размышления эти нельзя назвать слишком оригинальными. Подобные мысли мы уже встречали у Геродота (см. том I), а проблема цели занимала Анаксагора и Диогена Аполлонийского, причем никогда не принимала такой узкой формулировки, чтобы подчинять человеческой цели весь животный мир. Некоторые подробности, по-видимому, скорее говорят за то, что мы здесь имеем дело с много путешествовавшим и многоопытным практиком Ксенофонтом, а не с его учителем. Последнему могла принадлежать основная мысль о целесообразном господстве божества или Все-разума, но не развитие этой идеи.

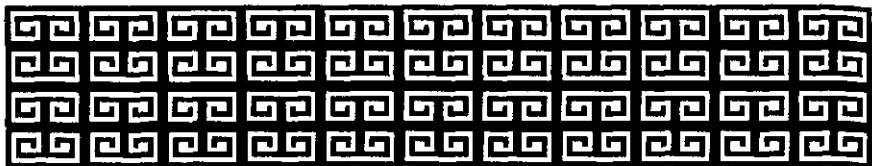
Такое же заключение мы должны сделать о части тех аргументов, которыми Ксенофонт пытается объяснить отклонения Сократа от натурфилософских исследований его предшественников.\*\* Мы охотно верим, что противоречие древних систем служило доказательством неразрешимости проблем, которыми они занимались (с. I 414). Тут отрицание всякого покоя, там отрицание всякого движения; здесь признание мировой субстанции, там предположение бесконечного числа таких субстанций. Вполне возможно, что противоречивость теорий как бы доказывала Сократу их безнадежность, что их противоположные утверждения, отстаиваемые с одинаковой уверенностью, казались рассуждениями сумасшедших. Менее вероятным представляется нам, чтобы оригинальный мыслитель при обсуждении натурфилософских гипотез стоял на точке зрения афинского филистера,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

который видел в этих смелых начинаниях только чрезмерную гордость и непристойное вторжение в область, принадлежащую богам. Если бы Сократ думал так, то вряд ли всеобщее мнение объединило его с другими представителями просвещения и неверующими «исследователями неба», что так губительно отразилось на его судьбе.





## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Кончина Сократа

1. Сократ достиг высокого предела старости,\* когда туча, долго угрожавшая ему, разразилась над его головой. Глубокая неприязнь и злобствующее недоверие постепенно скоплялись в душах его сограждан, пока, наконец, не последовал взрыв, приведший к трагическому событию, записанному в летописях человеческой культуры. Вынести справедливый приговор об этом столкновении благородного народа с одним из благороднейших его сынов — дело щекотливое. Мы постараемся заставить говорить факты, а затем вполне беспристрастно оценим их свидетельства.

Наши читатели достаточно хорошо знают о нерасположении среднего афинянина ко всякого рода просветителям, назывались ли они «софистами» или «исследователями неба». Сократа не только не отделяли от других представителей этого класса, но он считался типичным их образцом. Об этом свидетельствуют те, кто лучше всего знали общественное мнение и наиболее на него влияли, — авторы комедий. Мы уже познакомились с некоторыми из их изречений, полных презрения и ненависти; нет надобности их перечислять. Тот самый Эвполид,\*\* который дал в «Льстецах» карикатуру так называемых софистов, не щадит и Сократа и ставит его на одну доску с Протагором. Он одинаково насмехается над обоими за то, что они размышляют над величайшими предметами и не пренебрегают самым низким для удовлетворения своих жизненных потребностей. О Протагоре он говорит, что тот исследует область небес и в

\* Семидесяти лет.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Эвполид — афинянин, автор комедий, которые ставились между 429 и 412 гг. до н. э. (Прим. ред.)

то же время достает себе пищу из отбросов, о Сократе же, что на одном пиру он украл ковш. И это были не отдельные авторы комедий. Количество и разнообразие случайно сохранившихся выражений очень велико. Рядом с Эвполидом можно назвать Телеклеида, Амипсия, Аристофана.\* Первому Сократ ненавистен как помощник Еврипида, драмы которого так часто оскорбляли народное чувство, того Еврипида, в доме которого читалась книга Протагора о богах. Для Амипсия он «лучший среди немногих, самый глупый среди многих, размышляющий обо всем, только не о том, как достать себе новый плащ». В той же комедии, названной по имени Конна, учителя музыки Сократа,\*\* хор состоял из «мыслителей», или «умствователей». Нам вспоминаются «Облака» Аристофана, этот ядовитый пасквиль (поставленный на сцену в 423 г.), героем которого является Сократ не только в образе противного неумытого бродяги и сотрудника вредного искусства Еврипида, как позднее в «Птицах» (414) и в «Лягушках» (405). Здесь «фабрика мыслителей» есть месторождение всякой праздной мысли, всякой свободомыслящей ереси, всякой нечестивой гордости юношества, всех способов надувательства и подкупа. Ввиду таких злостных нападений можно только удивляться, что Сократ мог спокойно продолжать жить и действовать еще четверть века в том городе, где свобода учения и мнения не были принципиально признаны. Мы видим, таким образом, что в укладе мысли и жизни перикловой эпохи уже образовался противовес наследственной склонности к нетерпимости и к расправе, допускаемой существующими законами. Мы должны предположить, что были особые обстоятельства, которые раздули в яркое пламя долго тлевшие искры. Эти обстоятельства найти нетрудно.

Пелопоннесская война закончилась глубоким падением Афин.\*\*\* К унижению внешним врагом присоединилось ослабление от ожесточенной гражданской войны. В последней победителем остался демос (403 г. до Р. Х.).\*\*\*\* Однако государ-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* О Конне см.: Платон. Менексен 235e; Евтидем 272c; 295d. (Прим. ред.)

\*\*\* В 404 г. до н. э. (Прим. ред.)

\*\*\*\* В этом году демократы под предводительством Фрасибула свергли олигархию, установленную спартанцами в Афинах. (Прим. ред.)

ство было сильно потрясено; сравнение настоящего с прошлым ясно представлялось каждому и наполняло все сердца горечью. Нельзя было не искать причин этой гибельной перемены и не извлечь поучения из этого наблюдения.

Нам кажется, что мы слышим мрачный голос престарелого афинянина, который обращается к приятелю-чужеземцу, неожиданно появившемуся на рынке, со следующими словами: «Ты не узнаешь Афин? Улицы и гавань пусты! Что в этом удивительного? Наши поражения, потеря флота, потеря колоний и дани сделали нас бедным народом, бедным и надеждами. Хочешь посмотреть на веселые лица, отправляйся в Спарту. Правда, наша гордая победительница полна смирения перед властителями судьбы и их священными установлениями. Зевс там не лишен своего трона; он не уступил места „королю-вихрю“, \* о котором так много говорят наши небесные умники и софисты. Если бы там появились подобные негодяи, их бы очень скоро убрали при посредстве обычного „изгнания чужеземцев“. У нас другое дело! Как заносчиво наше юношество! Где его благочестивый страх? Во всем этом виноваты новомодные учителя мудрости. Уже четверть века назад на Анаксагора пало обвинение в безбожии, и он стал изгнанником. То же самое и с Протагором. Но самый плохой еще среди нас; старый Сократ все еще носит свою шкуру, хотя честный Аристофан обнаружил его сущность уже больше двадцати лет тому назад. А как он зазнался теперь! Недавно царь Архелай пригласил его вместе с нашими лучшими поэтами к македонскому двору; \*\* его гордая скромность не позволила ему принять эту честь. Юноши-чужестранцы из Мегар, из Фив, даже из дальней Кирены пришли сюда к нам, чтобы учиться у него! У него учиться! Хотя он не хочет, чтобы его считали учителем юношества, или софистом, но это различие слишком тонко для нашего понимания. В грязном своем домишке он читает собравшимся у него ученикам пожелтевшие свитки и объясняет им по-своему поэтов и софистов. Живет он главным образом дарами своих

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Не путать с Архелаем-физиком, учеником Анаксагора и учителем Сократа, о котором см.: Диоген Лаэртский II 16—17. (Прим. ред.)

богатых „друзей“ и „товарищей“.\* Он хвалится, что не делает различия между богатыми и бедными и что готов помогать и тем и другим в равной мере; на это я ему скажу: „Тем хуже! Другие софисты раздают свои дары за высокое вознаграждение; ты же рассеиваешь их даром“. Хорошо еще, если бы он не занимался ничем другим, кроме пустых мудрствований, над которыми мы смеялись во все горло, когда смотрели на аристофановы „Облака“. Хорошо, если бы он измерял длину прыжка блохи ее длиной, когда она с густых бровей его достойного друга, „летучей мыши“ Херефонта,\*\* прыгает на его собственную лысину. Но он делал вещи похуже. Он позволял юношам бить и связывать своих „неразумных“ отцов. Он колебал веру в богов. Поговори с сыном фракиянки, незаконнорожденным Антисфеном, или с киренцем Аристиппом, и ты скоро узнаешь, что Афина, высокая покровительница нашего города, для них только имя, пустой образ. Одни из этих воспитанников мудрости не верят ни в каких богов, другие в одного-единственного среди них. Кто знает, может быть потворство такому святотатству возбудило гнев нашей властительницы и причинило наши поражения!

Ты сомневаешься, чтобы словесный герой мог быть причиной таких бедствий? Это вполне возможно. Его тонкое искусство диалектики притягивает наилучшие молодые головы, как лидийский камень\*\*\* железные опилки. Он отдаляет их от религии, делает их врагами государства. Ты думаешь, я преувеличиваю. Но слушай не меня, а посмотри на факты. В течение долгой войны нас постигло величайшее несчастье при безумной попытке завоевать Сиракузы и покорить Сицилию. А кто виноват в этой сумасбродной попытке, за которую мы заплатили потерей тысячи наших лучших граждан?\*\*\*\* Не кто другой,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Херефонт — друг и почитатель Сократа, который, по свидетельству Диогена Лаэртского, получил оракул Дельфийской пифии: «Сократ превыше всех своей мудростью» (II 37; Платон, Апология Сократа 20e—21a). (Прим. ред.)

\*\*\* Магнит.

\*\*\*\* Имеется в виду эпизод Пелопоннесской войны, неудачный морской поход афинян 415—413 гг. до н. э. против Сиракуз, выступивших на стороне Спарты, в котором афиняне потеряли 40-тысячную армию (Фукидид. История VI—VII). (Прим. ред.)

как «прекрасный сын Клиния» (как его обыкновенно называет его почитатель Сократ), который вопреки всем отговорам мудрого и благочестивого Никия соблазнил народ, тот самый любимый ученик его Алкивиад, который участвовал и в святотатственном обезображении герм,\* и в осмеянии мистерий и, в конце концов, из Спарты вел интриги против родного города. И этого еще мало. Как Алкивиад уничтожил наше государство на море, так Критий разрушил внутренний мир нашего города.\*\* Правда, он не был бездарен! Но на что же он направил свои таланты? В своей трагедии „Сизиф“, которая не могла появиться на сцене, но которая ходит по рукам в многочисленных списках, веру в богов он называл выдумкой древних мудрецов. К этому учению подходила и его жизнь. Он был худшим врагом народа. Уже будучи изгнанником, он возбудил фессалийских крестьян против их господ. А когда он снова возвратился к нам, как бесчинствовал он со своей свитой! И опять я спрошу: откуда почерпнули Критий и его присные свои принципы? Все они были „товарищами“ Сократа. Но могилы его и его племянника Хармида уже поросли травой. Бог с ними. Но не забудь его внучатого племянника, юного Платона, который тоже любимец софиста и тоже расточает речи против нашего устройства и против демоса. Еще недавно я слышал, как он возвещал удивительную вещь: не будет лучше, пока философы не станут правителями или правители не станут философами. Может быть, он тоже когда-нибудь отправится в чужие страны, как его сотоварищ, сын всадника Грила. Ты слышал, вероятно, что Ксенофонт вместо того чтобы служить родному городу, предпочел отправиться в Азию к Киру, претенденту на персидский престол, который выказал себя ревностным покровителем наших врагов, лакедемонян. А кто, думаешь ты, побудил его спросить совета у оракула в Дельфах и с позволения последнего перейти к врагам нашей страны? Не кто иной, как его интимный друг, всегда сардонически улыбающийся, все лучше знающий, седой старик с лицом силенна! \*\*\* Пора запретить ему это ремесло. Ты думаешь, что

\* Гермы — придорожные столбы с изображением Гермеса, покровителя путешественников и бродяг. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. ред. к с. 48 II тома.

\*\*\* Этот эпизод передает Диоген Лаэртский (II, 49—50). (Прим. ред.)



можно спокойно предоставить старой лучине догореть до конца, она уже не зажжет много голов. Это возможно. Но как отразится на молодежи, если она увидит, что ее глава спокойно продолжает свое дело и с честью закончит свою жизнь? Дело было бы просто, если бы ареопаг обладал своими прежними правами; он бы прямо запретил ему общаться с юношеством. Теперь же нет иного выхода, как пригласить Сократа на суд присяжных. И как раз один из наших лучших людей, Анит,\* бывший богатым хозяином мастерской, собирается подать на него жалобу. Как только это станет известным в портике царя-архонта, так старик сейчас же последует примеру Анаксагора и Протагора.\*\* Разлука с ворчливой Ксантиппой не будет для него слишком тяжелой; он удалится и окончит свои дни в Коринфе, в Фивах или в ближних Мегарах, где у него должно оказаться немало преданных друзей. Во всяком случае, он может идти куда хочет. Как Анит не успокоился в борьбе с олигархами, пока вместе с Фрасибулом не одержал победы, так не оставит он и теперь своего дела.\*\*\* Он уже заручился честными помощниками: народным оратором Ликоном и поэтом Мелетом,\*\*\*\* который при этом случае приобретет больше славы, чем недавно своей «Эдиподией». Кто посоветовал ему состязаться с несравненным Софоклом или даже с Еврипидом, на которого он похож только своими приглаженными волосами, падающими на щеки, но ничем иным? Его ястребиный нос, скудная бородка, худоба... Однако я заболтался, на ратуше уже развеивается флаг, я должен идти и занять свое место в совете, чтобы не потерять моей платы. Иначе из-за Сократа я еще, пожалуй, лишусь и своей драхмы».

Не все произошло так, как это предсказал наш честный член совета. Правда, Анит (Платон рисует его нам в «Меноне» как яркого ненавистника софистов) отчасти по собственной инициативе, отчасти поддерживаемый своими помощниками, выставил обвинение, которое гласило: «Сократ виновен, так как он не признает богов, признанных государством, и вводит другие демонические существа; он виновен также в том, что раз-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Т. е. предстанет перед судом и подвергнется изгнанию.

\*\*\* См. прим. ред. к с. 86 II тома.

\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

вращает юношество. Предлагаемое наказание — смерть\*.\* Но обвиняемый, который не был подвергнут аресту, обманул ожидания друзей и врагов, и на суд явился.

2. Было весеннее утро 399 г. до Р. Х. Капли росы ярко, как всегда, блестели в венчиках анемон, фиалки распространяли свой нежный аромат. Но в этот день солнцу не суждено было дойти до своего зенита, прежде чем не свершилось роковое событие. В этот день суд не бездействовал. Рано поднялись многочисленные, большей частью несостоятельные и престарелые афиняне. Они спешили исполнить свою обязанность присяжных заседателей, к чему их уполномочивал тридцатилетний возраст, юридическая беспорочность и принесение присяги. Не зная, какие им предстоят дела, они, взяв свои судейские дощечки, отправились в здание, находящееся на рынке, где происходил выбор по жребию. Там они распределялись по различным судебным отделам и спешили еще в сумерках к своим местам; у каждого в руке была палка, цвет которой соответствовал цвету притолоки тех ворот, куда он должен был войти. Палки обменивались на марки, а впоследствии по этим маркам выдавалась дневная плата в три обола (полфранка).\*\*

На долю пятисот одного из этих присяжных выпал знаменательный жребий! Когда решетчатая дверь за ними закрылась, они узнали, что им предстоит разрешить дело Мелета (официального обвинителя) против Сократа. Так как Сократ обвинялся в безбожии (asebie), то сам архонт-царь, избравшийся на год по жребию, руководил предварительным следствием и теперь председательствовал. Присяжные распределились по рядам скамей, покрытых циновками, напротив них на двух соседних эстрадах поместились обвинители и обвиняемый. За решеткой стояли многочисленные слушатели. Здесь можно было заметить массивную голову двадцативосьмилетнего Платона рядом с его братом Адимантом, и тощего Критобула со своим отцом Критоном, и мрачного Аполлодора в сопровождении своего брата Эантодора. Где-нибудь виднелась, вероятно, красивая фигура Аристиппа, были, верно, и беотийцы, Симмий, Кебет и Федонд,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

и юношески прекрасный Федон, и, наконец, Антисфент с его взъерошенными волосами.\*

Для начала возожгли курительную жертву и герольд произнес молитву. Писец прочел обвинение и ответ на него. Тогда председательствующий предложил взойти на трибуну представителям обвинения. Первым говорил Мелет. Он указывал на свою патриотическую цель. Речь его не была лишена некоторого ораторского искусства, но успеха он не имел. Более действительны были речи Анита и Ликона. Первый отрицал всякое чувство ненависти по отношению к обвиняемому; он заявил, что был бы доволен, если бы обвиняемый не явился на суд и удалился из страны; но если он здесь, то не нужно его оправдывать, потому что это побудило бы учеников следовать его примеру. Об этих «учениках» и о том, что им ставилось в вину, было неоднократно упомянуто. Факты, на которых базировалось обвинение, нам неизвестны. После этого слово взял Сократ. Он говорил просто, безыскусственно и был часто прерываем Мелетом, раздраженным своим неуспехом. Речь его была импровизацией или, по крайней мере, должна была быть похожа на импровизацию. Она отличалась серьезностью, достоинством, остроумием, иронией, полнейшим хладнокровием и совершенно не взывала к снисходительности или сострадательности судей. По-видимому, она имела некоторый успех. Ибо после того как присяжные подошли к трибуне, чтобы опустить дощечки (похожие на дисковые волчки) в две приготовленные урны, то оказалось, что дисков с отверстием, оправдательных, было всего на тридцать меньше, чем обвинительных (в которых была вставлена палочка).\*\*

Затем следовало решение вопроса о мере наказания. Против предложения обвинителя, в этом, как и в других сходных случаях, обвиняемый мог выставить свое предложение. Принятие последнего предложения было тем вероятнее, чем больше смирения обнаруживал обвиненный и чем выше была предлагаемая им пеня. В обоих пунктах Сократ обманул ожидания присяжных, расположенных в его пользу. Неохотно и только сдаваясь на просьбы своих друзей, готовых стать за него по-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ручителями, он предложил уплатить скромную пеню в три тысячи драхм. Вместе с тем в сильных выражениях, к которым представители суверенного народа не привыкли, он протестовал против правильности состоявшегося приговора. Следствием этого было значительное увеличение первоначального большинства. Смертный приговор был решен не менее как триста шестьдесятю голосами.

3. Из бессмертного изображения Платона мы пытались выделить то, в фактической истинности чего не существует и тени сомнения. «Апология» не есть протокольное сообщение. Описание суда в ней я назвал бы стилизованной правдой.\* В одном случае, по крайней мере, это несомненно. По словам Платона, Сократ возвещает о предстоящем показании одного свидетеля в свою пользу. В дальнейшем, однако, ничего не говорится об осуществлении этого обещания. В сохранившихся аттических судебных речах, которые выводят также только одно говорящее лицо, свидетельское показание упоминается таким образом, что свидетеля приглашают дать показания, а затем слова «свидетельское показание» означают, что оно дается так же, как в других случаях чтение параграфа закона обозначается словом «закон». Платон поступает иначе. Здесь, как и в других случаях, он не хочет следовать шаблону; может быть, он хочет показать, что он не дает совершенно полного и точного изображения процесса. Но это одно обнаруженное противоречие между возвещением и осуществлением позволяет нам предполагать другие вольности и в других случаях. Таким образом, нам кажется очень маловероятным, что этот свидетель защиты, брат Херефонта, был единственным во всем процессе. И в самом деле, в первой речи Сократа есть место, подкрепляющее это предположение. В том месте, где Сократ предлагает Мелету призвать присутствующих в зале суда отцов и братьев его учеников в качестве свидетелей обвинения, что он забыл сделать раньше, он прибавляет, что уверен, что их свидетельства будут прямо противоположны ожиданиям обвинителя; они, наверное, все заступятся за него, будто бы развращавшего их родных. И на это заступничество он так определенно указывает, что невольно является предположение, что дело идет о реаль-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ном событии. Одним словом, мы предполагаем, что Платон воспользовался этим приемом вместо цитирования действительно имевших место показаний свидетелей защиты (по соображениям художественным или личным). Нам нужно, однако, ближе разобрать действительное содержание речей Сократа.

У нас нет ни малейшего основания считать недостоверным тон этих речей. То же самое можем мы сказать о духе, в котором ведется защита. С этой стороны отклонения от исторической истины нельзя считать художественно допустимыми, их нужно было бы признать неудачным и неуважительным приемом. И действительно, дух и задача защиты вполне согласуются со всем, что мы знаем об историческом Сократе. Разве можно было предполагать, что Сократ захочет во что бы то ни стало спасти свою жизнь? Но нам кажется столь же произвольным и утверждение, что он во чтобы то ни стало хотел умереть, из боязни ли старческой немощи или чтобы завершить мученической смертью свое земное поприще. Вероятнее, что для него жизнь имела ценность лишь при условии беспрепятственного продолжения своего своеобразного призвания.\* В этом случае, как сообщает «Апология», он был готов даже заплатить пению. Но от этого условия он не отступает ни на йоту; вне этого он не признает никакого компромисса, никакого молчаливого согласия. Конечно, при этом условии шансы на успех были невелики. Но незначительное большинство, которым был решен вопрос о виновности, указывает, что они не были равны нулю. Против такого понимания можно указать на одно обстоятельство, которое, по-видимому, не лишено основательности. Это вызывающий тон второй речи. «Я не признаю за собой никакой вины; я не только не заслужил наказания, но считаю себя достойным высшего отличия, которым располагает государство, — обедов в Пританее».\*\* Осужденный, говорящий таким языком, скорее хочет угрожающей ему казни,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Пританей — общинный дом, в котором пребывали и сообща обедали пританы — 50 членов совета, избираемые на один месяц для исполнения текущих обязанностей, но правом обедать в Пританее пользовались и наиболее почетные граждане Афин. (Прим. ред.)

нежели стремиться ее избежать. Но надо обратить внимание на контекст, в котором сказана эта фраза. Она непосредственно предшествует его предложению меры наказания. Для того чтобы это предложение не наносило ущерба самосознанию Сократа, чтобы оно не умаляло его достоинства и не давало повода думать, что он предлагает молчаливый договор: отказ от смертной казни со стороны судей — отказ от своего призвания с его стороны — для этого его согласию на уплату пени нужно было противопоставить нечто такое, что настолько бы возвышалось над общим тоном его защиты, насколько это согласие спускалось ниже ее.

Нельзя не удивляться изумительному искусству его защитительных речей, несмотря на кажущееся отсутствие строгого плана. На самую суть обвинения, упрек в религиозной гетеродоксии он, очевидно, не дал удовлетворительного ответа. Но так как многое из того, в чем его обвиняли авторы комедий, в особенности Аристофан, Сократ мог с полным правом отрицать, указав на ошибочность этого, то оно и выдвигается на первый план, необоснованные обвинения остроумно объединяются в формулу, которая послужила основанием для действительного судебного обвинения. Но и формулу последнего обвинения можно было немного изменить. Сравнение с точным аутентическим текстом обвинения и прибавление слов «как бы» обнаруживают, что оно передается не с безусловной точностью. Это отсутствие точности позволяет выдвинуть вперед легче опровергаемую часть обвинения — разращение юношества. Отклонение обвинения в безбожии ведется согласно совету Гомера применять на войне мелкие отряды войск. Само обвинение помещается им в середине и окружается более действительными элементами защиты. Наиболее сильный аргумент защиты, находящийся в распоряжении обвиняемого, — ссылка на хорошее отношение к нему ближайших родственников якобы разращенных учеников — сберегается на самый конец. Также и теоретическое опровержение этого обвинения обнаруживает очень искусного адвоката. Мы говорим не о том ложном заключении (ложность которого ясна для нас, но не была ясна для Платона и Сократа), что никто не может желать намеренно сделать худшим того, с кем общается, ибо от этого он и сам пострадает. Если бы это было так, то не было бы школ воров,

не было бы отцов, обучающих своих сыновей нечестным работкам, не было бы матерей, приводящих дочерей к бесчестию. И в действительности польза, которую совратитель извлекает или надеется извлечь из своей развращающей деятельности, может превысить предполагаемый вред или оказать более сильное влияние на волю, да кроме того развращение может быть лишь частичным и не касаться отношения обеих сторон. Для Сократа и его последователей такое утверждение было в действительности постулатом более широкого положения, что никто намеренно не поступает несправедливо, и другого положения — о единстве всех добродетелей. Не это место, следовательно, обнаруживает нам его адвокатское искусство. Мы говорим о том месте, где Мелет, пользовавшийся расположением массы вообще и в зале суда в особенности, был постепенно приведен к нелепому признанию, что все афиняне, за исключением Сократа, знакомы с воспитанием детей и способны нравственно влиять на юношество.

Если и теперь мы удивляемся техническому искусству автора защиты, будь то Сократ или Платон, — то наше удивление возрастает, если мы, вместо того чтобы рассматривать отдельные места, охватываем взором целое. Было ли рассчитано действие этой речи на присяжных или на читателей — в обоих случаях целью было раскрыть значение Сократа тому кругу людей, который был совершенно не способен оценить его деятельность непосредственно. Нас крайне удивляет, что о Сократовых исследованиях понятий, которые по несомненному свидетельству Аристотеля составляли самое зерно всей его деятельности, совершенно ничего не говорится. Диалектика Сократа представляла две стороны, которые, употребляя терминологию Грота, можно назвать позитивной и негативной сторонами его философии. Для большой публики последняя была гораздо более знакома, чем первая. Ворчливым мистификатором и насмешником, сбивающим с толку собеседника, искусником речи, мастером в критике и в полемике — в таком малосимпатичном свете он является всему свету и в качестве такого приобрел себе бесчисленных врагов. Вот этот непопулярный образ спорщика «Апология» покрывала блеском религиозной миссии. Страстно преданный ему Херефонт (это сообщит с трибуны брат покойного) принес из Дельф изречение: «нет никого

мудрее Сократа». Это мнение бога, в резком противоречии с его сознанием собственного неведения, привело его в полное недоумение. Ведь Аполлон не может лгать; нужно, следовательно, доискаться до скрытного смысла его приговора. Он не мог отказаться от этой задачи и предпринял «роковой» для себя путь — испытание мудростью всех тех людей, которые славились ею — политиков, поэтов, ремесленников. Это предприятие вызвало ненависть к Сократу: настоящее обвинение есть его следствие. Сам он вывел из этого то поучение, что все, подобно ему, лишены истинной мудрости, но полны чуждого ему самомнения. Таким образом, ему открылся смысл дельфийского изречения. «Мудрость человеческая довольно жалка, — хотела сказать Пифия, — мудрее всего те, кто, подобно Сократу, сознают в себе этот недостаток мудрости». Разберемся в фактических основаниях этого рассказа. Здесь нужно строго различить две вещи: само дельфийское изречение и его значение в жизни Сократа. По нашему мнению, в исторической истинности его нет ни малейшего сомнения. Разве можно допустить, чтобы Платон выдумал такое свидетельское показание в близком по времени процессе для того, чтоб заставить поверить своих современников и потомков такому значительному факту? Но как ни несомненен этот факт сам по себе, его крайне трудно удовлетворительно объяснить. Как могли в Дельфах так ясно прозреть благотворное влияние речей Сократа и так высоко оценить их, чтобы желать оказать ему поддержку этим изречением? Может быть, он приобрел симпатии аристократически настроенных дельфийских жрецов своими насмешками над беспомощностью народных собраний, над несведущим демократическим управлением? Или такое отношение явилось благодарностью за глубокое почитание Аполлона и его святылища со стороны Сократа \* в эпоху религиозного скептицизма? Этого мы никогда не узнаем. Одно мы знаем на верное, что применение этого изречения в «Апологии» исторически неверно. Оно будто бы было исходным пунктом всей общественной

---

\* В качестве покровителя философии Аполлон выступает уже в изречениях Семи мудрецов. Как мыслитель, развивающий философский тезис «Познай себя», высказанный впервые мудрецами, Сократ оказывается прямым преемником и наследником начатков античного рационализма. (Прим. ред.)



деятельности Сократа. Но разве в Дельфах знали что-нибудь о нем, прежде чем он начал свою деятельность? Только этой деятельности он и обязан своей известностью; и очень трудно допустить, чтобы оракул решился высказать свое мнение о человеке, совершенно не известном в широких кругах. В то же время немыслимо, чтобы эта весть явилась побудительным мотивом его деятельности, так же как фактически неверно, чтобы его диалектика была исключительно направлена на указанную выше цель. Правда, этим не решается еще вопрос о том, кто с нами говорит здесь — Платон или Сократ. Перспектива может измениться и у того, кто смотрит на свое прошлое. Он может приписать значение и влияние такому событию, которых оно в действительности не имело. Но вероятнее предположить здесь определенное намерение Платона. Действие такого рассказа могло быть очень значительным. «Так вот чем объяснялись допросы Сократа! — мог воскликнуть простодушный читатель. — Там, где мы видели шутку и насмешку, оскорбительное самомнение, кичливое умничание, то было в действительности проявлением величайшей скромности, протестом против чрезмерной похвалы, а главное, благочестивым желанием понять и оправдать изречение божества!»

Еще решительнее будет наше суждение об изложении позитивной стороны Сократовой философии. Здесь в действительности происходит нечто странное. «Апология» попадает в противоречие сама с собой и с общим современным представлением о личности Сократа и, что самое важное, с ядром его учения, заверенным неоспоримым свидетельством. В то время как одна часть «Апологии» не только выдвигает на первый план испытание людей, вызванное дельфийским изречением, но прямо заполняет им всю жизнь Сократа, другая ее часть дает совершенно иную картину. Здесь Сократ выступает как увещатель и проповедник добродетели, который обращается ко всем, к чужеземцам и к соотечественникам, убеждая их подумать об их истинном спасении, не о почести и богатстве, но о добродетели и благополучии души. Все то, что мы знаем о его позитивном этическом учении, стоит в противоречии с этим образом. Учение о «знании добродетели» несовместимо с ним. Кто знает добро, тот и делает его. Для этого не надо увещания, одобрения, нужно лишь поучение и прояснение понятий. Таким образом, на ука-

занное изображение нельзя смотреть как на исторически верное. Правда, это не есть также произвольная выдумка. Недавно было замечено, что Платон на место «воспитательного» действия поставил «воспитательное» намерение.\* Или, выражаясь проще, то, чего Платон заставляет Сократа достигать непосредственно и намеренно, то достигалось Сократом часто посредственно, намеренно и ненамеренно. Ибо обаяние его речей завлекало и противящихся, приковывало их интерес, уводило от внешних сторон жизни и приводило к занятиям высочайшими и глубочайшими вопросами. В действительности это происходило путем исследования понятий. Кто в приобретенном таким образом прояснении понятия и в сопровождающем его углублении видел важный агент морального прогресса и вместе с этим желал это свое убеждение передать людям, не способным понять его, тот посредством внезапной метаморфозы мог превратить аналитика морали в ее проповедника. В этом случае Платон истину фактов приносит в жертву истинности впечатления. Он преподносит как бы замутненную истину, чтобы незамутненная истина в силу искажающего влияния ограниченного понимания не превратилась в грубую неправду. Прием его подобен приему оптика, который при устройстве подзорной трубы к одной чечевице присоединяет другую, действующую в ином направлении, чтобы уравновесить отклонение луча, вызываемое первой. И если здесь, как и там, действие перехватывает через край, то в этом виновато несовершенство всего человеческого.

4. Предыдущие соображения мешают нам признать, что «Апология» вполне верно передает речи, действительно произнесенные на суде. Наши средства недостаточны для полного отделения истины от поэзии. Но мы не должны забывать двух вещей. Ни один древний писатель не боялся изменять речи своих героев, приукрашивать их, приближать к тому, что ему казалось совершенством. Было бы чудом, если бы Платон, в государственной теории которого такую важную роль играет употребляемая в качестве лекарства «спасительная неправда»,\*\* не применял ее в своей литературной деятельности и сдерживал поток своего красноречия. С другой стороны, для

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

него, как и для других учеников Сократа, его товарищей, наверное, могло бы показаться непочтительностью, если бы он совершенно отбросил действительно произнесенные Сократом речи и заменил их произведениями своего собственного творчества. Поэтому мы имеем основание говорить об истине и вымысле, и должны отказаться от возможности отделить одно от другого. Но с некоторой вероятностью мы можем предположить, что художественное строение в целом есть творение Платона; а вместе с тем можно думать, что самая краткая и наиболее тесно связанная с процессом вторая речь содержит всего больше подлинно сократовского.

Вся «Апология» в известном смысле действительно подлинно сократовская! Ибо те интеллектуальные и художественные стороны, которые мы только что разбирали, имеют сравнительно меньше значения, чем основной тон этого удивительного сочинения. Оно более сократовское, нежели платоновское. Соединение или внутреннее взаимное проникновение трезвости и энтузиазма, пренебрежение ко всему внешнему, вера в победоносную мощь разумного мышления, уверенность, что «хороший человек» защищен от всякого удара судьбы, просветленное доверие, с которым такой человек, не сбиваемый с пути ни страхом, ни надеждой, идет своей дорогой и выполняет свою задачу, — все это сделало «Апологию» светским молитвенником сильных и свободных умов, и теперь, как за двадцать три столетия раньше, она захватывает души и воспламеняет сердца. Она одна из самых мужественных книг мировой литературы и более чем какая-либо другая способна вселить в сердца добродетель мужественного самообладания. Трудно установить ее отношение к божественным вещам. Много в ней говорится о богах; но рабской покорности велениям божества, страха перед богами или *дейсидемонии* \* какого бы то ни было рода она по существу так же чужда, как философская поэма Лукреция.\*\* Божественные голоса, звучащие здесь, образуют хор,

\* ἡ δεισιδαιμονία — богобоязненность, суеверный страх. (Прим. ред.)

\*\* Лукреций Кар (ок. 46—55 гг. до н. э.) — римский последователь Эпикура, в своей философской поэме «О природе вещей» развивал идеи основателя школы о смертности души и невмешательстве богов в жизнь природы и человека. (Прим. ред.)

который не заглушает руководящего голоса сократовской личности и сократовской совести, а вторит ему. Своеобразие творения особенно ярко обнаруживается в заключительной речи, с которой Сократ обращается к присяжным после произнесения приговора. В ней заранее можно было бы ждать влияние пера Платона: но Платон влил в нее истинно сократовский дух. Тут ставится вопрос о бессмертии, но совершенно не решается. Продолжается ли жизнь после смерти, или смерть подобна глубокому сну без сновидений, обе возможности упоминаются, но выбора между ними не делается. Но будет ли истина там или здесь, в обоих случаях смерть нельзя назвать злом. И этого еще мало. В том случае, когда предполагается, что жизнь души продлится после смерти, образ потустороннего мира рисуется лишенным всех ужасов и всех земных восторгов. Нет ни небесных наслаждений, ни адских мучений, так часто изображаемых Платоном. Ненарушимое спокойствие духа, сопровождавшее Сократа при жизни, осталось при нем и при его переходе в Аид. Он общается с полубожественными героями далекого прошлого как с равными себе. Он подвергает их обычному своему допросу и с юмором наслаждается поучительным разговором, а также радуется тому, что пользование свободой мысли не наказывается в Аиде смертной казнью. Весело идти к смерти — этому «Апология» учит и тех, кто не надеется вкушать радостей рая.

Пример Сократа подействовал, может быть, сильнее, чем его учение. Известно, что исполнение приговора было отложено до прибытия праздничного делосского корабля \* и что осужденный употребил это время на обычные разговоры со своими учениками, а также занимался переложением на стихи эзоповых басен.\*\* Ему казалось, что этим он следовал божественному велению, которое теперь, как и много раз раньше, он слышал в сновидениях. Оно требовало, чтобы он занимался музыкой (т. е. искусством). Может быть, и в этом мы должны видеть голос из глубины бессознательного, призывавший его стремиться к совершенству, дополняя недостатки своей природы (с. 80).

\* Объяснение этого обычая см. у Платона в «Федоне» (58а—в). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Наконец, когда приблизился последний час, он отослал своих плачущих родных, утешал учеников, обратился с кроткими и ласковыми словами к тюремщику и спокойно осушил чашу с ядом. Едва ли нужно освежать в памяти эти картины, изображенные в платоновском «Федоне» неблекнущими красками.

5. Пока люди живут на земле, этот день суда останется незабвенным.\* Никогда не замолкнет жалоба о первом мученике свободного исследования. Не о жертве ли также фанатической нетерпимости? В этом вопросе голоса разделяются. Одни клеймят этот приговор как самую отвратительную казнь невинного, как несмываемое пятно на афинянах. Другие, число которых меньше, берут сторону «законников» против «революционера» и ревниво подбирают все, что способно ослабить величие Сократа. По нашему убеждению, роковое событие отчасти объяснялось предрассудками и непониманием, но в значительно большей степени было следствием вполне обоснованного конфликта. Гегель, как нам кажется, дал правильное объяснение.\*\* В этот день сразились два мирозерцания, можно почти сказать, две фазы человечества. Движение, начатое Сократом, было неизмеримым благом для будущего человечества; но ценность его для афинской современности была очень сомнительна. Праву общества самоутверждаться и противодействовать разрушительным тенденциям противостояло другое право — право сильной личности открывать новые пути и смело идти вперед вопреки обычаю и против государственной власти. В этом праве индивидуума сомневаются далеко не многие из тех, к кому обращены эти строки, большая же часть сомневается в праве государства. «Разве достойно нравственного и высокообразованного народа, — может возмущенно воскликнуть иной читатель, — нарушать свободу слова в такой грубой форме?» — «Свобода слова, — ответим мы, — принадлежит в силу своего благотельного влияния к числу драгоценнейших благ человечества, однако она никогда и нигде не была безграничной». В прошлом столетии она имела одного из самых горячих и просвещенных защитников в лице Д. С. Милля.\*\*\* И, однако, и этот пламен-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ный адвокат ее не мог не признать необходимости известной границы. «Никто не требует, — говорит он в одном месте своей прекрасной книги „О свободе“, — чтобы поступкам была предоставлена такая же свобода, как и мнениям. Наоборот. И выражение мнения теряет свою привилегию, лишь только... оно побуждает к злодейству. Например, мнение, что торговцы хлебом суть кровопийцы бедных или что собственность есть кража, не должно влечь за собой наказания, пока оно обсуждается прессой; но оно вполне может стать наказуемым, когда проповедуется устно разгоряченной толпе перед домом хлеботорговца или распространяется в этой толпе в виде прокламации». А как же быть, спросим мы, если содержание этой прокламации обнародовано в газете днем раньше? Как быть в том случае, если толпа еще не собралась, но сбор ее ожидается ежечасно? Всякому ясно, что эта граница меняется в зависимости от величины и близости угрожающей опасности, от силы и надежности средств защиты! В действительности ни одно общество не предоставит полной свободы, если его жизненные интересы поставлены на карту, будь оно даже вполне убеждено в важном значении свободного теоретического исследования. Нужно подумать о слабых сторонах древнего государства. Эти городские республики были очень малы и потому слабы, а кроме того, находились в постоянной опасности нападения соседей. И то, что само по себе было элементом силы — однородность населения, — могло стать при известных условиях элементом слабости. В наших больших и средних государствах революционные учения могут распространяться, не переходя в практику.\* Значительная часть населения может быть захвачена этими доктринами, в то время как другая будет противостоять им и тем поддерживать равновесие. Укажем на противоречия между крестьянами и буржуа, между буржуа и пролетариями. Подобные противоречия в древних Афинах под влиянием великих государственных людей с течением времени потеряли свою остроту. Сельское население подчинилось городскому влиянию. Только в редких случаях пересмотра законов дэмы принимали до некоторой степени самостоятельное участие. Судьба Афин ежедневно решалась на Пниксе.

---

\* Эта часть «Grichische Denker» была написана до начала социальных потрясений первых десятилетий XX в. (Прим. ред.)

Общеизвестная истина, что состояние государства и его учреждений в последнем счете зависит от отношения граждан к закону. В древности значение этой истины было еще буквальнее, если можно так выразиться. Всякое сотрясение устоев государства тотчас давало себя чувствовать. Всякий толчок из глубины беспрепятственно доходил до вершины общественного здания. Интересы государства не были защищены ни наследственной верховной властью, ни организованной военной силой или штатом должностных лиц. В Афинах не было ни княжеского рода, ни постоянной армии, ни бюрократии. Тем больше государство должно было основываться на верности своих граждан. Они делились, как всегда и повсюду, на огромное большинство ведомых и незначительное количество ведущих. К последним прежде всего относились те, которые умели ловко пользоваться словом. Это приобреталось или развивалось при посредстве диалектического и риторического упражнения. Таким образом, легко понять, что тот мастер диалектики, который в течение нескольких десятилетий оказывал сильное влияние на самых талантливых и честолюбивых юношей и который кроме того был одним из самых оригинальных мыслителей своего времени в области этики и политики, мог сделаться большой силой в государстве и стать источником его процветания или гибели.

Широкие круги общества считали влияние Сократа губительным, и многое содействовало укреплению этого мнения. Правда, можно видеть несчастную случайность в том, что Критий и Алкивиад, эти губители государства, став учениками Сократа, бросили тень и на личность своего учителя.\* Ибо Ксенофонт был, по-видимому, прав, что целью общения Крития с Сократом было приобретение ловкости в политике и что в образовании характеров их обоих влияние на них Сократа было очень незначительно. Но вместе с тем вполне понятно, что в числе учеников Сократа было много таких, чья дальнейшая деятельность принесла значительный вред государству. Могло также показаться несчастной случайностью, что среди много поработавших на благо общества оказалось мало учеников Сократа. На это была более глубокая причина двойного свойства. Как

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

нашим читателям известно, Сократ не был сторонником существующего тогда демократического строя,\* который не соответствовал его учению о верховной роли интеллекта. Среди обвинений, выставленных против Сократа (вероятно, Анитом, упоминаемым и в брошюре Поликрата, выпущенной через несколько лет после процесса), было и следующее: «Сократ внушал своим ученикам презрение к существующим законам».\*\* На это обвинение Ксенофонт ничего по существу не возражает, он даже невольно подтверждает его, говоря, что Сократ не побуждал своих учеников к «насильственной» перемене конституции. Но еще важнее другое. Друзья Сократа не только не любили политического строя своего отечества, они были чужды и самой своей родине. В этом отношении Ксенофонт своей жизнью дал больше материала против своего учителя, чем привел доводов в его защиту в своем сочинении. И как Ксенофонт в Персии и Спарте, так Платон в Сиракузах чувствовал себя больше дома, чем в своем родном городе. Антистен и Аристипп намеренно избегали общественной жизни, и в школе первого провозглашался и стал главным принципом «космополитизм». Никто не сомневается в том, что и здесь ученики шли по стопам учителя.

Уклонение от служения обществу высокоодаренного человека вызывало общее удивление. Платон в «Апологии» влагает в уста Сократу в свое оправдание следующие странные слова: «Кто хочет действительно бороться с несправедливостью, место того в частной жизни, а не в общественной». Этот взгляд обосновывается указанием на якобы бесполезность всех таких попыток, на непоправимость государственного строя, на неискоренимость толпы. Ибо таков смысл его слов, когда Сократ утверждает, что он не мог бы долго прожить, если бы деятельно участвовал в общественных делах, так как постоянно должен был бы рисковать своей жизнью в борьбе с народом, не принося ему, однако, никакой пользы. И это говорится о том народе, который выставлялся Периклом в его надгробной речи за об-

\* Это утверждение нам кажется проблематичным, поскольку самоотстранение Сократа от политической жизни еще не означает неприятия им, как законного, государственного строя, которому он и верил свою судьбу во время суда. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



разец, о народе, который не склонялся после поражений, просветлялся от горестных переживаний и не мог, казалось бы, считаться негодным материалом в руках преданных и мудрах строителей! Наиболее способный и благородный народ остается покинутым своими лучшими сынами, они холодно отходят от него и объявляют напрасными все старания, направленные к его воспитанию. Но постараемся понять, в чем тут дело. Что у Сократа и у его учеников не было настоящей глубокой любви к их родине — это неоспоримо. Но не потому, как говорила мисс Френсис Райт Бентаму (хотя и в ином смысле), что он был «ледяной сосулькой», а потому, что его сердце было полно иным, новым идеалом.\* «Разумность» не есть привилегия одних афинян, «благоразумие» — не только спартанская добродетель, «храбрость» — не исключительное свойство коринтян. Где обо всем судилось с точки зрения разума, где не принималось ничего традиционного, но все получало свою санкцию от рефлексии, там и патриотизм, ограниченный пространством нескольких квадратных миль, не мог сохранить своей прежней силы. Равнодушие к тому «уголку земли, в который судьба забросила его тело», могло возникнуть там, где занятие общечеловеческим отодвигало на второй план все остальное. Если даже приписываемое Сократу изречение, которое мы заимствуем у Эпиктета,\*\* и апокрифично, это не меняет дела. Уделом философии было то, что она с самого начала действовала разрушительно на национальное непонимание и национальный уклад. Наши читатели помнят того много странствовавшего, глубокомысленного музыканта, резкая критика которого внесла разрыв в греческую жизнь. В ту эпоху, до которой дошло наше историческое изложение, это противоречие философской критики и национальных идеалов обнаружилось ярче и глубже. Прежняя узорность, прежняя доверчивость, прежний уют и уютчивость эллинской жизни, по-видимому, исчезают под влиянием философии. Вслед за моралью рассудка наступает культ мирового гражданства. Вслед за ними возникает мировое государство, а затем и мировая религия.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. И. Бентам (1748—1832) — английский мыслитель, родоначальник утилитаризма. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Мы не хотим сказать, чтобы Анит, Ликон и Мелет смотрели так далеко в будущее весной 399 г. Но если они не поняли отношения Сократа и его учеников к отечеству и его конституции, если в исследованиях разума и понятий они увидели опасность для национальной религии и для всей национальной сущности и если поэтому в самую критическую эпоху истории им казалось нужным заставить замолчать провозвестника нового направления, то это не должно нас ни удивлять, ни служить доказательством их особой злости или ограниченности. Они хотели лишь заставить его замолчать, ни больше, ни меньше. В нашем современном обществе гораздо легче было бы достигнуть этой цели. Лишение профессуры, дисциплинарное расследование или — в менее свободомыслящих государствах — полицейский запрет, административная высылка — всякое такое средство достигло бы цели. Но иначе было в древних Афинах. Таких путей там не было; к цели вел только один путь судебного процесса. И единственная возможность, которую давал закон, было обвинение в безбожии. Консервативный дух афинской демократии сделал то, что жестокость древнего обычая, который наказывал безбожие смертью, не была принципиально устранена, но смягчалась более терпимой практикой. Мы узнаем это из уст тех, которым не было никакого интереса представлять это дело в неверном свете и которые предпочли бы возложить всю ответственность за роковой исход на обвинителей и судей; мы узнаем от Платона и Ксенофонта, что всецело во власти Сократа было избежать смертного приговора. Ему предоставлялась возможность не явиться на суд — он явился. Ему предоставлялась возможность предложить суду наказать себя изгнанием с полной вероятностью на успех. Наконец, он мог избежать смертной казни, если бы сделал то, что обыкновенно делали все осужденные, если бы смиренно обратился к милосердию судей. Наконец, даже после того как приговор был произнесен, ему было легко убежать из-под ареста. Как мы узнаем из Платонова «Критона», все приготовления были сделаны с этой целью.\* Но Сократ был особенной личностью. Он был одним из тех, которые призваны направить чувства и мышление людей на новые пути. Всякая сделка была ему

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

противна. Его решение было непоколебимо: он хотел или продолжать учить, или перестать жить.

Все, что было рассказано позже о раскаянии афинян,\* о постановке статуи Сократа и о наказании обвинителей, все это давно признано пустой басней, в особенности в силу хронологической невозможности, связанной с этим сообщением. В действительности казнь Сократа породила лишь литературную полемику. На брошюру Поликрата с изложением пунктов обвинения отвечал талантливый составитель речей Лисий. Процесс этот стал темой упражнений в риторике до позднейшей эпохи, от которой у нас и сохранился один образец (Апология Либания).\*\* Но преобладающее мнение афинского народа определенно явствует из тех слов, которые полстолетия позже сказал государственный деятель и оратор Эскин перед народным собранием в своей речи против Тимарха: «Затем, афиняне, вы ведь умертвили Сократа, софиста, потому что оказалось, что он воспитал Крития, одного из тридцати разрушителей демократии»\*\*\*

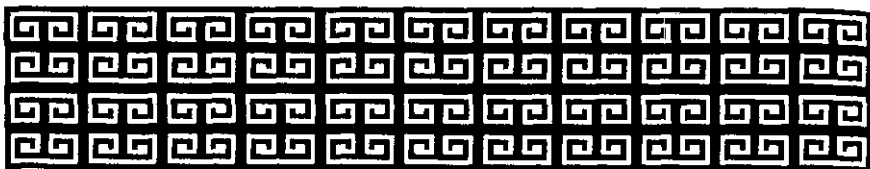
Мертвый Сократ воскрес не только в школах, но и в сочинениях своих учеников, которые заставляли выступать своего учителя и на рынке, и в школах гимнастики, приводя его в общение со старым и малым, как он это делал и при жизни. Таким образом он действительно продолжал поучать, уже перестав жить! Мы должны теперь обратить наши взоры на пеструю толпу сократиков. Мы начнем с того, кто представляет для нас интерес не как мыслитель, а главным образом как свидетель и источник наших сведений о Сократе, с Ксенофонта.



\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Аполоний Либаний (313—393 гг. н. э.) — знаменитый греческий ритор из Антиохии Сирийской. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Ксенофонт

Ксенофонт был щедро одарен красотой. Не без изъянов был этот дар. Часто с мужской красотой соединяется самодовольство и высокомерие. Этого не избежал и «прекрасный» сын Грилла.\* Недаром остался он всю жизнь дилетантом в гетевском смысле слова, т. е. человеком, занимающимся постоянно вещами, до которых он не дорос.\*\* Одну арену его многосторонней деятельности мы должны, разумеется, исключить. Ксенофонт был воистину знатоком в вопросах спорта, в качестве охотника и наездника, и три его сочинения, посвященные этим излюбленным им темам («Об охоте»,\*\*\* «О верховой езде» и трактат «О командовании конницей»), действительно относятся к лучшему, что вышло из-под его пера. Там, где он менее всего стремится к этому, он более всего философ. Его наблюдения из психологии животных и делаемые отсюда выводы несравненно более свидетельствуют об остроте его ума, чем его морально-философские или историко-политические рассуждения. Здесь в особенно выгодном свете выступает драгоценный дар, которым его наделила природа: способность тонкого наблюдения. Наконец, его живое чувство природы, его искренний наивный интерес к жизни животных делают эти сочинения таким же приятным чтением, как лучшие отделы его «Домостроя», из которого так успокоительно веет на нас привольем деревенской жизни, подобно парам, поднимающимся из-под свежевзрытой глыбы земли.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Гриллом звали и сына Ксенофонта. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. А также см. прекрасную статью С. И. Соболевского «Ксенофонт, его жизнь и сочинения». В кн.: *Ксенофонт*. Сократические сочинения. СПб., 1993, с. 7—38.

Что заставило его оставить мирную жизнь и отправиться на путь приключений? Недостаточность средств или честолюбие? Почти наверное и то и другое. Ему не было тридцати лет, когда он покинул Афины; он не возвращался туда больше (или если и был, то на короткое время) и умер в глубокой старости на чужбине. Прежде всего он отправился на восток. Там легче было добыть славу и богатство, чем в родном городе, который был покорен после долгой войны, потом раздираем внутренними междоусобицами, а партия Ксенофонта была побеждена. Именно в это время Кир, младший брат персидского царя Артаксеркса (Мнемона), отличавшийся большой щедростью, а может быть, и другими хорошими качествами, вербовал для своей армии наемников во Фракии и Греции, чтобы отнять престол у своего брата. Друг Ксенофонта рекомендовал его персидскому претенденту, и Ксенофонт был милостиво принят.

Мы не знаем, какое место он занимал при дворе и в военном лагере. Действительно ли он только развлекал любящего греков принца и был сотрапезником его и его прекрасной и остроумной морганатической супруги, фокеянки Аспазии.\* Или он только потому так определенно отрицал свое участие в военных делах персидского принца, что последний только что помогал спартамцам в их борьбе с афинянами. Во всяком случае его связь с Киrom вызывала некоторое недоумение. И тот способ, каким он заглушил свои сомнения, рисует нам не в очень выгодном свете одну сторону его характера. Сократ, с которым общался Ксенофонт и совета которого он спросил по этому поводу, колебался высказаться определенно и посоветовал спросить Дельфийский оракул. Юноша последовал этому совету, но так, что вызвал справедливое неудовольствие учителя. Вместо того чтобы спросить о самом предполагаемом решении, он поставил оракулу вопрос, к какому богу он должен обратиться молитву и принести жертву для успеха в своем предприятии.\*\* Это искусство умолчания, которым богобоязненный Ксенофонт воспользовался даже при обращении к пифийскому треножнику, он, наверное, широко применял и в отношении людей,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

а тем более читателей. От умолчания естественен переход и к обману. В этом может нас убедить беглый взгляд на самое знаменитое сочинение Ксенофонта — описание его персидской авантюры.

Как известно, поход был кратким и неудачным. В первой битве со своим братом Кир пал. Коварство сатрапа Тиссаферна лишает греческих наемников их вождей, и «десять тысяч» начинают свое знаменитое отступление, смело и удачно преодолевая бесчисленные препятствия. Ксенофонт стал историографом этого похода. Свежесть и живая изобразительность его изложения заслуживают большой похвалы. Он дает очень много ценного материала для знакомства с нравами и обычаями тех народцев, с которыми возвращающиеся греки сталкивались и сражались; рассказ его не лишен пластики и веселого юмора. К несчастью, рядом с этими положительными сторонами есть много отрицательных. Что автор мемуаров подчеркивает свои заслуги, выставляет свои успехи и склонен сглаживать свои ошибки — это можно простить человеческой слабости. Правда, кто таким образом пишет историю, тот стоит на уровне посредственных писателей, которым далеко до высоты великих и истинных историографов. В «Анабазисе» Ксенофонта эти и подобные недостатки достигают такой степени, что наносят ущерб не только историографу, но и самой личности автора. Прежде всего, он так выдвигает себя на первый план, что получается впечатление навязчивого самовозвеличения. Тотчас после того как генералы оказались плененными, и толпа наемников была в сильном смятении, Ксенофонт выступает из тени, которую он намеренно набрасывал на себя до того времени, прерывая ее лишь некоторыми мимолетными замечаниями. Он выступает подобно солнцу, которое должно рассеять ночную тьму. Во сне дается ему указание на его миссию. Рано утром собирает он сначала тесный круг офицеров, затем более обширный и предлагает быть их стратегом. Они действительно избирают его на место одного из пяти убитых генералов. Он надевает свою лучшую одежду — мы узнаем в этом человека, ценящего свою наружность и желающего использовать ее, — и держит длинную речь собравшемуся войску. За этой речью следует ряд других речей, подробно им передаваемых, так же

как за первым важным сновидением в соответствующее время следует второе.

Можно вызвать в читателе неверное впечатление, не сообщая при этом ложных фактов. Этим искусством Ксенофонт владеет мастерски. Таким образом из его рассказа создавалось распространное в старину и в позднейшее время мнение, будто он руководил отступлением десяти тысяч.\* И, однако, Ксенофонт ни одним словом не говорит об этом. По его собственным словам, организация войска была вполне демократическая; важные решения принимались голосованием, а что касается исполнительной власти, то Ксенофонт оставался всегда одним из нескольких стратегов; некоторое время исключительная власть над всем войском была предоставлена одному лицу, и это был спартаец Хейрисоф. Только в самую последнюю фазу предприятия, когда отступление из Азии уже совершилось, большая часть оставшихся в живых поступает под начальством Ксенофонта на службу к Севфу, фракийскому князю, причем Ксенофонт хотя и не является высшим военачальником, но одним из влиятельнейших стратегов. Но автор так умеет расположить материал, так искусно приписывает себе инициативу всякого важного решения, так неизменно выдвигает себя на первый план, что не слишком внимательный читатель незаметно для себя получает впечатление, противоречащее самому тексту рассказа. Для усиления этого впечатления служат некоторые мелкие подробности, которые обыкновенно рассказывают о великих людях, но которые вряд ли крупный человек будет рассказывать о себе.\*\* Обильный снег выпадает ночью в горах Армении и покрывает своим покровом людей и лошадей; первым подымается Ксенофонт и согревается рубкой дров; другие следуют его примеру, разводят огонь и спасают таким образом себя и других от замерзания. Другой раз солдат-пехотинец в полном вооружении жалуется на тяжелый подъем; Ксенофонт сходит с лошади, выталкивает солдата из рядов, берет его тяжелое вооружение, и недовольство солдат обращается с военачальников на непокорного. Другой прием, служащий той же цели, был выпуск книги под псевдонимом. В своей эллинской истории

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Ксенофонт указывает на описание того же похода Фемистогеном из Сиракуз;\* уже в древности не сомневались, что он говорил о своем собственном сочинении; имя автора было или выдуманно, или это был один из товарищей Ксенофонта, согласившийся оказать ему эту услугу. Что подобные приемы не были излишни, но не всегда достигали своей цели, мы узнаем из того, что историк Диодор, довольно подробно описывающий отступление десяти тысяч, ни разу не называет имени Ксенофонта до прибытия его к Севфу. И что придает этому молчанию особенное значение, так это то обстоятельство, что «Анабазис» ни в каком случае не был неизвестен младшему современнику Ксенофонта Эфору,\*\* которым Диодор, историк Августова времени, пользовался как источником. Умолчание их не есть результат незнания. Они знали о притязаниях Ксенофонта и отвергли их.

Пустота этих притязаний обнаруживается из дальнейшей карьеры самого Ксенофонта, вернее, из ее отсутствия. Удивительный успех горсти греков, которым удалось пройти через все персидско-мидийское государство почти от Вавилона до Черного моря, несмотря на все препятствия со стороны персидского царя, сильно взволновал современников. С одной стороны, он показал удивительную силу эллинов, с другой — впервые обнаружил внутреннюю слабость с виду непоколебимой мировой монархии. Если бы Ксенофонт действительно был вдохновителем этого предприятия, то вряд ли его талант полководца остался неиспользованным, талант, который, наверное, нашел бы себе применение в ту эпоху греческой жизни. Прослужив еще несколько лет на службе у спартанского царя Агесилая, в Малой Азии, он попадает на арену войны и, будучи присужден к изгнанию со своей родины, принимает участие с Агесилаем же в битве при Коронее,\*\*\* где против спартанцев сражались фиванцы и небольшое количество афинян. Затем он отходит в безвестность частной жизни, а впоследствии приобретает известность как разносторонний и плодовитый писатель.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Эфор (сер. IV в. до н. э.) — составил первую «Всеобщую историю Греции», сохранившуюся лишь во фрагментах. (Прим. ред.)

\*\*\* В 394 г. до н. э. (Прим. ред.)



Начинается самая счастливая пора его жизни. Покровителя, которого он искал в Кире, он нашел в Агесилае. Верная служба в качестве адъютанта была награждена поместьем в окрестностях Олимпии. Характерен для Ксенофонта акт благочестивой мудрости или мудрого благочестия, которым он расширил свои владения и удовлетворил свои вкусы. Из добычи десяти тысячного отряда десятая часть согласно обычаю была предназначена богам — Аполлону и его сестре Артемиде. Выполнение этого решения было поручено генералам. Ксенофонт принес дар в афинскую сокровищницу святилища Аполлона в Дельфах; что же касается части Артемиды, то он обратил ее на покупку земли, следуя в этом указаниям оракула, вблизи своего, вероятно, скромного имения у Скиллунта.\* Тут он воздвиг богине маленькое святилище, копию Эфесского храма,\*\* установил ежегодный народный праздник с жертвоприношением из десятой части дохода; все окрестные жители собирались на него и получали угощение от богини. Центральную часть праздника составляла охота, в которой принимали участие юноши под руководством сыновей Ксенофонта. Здесь, в тени лесов, на прохладном берегу реки Селинунта, богатой рыбой и моллюсками, стареющий солдат мог вознаградить себя за несбывшиеся мечты. Ему не удалось основать царство на берегу Черного моря, где бы он господствовал и которое надеялся передать своим детям. Но теперь он жил в поместье, без заботы, в благородной праздности, выезжая своих лошадей, предаваясь охоте, сельскому хозяйству и литературе; он вырастил своих сыновей и мог дать им воспитание согласно своему идеалу. Эти старания его были не напрасны, чему доказательством была общая печаль по преждевременной смерти его старшего сына, погибшего в битве при Мантинее.\*\*\* Геройская смерть его заставила многих литераторов взяться за перо, между прочим таких, как Исократ и Аристотель.\*\*\*\* При этом

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Знаменитый храм, в котором Артемиде почиталась в нетрадиционном для девственной богини облике шестигрудой матери. (Прим. ред.)

\*\*\* В 362 г. до н. э. здесь потерпела крушение армия антифиванской коалиции (Спарта, Афины, Мантинья). (Прим. ред.)

\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

прославляли не только Грилла,\* но выражали сочувствие и утешали также престарелого уважаемого отца. Он нуждался в этом. За счастливыми годами зрелого возраста последовала тяжелая старость. Победы фиванцев, отнявшие у него сына, унизили его вторую родину и уничтожили все панэллинские надежды.\*\* Вместе с этим они лишили его крова. Правда, Афины открыли ему двери, бывшие долго закрытыми; но не там провел он свои последние годы. Свое долгое изменчивое поприще он окончил в Коринфе (приблизительно около 350 г.).

2. Дать оценку смешанному характеру так же трудно, как разностороннему таланту. В Ксенофонте соединилось и то и другое. Поэтому неудивительно, что его образ вышел колеблющимся, что прежние столетия чтили его не в меру, а современность склонна относиться к нему с незаслуженной суровостью. В действительности его талант значительно выше посредственности, тогда как о характере его нельзя сказать того же, даже если мы будем оценивать его по требованиям той эпохи. Можно почти сказать, что его характер повредил его таланту; тщеславие помешало ему увидеть границы своего дарования и побудило разбрасываться, что понизило ценность его трудов. Если мы присмотримся внимательней, то увидим ту же неугодную суетливость и в интеллектуальном облике Ксенофонта, в чрезвычайной неустойчивости его духа и вкусов, и в отсутствии прочного ядра как в мыслящей личности, так в волящей и действующей.

Приспособляемость его такова, что он одинаково убедительно защищает противоположные тезисы в различных сочинениях: примат познания и его безусловное господство над волей и теории о всеильности привычки и упражнения, вознаграждения и наказания в воспитании. Один раз, разбирая вопрос о двух полах, он с пафосом указывает на природное различие их задатков и на вытекающее отсюда различие их деятельности; в другой раз ему кажется, что достаточно небольшого напря-

---

\* Сына Ксенофонта.

\*\* Идея единства эллинского мира, противостоящего варварскому окружению, становится популярной в Древней Греции со времен первых софистов. (Прим. ред.)

жения при обучении, чтобы поднять женщин до степени храбрости, достигнутой мужчинами.\* При этом Ксенофонт совершенно безразлично, высказывает ли он эти противоположные взгляды от себя или влагает их в уста своему учителю, Сократу. Кроме всего этого у Ксенофонта сильное желание подражать наиболее прославленным писателям в их литературных областях. Фукидид в качестве историографа превзошел всех предшественников; немедленно у Ксенофонта является желание продолжать неоконченное сочинение и заимствовать стиль и краски великого историка. Платон в своем «Пире» дал чудный образец мимической поэзии\*\* и философской глубины; Ксенофонт берет ту же рамку, чтобы вложить в нее образ Сократа и его друзей, который по собственному его признанию не может соревноваться с платоновским изображением в художественном отношении, но должен превзойти его в точности.\*\*\*

Конечно, одежда, взятая на прокат, лучше всего обнаруживает недостатки фигуры. Мантия с пышными складками будет некрасиво болтаться, если ее набросить на маленькую фигурку. Так и в данном случае контраст между копией и образцом дает нам возможность оценить сущность Ксенофонта. Нигде не выступает так ясно скудость его ума, как в его «Пире». Он то неожиданно начинает философские рассуждения, то внезапно прерывает только что развертываемую нить. Это вроде того, как если бы среди салонного разговора между фразами «Как поживаете?» и «Сегодня очень жарко» мы хотели бы приняться за обучение добродетели. Что вообще делает «Пир» интересным для чтения, так это только подробности: юмор, с которым Сократ рассказывает о своем безобразии, и та грубоватая наглядность, с которой изображается пантомимное представление и акробатские фокусы, проделываемые воспитанниками сиракузского балетмейстера.\*\*\*\* Здесь Ксенофонт в своей области. Как и в «Анабазисе», подобные описания

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Жанр народного театра, возникший в греческой Сицилии, представляющий короткие сцены на фривольные темы. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* В «Пире» Ксенофонта кроме философствующих собеседников участвуют шут Филипп, а также «один сиракузянин с хорошей флейтисткой, с танцовщицей... и мальчиком» (Ксенофонт. Пир I 1; II 1). (Прим. ред.)

являются верхом того, чего он мог достигнуть в писательском искусстве. Насколько вообще жанр подходит к его таланту особенно видно из «Эллинской истории», где попадаются подобные места;\* таково, например, описание встречи сидящего на траве посреди луга просто одетого Агесилая с сатрапом Фарнабазом,\*\* или подробнейший рассказ о сватовстве пафлагонского царя Отиса \*\*\* при посредстве Агесилая, или, наконец, рассказ о спасении от смертной казни спартанца Сфодрия, благодаря заступничеству царевича Архидама, любившего сына обвиненного. В еще более выгодном свете обнаруживается его талант в патетических местах, например, при описании убийства Александра, тирана Фер, братьями его жены, которых она побуждает к убийству в страхе ожидая исхода; затем описание битв при Флиунте с заключительной сценой, рисующей женщин, плачущих от радости и освежающих усталых воинов. Но в чем он неизмеримо ниже своих предшественников, не только Фукидида, но и Геродота, так это в области рефлексии, в которой он, считающий себя философом, должен был бы превзойти их. В этом сочинении есть прекрасные речи, удачно приноровленные к событиям, речи Ферамена и Крития, а также флиазийца Прокла.\*\*\*\* Однако обстоятельства, при которых происходила борьба этих афинских олигархов, а также известные нам тесные отношения Прокла к своему гостю и другу, царю Агесилаю, делают очень вероятным, что Ксенофонт мог черпать из богатого материала и ему не было надобности обращаться к своему собственному творчеству. С другой стороны, его собственные мысли по политическим вопросам, которые мы встречаем почти исключительно в последних книгах его сочинения, так ничтожны, что могут напомнить нам глубину идей и дальновидность Фукидида только благодаря контрасту. Изречения, высказываемые с большим самодовольством, представляют собой частью военно-технические соображения, частью банальные моральные сентенции. Где Ксенофонт пыта-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Персидский сатрап времен Пелопоннесской войны, поддерживал спартанцев. (Прим. ред.)

\*\*\* Пафлагония — прибрежная страна на южном берегу Черного моря. (Прим. ред.)

\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ется вывести исторические события из более глубоких причин, там им руководит почти исключительно его религиозность. Мы уже видели, как удачно он умел соединять свое, без сомнения, истинное благочестие с мирскими интересами. Это качество часто спасало его из затруднений и как историка. Долголетнее господство его покровителя Агесилая закончилось унижением Спарты, во главе которой стоял этот царь. Историко-теологическое мировоззрение Ксенофонта помогло ему объяснить причины этого события и ошибки Агесилая, его ускорившие. Поражение при Левктрах \* и вся цепь событий, завершившихся тяжелым ударом, — все это было карой божества за незаконное занятие фиванской крепости спартанским полководцем.

3. Впрочем, «Эллинская история» рядом со многими справедливыми упреками подвергалась и незаслуженным порицаниям. Автор ее был протеже и товарищем монарха, который как раз в личных сношениях обнаруживал прекрасные свойства (как мы это знаем из Плутарха) \*\* и щедро отплачивал за привязанность и дружбу. Что Ксенофонт написал историю своего времени (которая в значительной мере была историей Агесилая), находясь под влиянием идей и симпатий своего патрона, это и доказывает, что он не был великим человеком. И более сильный ум, вероятно, подчинился бы обстоятельствам, стеснявшим самостоятельность его суждения. Вполне понятно, что он ценил выше, чем его современники, того монарха, которого переоценили и современность и потомство. Трудно было бы ждать беспристрастной строгости судьи со стороны фаворита к своему покровителю; но у нас нет основания предполагать сознательное искажение событий. Если он обходит молчанием значительные события той эпохи, например основание Мегалополя или учреждение второго Афинского морского союза, \*\*\* то это не говорит о широте его кругозора, но мы не

---

\* В 371 г. до н. э. фиванское войско нанесло поражение Спарте. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* Мегалополь — политический центр Аргосского союза (при гегемонии Фив), основан после битвы при Левктрах; второй Афинский морской союз основан ок. 378 г. до н. э. (Прим. ред.)

видим здесь преднамеренности. В суждениях о внутренних смутах в Афинах он стоит на точке зрения умеренного аристократизма. Симпатии его на стороне человека, которого и Аристотель (как мы это узнали недавно) ставил выше всех остальных государственных деятелей того времени, на стороне Ферамена.\* Конечно, не заслуживает похвалы то, что он покинул свою родину как раз в момент самой острой борьбы партий, окончившейся поражением его фракции; но нельзя поставить ему на счет то, что было обычным во всю древнюю эпоху. Отчизна, хотя поздно, простила его, и мы поступим мудро, если не захотим быть более афинянами, чем сами афиняне.

Гораздо более распространен другой упрек, выдвинутый против Ксенофонта, что он не оценил своего великого современника фиванца.\*\* Этот упрек совершенно неоснователен, по нашему мнению. Мы склонны простить сыну Грилла некоторые грехи за то, что он ненавидел политику Фив. Фивы были болячкой, разъедавшей Элладу. Их временное преобладание было причиной позднейшего порабощения Греции. Нам нет нужды подчеркивать, что симпатии к наследственному врагу, к персам, являются политическим наследием фиванской политики и что великий Пелопид хвастался этой традицией перед великим царем. Ибо когда сравнительно маленькие государства стремятся к гегемонии над нацией, то каковы бы ни были намерения их государственных деятелей, они по естественному ходу вещей будут произвольно содействовать порабощению нации власти иноплеменников. Что Ксенофонт не питал симпатии к греческим Беустам, Дельуикам и т. п., говорит лишь о его панэллинских чувствах. И если, несмотря на это, он прославляет талант Эпаминонда как полководца, ярко обнаружившийся в битве при Мантинее, где пал его сын, то мы видим в этом одну из благороднейших черт его характера.

Но Ксенофонт не только участвовал в истории, не только писал историю, но и выдумывал истории. Он является, для нас

---

\* Ферамен — один из тридцати тиранов, захвативших власть в Афинах в 404 г. до н. э. (Прим. ред.)

\*\* Имеется в виду беотийский государственный и политический деятель Эпаминонд, который в 379 г. до н. э. вместе с Пелопидом основал демократически ориентированный Фиванский военный союз, пал в битве при Мантинее в 362 г. до н. э. (Прим. ред.)

по крайней мере, самым старым представителем того рода литературы, которую называют историческим романом. Правда, у него это только картины времени и народа. «Киропедия» напоминает нам не столько творения Вальтера Скотта и Манцони, сколько те народные романы, которые расцветивают жизнь какого-нибудь популярного властителя выдуманными рассказами. Современные подражатели Ксенофонта ограничиваются анекдотами; но он не стеснялся изменять или, как он думал, исправлять исторические факты. Нам нет нужды оправдывать этот прием. Чем большей обработке в руках Ксенофонта подвергся исторический материал, тем лучше для нас, ибо мы лучше узнаем образ мыслей автора. Известная основа морально-политических симпатий не была чужда этому неуравновешенному уму. Это было отвращение к демократическим учреждениям его родины — Афин. В этом он совпадает со своим великим современником Платоном. Но только в этом одном. В то время как Платон противопоставлял народоправству с его мнимыми и действительными недостатками в высшей степени оригинальный идеал государства и общества, Ксенофонт видел спасение в существующих формах правления, будь они греческие или персидские, монархические или аристократические, лишь бы они меньше походили на форму афинской демократии. Кир — основатель патриархального персидского царства, Ликург — учредитель Лакедемонской монархии, ограниченной аристократической конституцией, — оба его герои. Некоторые критики усмотрели две фазы в умственном развитии Ксенофонта: одну, в которой он предпочитал монархический абсолютизм, другую — когда он отдавал предпочтение аристократической форме правления. Но подобные тонкие различия здесь неуместны; это ясно из того, что автор «Киропедии» не поколебался придать своему персидскому идеалу черты спартанской действительности.\* Ксенофонт, конечно, хорошо понимал, что идеально совершенный патриархальный властитель есть единичное историческое явление. Создавать постоянное учреждение, основываясь на редком, если не совершенно исключительном случае, и предлагать его грекам, города-государства которых только в редких случаях допустили бы подобное правление, — это было далеко от его

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

намерений. Ему были противны дилетантизм, непостоянство, отсутствие дисциплины, которые казались ему и многим единомышленникам его характерными для тогдашних Афин и их управления. В противоположность этому он подчеркивает безусловную необходимость строгой дисциплины, установления строго расчлененной по образцу военной организации бюрократии, усиленной ответственности, до тонкостей идущего разделения труда. Относительно последнего требования мы не знаем, является ли оно результатом знакомства с древнейшей культурой Востока, стоящей в этом отношении выше греческой, или на него оказала влияние теория Платона, сложившаяся под влиянием египетских воззрений. Во всяком случае, Ксенофонт формулирует это требование вполне определенно и в этом отношении столь же приближается к платоновскому «Государству», насколько удаляется от обычных греческих воззрений.

В этом основная политическая идея «Киропедии». Содержание же ее составляет фантастически разукрашенная жизнь персидского завоевателя. Само собой разумеется, что последний своими личными качествами должен был осуществить выдающийся идеал властителя, но характеристика, даваемая Ксенофонтом, не из удачных. Характернее для вкуса его и, может быть, того круга знатных спартанцев, в котором он вращался, это проявления грубого солдатского юмора \* и живой, но сдержанной эротики; последняя дает некоторую пряность довольно скучной книге. Ксенофонт не был бы Ксенофонтом, если бы в книге не уделялось много места спорту и верховой езде, которую он очень расхваливает.

Для знакомства с Ксенофонтом как политиком важны еще три его сочинения: восхваление «Лакедемонской конституции», \*\* в котором говорится больше о социальных, а не специально политических сторонах Спарты, диалог «Гиерон» и сочинение «О государственных доходах Афин».\*\*\* На первый

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Или «О государственном устройстве Спарты» (См.: Диоген Лаэртский II 57, пер. М. Л. Гаспарова). (Прим. ред.)

\*\*\* По Диогену Лаэртскому (II 57), Ксенофонту принадлежат сочинения «О доходах» и «О государственном устройстве Афин», последнее из которых уже в начале нашего столетия признано сочинением неизвестного автора (см.: *Соболевский С. И.* Указ. соч. С. 19). (Прим. ред.)



взгляд странным представляется разговор, влагаемый Ксенофонтom в уста сицилийскому тирану Гиерону и мудрому поэту Симониду.\* Непонятно, чего хочет автор: хочет ли он в чисто платоновском духе доказать, что доля тирана или властителя совершенно незавидна, или ему важна вторая часть диалога, мало гармонирующая с первой. Здесь дается идеальный образ такой узурпаторской власти, или тирании; указывается, какой она должна быть, чтобы служить общественному благу и стать источником счастья для самого тирана. Точный разбор совершенно устраняет предположение о том, что центром диалога может быть эта заключительная часть. Устами Симонида Ксенофонт советует сиракузскому монарху применение политики, которую мы можем назвать цезаристской или имперской. Энергичное поддержание спокойствия и порядка внутри, содержание импонирующей военной силы, внушающей уважение в других государствах, и рядом с этим широкие меры к народному благосостоянию по инициативе монарха. Таким путем беспокойные элементы удерживаются уздой, а граждане становятся безопасными, несмотря на потерю ими самоуправления. Нам нет нужды останавливаться на родстве такого идеала государства с идеалом «Киропедии», так же, как и на их различиях. Вряд ли было ошибочно давно высказанное предположение, что диалог предназначался для того, чтобы ввести автора ко двору Дионисия.\*\*

Печать случайности носит и третье из вышеназванных сочинений. Оно относится к поре старости Ксенофонта. Отчизна снова приняла отверженного сына. Он хотел выразить благодарность — может быть, подготовить хороший прием себе и еще более своим сыновьям — и для этого занялся вопросом о реформе расстроенных финансов своей родины. Государство должно в гораздо более широком масштабе заняться эксплуатацией серебряных рудников Лавриона и при этом не только

---

\* Гиерон был правителем Сиракуз с 478 г. до н. э.; известен как покровитель искусств, при дворе которого жили поэты Симонид, Эсхил, Пиндар, Вакхилид. (Прим. ред.)

\*\* Здесь не ясно, кто автор указанного предположения, а также, какого тирана Сиракуз — Дионисия I (405—367 гг. до н. э.) или его преемника Дионисия II (367—344 гг. до н. э.) — имеет в виду Т. Гомперц. (Прим. ред.)

при помощи арендаторов, но в большей степени, по крайней мере, собственными силами. И многое другое еще должно быть национализировано. Почему бы государству не иметь торгового флота подобно тому, как оно имеет военный? Почему гостиницы сооружаются только частными лицами, а не государством? Все должно совершаться так, чтобы способствовать могучему расцвету торговой и промышленной деятельности, и каждый гражданин без исключения должен иметь свою долю дохода от этих государственных предприятий, получая от государства определенную, хотя бы и небольшую ренту. Когда же возникал вопрос о средствах, при помощи которых должны были осуществиться эти широкие планы — получался ответ, к которому нелегко было отнестись серьезно. Смелый реформатор ожидает больших пожертвований не только от афинских предпринимателей, которым обещанная определенная рента будет возвращать хотя бы минимальные проценты; он рассчитывает на большой приток денег из чужих стран и от монархов, даже от персидских сатрапов, которых можно склонить к этому делу почетными актами, мы бы сказали, пожалованием высоких орденов. Это не единственная фантастическая черта этого проекта. Не без улыбки наши политэкономы узнают из сочинения Ксенофонта, что перепроизводство золота может повести к его обесцениванию, а перепроизводство серебра — никогда! Панацею национализации выдумал не Ксенофонт. Мы уже встречали эту идею у Гипподама Милетского (см. том I). Насколько такое стремление соответствовало господствующим направлениям об этом свидетельствует пример Платона, который не отступает перед огосударствлением семейной жизни. Рядом с химерическими элементами мы находим в этом проекте много выводов богатого и зрелого мирского опыта. В одном месте с поразительной ясностью выражена идея взаимного страхования. В другой раз решительными аргументами опровергается распространенное во все времена радикальное утверждение: «Либо все и все сразу, либо ничего». Если в выводах этого проекта Ксенофонт сходится во многом с демагогами того времени, которые имели в виду поддержать малоимущих за счет государства, то по средствам, предлагаемым нам, мы узнаем его прежние симпатии. Энергичная политика благосостояния, вмешательство государственной власти и, прежде всего, попытка воздействия на самые

различные области жизни назначением премий за лучшие произведения. Эти мысли мы встречаем как в сочинении «О государственных доходах», так и в книге «О командовании конницей»,\* в «Киропедии» и в «Гиероне».

Еще в одном пункте Ксенофонт остался слишком верен себе: в своем отношении к божественным вещам. С большим правом это скорее можно назвать суеверием, чем религиозностью. Старовером и суевером он, во всяком случае, обнаруживает себя больше, чем в одном только смысле. Повсюду и всегда он допускает и ожидает непосредственное вмешательство богов. В этом отношении он совершенно не затронут просвещением своей эпохи, как оно воплотилось, например, в каком-нибудь Анаксагоре. Он хорошо сознает, что его воззрения не особенно распространены в то время, и очень характерно, как он объясняет свое одиночество в этом отношении. Он ожидает возражений против того, что и при изложении военно-технических вопросов он постоянно примешивает богов. Его оправдание гласит приблизительно следующим образом: «Кто часто находился в опасности, не будет удивляться этому».\*\* Похоже на то, будто Ксенофонт с изумительной наивностью хочет подкрепить своей практикой и теорией общеизвестную истину, что игроки, охотники, солдаты, горцы и моряки склонны к суеверию. Точка зрения, на которой он стоит в вопросе о божественном могуществе, всецело покрывается правилом: «Do, ut des». Его старание постоянно направлено на то, чтобы обеспечить себе расположение богов богатыми дарами; очень часто он высказывает твердое убеждение, что боги более склонны подавать полезные советы (конечно, посредством высоко ценимой им мантики) тем, кто думает о них постоянно, чем тем, кто обращается к ним только во время крайней нужды.<sup>14</sup>

4. Таким образом, мы выполнили наше намерение и познакомились с жизнью и писаниями Ксенофонта. Не ради него самого остановились мы на том, кто не может претендовать на самостоятельное место среди греческих мыслителей, но ради того значения, которое имеют его сообщения о речах и учениях

\* «Гиппархик» (Соболевский И. С. Указ. соч. С. 19), или «О конном начальстве» (М. Л. Гаспаров). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Сократа. Критический процесс отделения достоверного от недостоверного в его сочинениях мы уже совершили, когда говорили об учении и деятельности Сократа. Тут, может быть, не будет излишним указать читателю, познакомившемуся с обликом Ксенофонта, на некоторые примеры того, что он выдает за сократовское и что мы ни в каком случае не можем признать таковым.

Так велико количество несократовского, даже недостойного Сократа в «Меморабилиях», что современные ученые, которым бы хотелось согласовать высокую оценку излагаемого материала с оценкой автора, не побоялись объявить неподлинными значительные части этого сочинения и считали их прибавлениями позднейших читателей — довольно насильственный прием, который в руках одного критика довел до уничтожения большей части «Меморабилий».\* Эти насильственные приемы, сопровождаемые не менее произвольным отбрасыванием хорошо засвидетельствованных мест ксенофоновских сочинений, не всецело лишены ценности, потому что они свидетельствуют о противоречии между традиционной высокой оценкой Ксенофонта и впечатлением, которого нельзя избежать при беспредвзятом рассмотрении его сочинений.

Против достоверности Ксенофоновых сообщений говорит то, что диалектика, в которой Сократ был признанным мастером, здесь совершенно исчезает. Если бы великий афинянин обращался к юношам в гимназиях и к взрослым на рынке только с теми скучными, елейными и позитивно-догматическими речами, совершенно лишенными исследования понятий и диалектической формы, которым уделено так много места в «Меморабилиях», то он, конечно, не привлек бы к себе даровитых людей своего времени и не мог бы оказать на них никакого влияния. Такой проповедник общих мест не имел бы успеха у быстро соображающих афинян, он бы наскучил им и оттолкнул от себя. Что можно остроумно морализировать, это Ксенофонт сам доказал не в свою пользу, вставивши знаменитую басню Продика в свое сочинение. Как пестры и ярки здесь краски и как вял и однотонен рядом с ней колорит речей, составляющих главное содержание «Меморабилий»! Можно предположить, что то, что нам

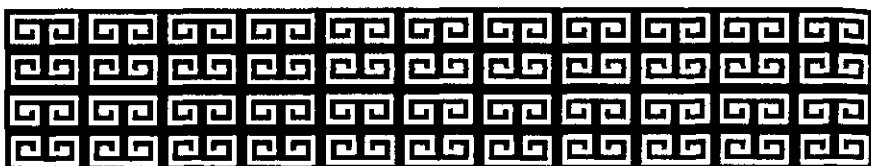
---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

кажется тривиальным, было когда-то оригинальным; но все-таки нельзя отделаться от впечатления, что тут простые, легко понятные мысли учителя Платона, современника Фукидида, переданы невыносимо пространно и придавлены грузом примеров, из которых каждый был бы излишним. Как бесконечно подробно в разговоре с Лампроклом, старшим сыном Сократа, развивается мысль, что неблагодарность дурна и что самый дурной род ее есть неблагодарность к родителям, которым мы столь многим обязаны и которые, если и бранятся понапрасну (как Ксантиппа), то в сущности же любят своих детей.\* Немедленно за этим следует бесконечный призыв к миролюбию,\* свыше всякой меры распространенная «индукция», длинный ряд отдельных примеров, которые должны подготовить результат: если ты хочешь, чтобы твой брат хорошо к тебе относился, то начни сам хорошо к нему относиться. В практических советах Сократа Аристарху\* есть искорка философии: он рекомендует ему возвыситься над обычным предрассудком, что ручной труд недостойн свободного человека. Но нет и следа такой искры в совете Евферу вовремя подыскать себе такое занятие, которое не требует напряжения и которым поэтому можно заниматься и в старости.\* А что сказать, наконец, о подробном перечислении всех преимуществ холеного тела, развитого упражнениями, или о предписаниях за обедом: никогда не есть закуски без хлеба, вообще не есть слишком много и не слишком много разнообразного. Для этого Сократу, конечно, не надо было сводить философию с неба на землю! Когда, наконец, Ксенофонт доходит до сократовской диалектики, которой так долго пришлось ждать, то применение этого метода оказывается крайне скудным. Мы охотно верим ему, когда он со вздохом восклицает: «Разобрать все его определения понятий было бы очень трудным делом».\*\* Иными словами, можем мы сказать: старому офицеру на покое очень трудно углубиться в диалектические тонкости. В общем, можно счесть счастливой и печальной случайностью в литературе, что сочинение храброго солдата и спортсмена, юмориста и яркого изобразителя пережитых приключений на войне и в мирное время, но не глубокомысленного писателя, стали для нас источником истории философии.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Киники

Ближе всех других товарищей стоял Ксенофонт к Антисфену.\* Он дал его живой образ в «Пире». В нем он нашел и восхищался тем, что недоставало ему самому: оригинальности. Ибо в этом юноше преданность учениям учителя соединялась с большой самобытностью. Он был не только учеником, он был продолжатель и развиватель. Это обнаруживается прежде всего в методе его исследования. Ни одна черта в нем не напоминает Сократа. Первый жил исследованиями понятий, у Антисфена эти исследования играют второстепенную роль. Он даже относится немного пренебрежительно к этому методу. Это не должно нас удивлять. Определения могли обосновать сократовскую этику; они не могли развить ее дальше. Рост ее ядра требовал перемены оболочки. Антисфен ухватился за это ядро. Задачей его жизни явилось развитие сократовского идеала. Сам Сократ со всей страстностью своей природы требовал неумолимо строгой последовательности мышления, единства воли, безусловного права критики, разумного обоснования всех правил жизни. Но он довольствовался принципиальным признанием этих требований. Правда, в некоторых случаях он расходился с мировоззрением своего народа и своих сограждан, а именно в одном кардинальном пункте, не говоря об отношении его к государственным учреждениям Афин: в оценке внешних благ и жизни вообще, рядом с которыми он выше всего ставил спасение души, внутренний душевный мир. Но он не доходил до полного разрыва со всем обычно ценимым. И, однако, к этому должно было привести естественное развитие. Никогда и нигде разум не служит долго только помощником. Будучи призван поддерживать то, что исходит не из него, он скоро вырывает узду и

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

оставляет только то, что он сам создал. Союзник становится властителем. Таким образом, Сократ установил как бы только одни посылки, из которых его последователи вывели содержащиеся в них заключения, почти принуждены были сделать это. И процессы мысли, послужившие этому развитию, должны были быть существенно иными, чем те, с помощью которых было заложено основание.

В учениях и изречениях Сократа мы могли заметить тенденцию утилитаризма.\* Однако в форме исследований понятий она не могла выступить открыто. Сократ тщательно исследует смысл слов, в которые воплощается оценка людей, он испытывает и прочищает содержащиеся в них понятия и из неясных и противоречивых представлений пытается добыть понятия определенные и лишенные противоречий. Но если в отдельных выводах он и расходится с обычными взглядами своих современников, то все его исследования вращаются в кругу их уклада мысли. Он оперирует не фактами, а представлениями. Он вносит порядок и ясность в обычные и традиционные оценки; он оперирует не тем материалом, который мог бы опрокинуть или перестроить эти суждения. Там, где он пытается произвести нечто подобное, это происходит путем обхода и, строго говоря, без достаточного логического оправдания. Так, например, он убежден, что специальные знания играют далеко не ту роль в государственной жизни, которую они должны бы играть. Однако, несмотря на свои утилитарные симпатии, он в интересах общественного блага не выставляет требования: государственные дела должны быть в руках сведущих руководителей. Вместо этого он разбирает понятие государственного правителя или царя; определяет его содержание с помощью аналогий с кормчим, врачом, земледельцем и приходит к тому выводу, что цари или правители, не удовлетворяющие этому требованию, не соответствуют указанному понятию, что поэтому они не суть цари или правители.\*\* Таким образом, «так должно быть» незаметным образом превращается в установление того, что «есть». Кто захотел бы продолжать идти по стопам учи-

\* См. коммент. ред. № 17.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

теля, кто хотел бы предпринять работу обновления индивидуальной и общественной жизни, тот не мог бы остановиться только на одних определениях.

Если же мы спросим, какие методы являются годными для этого, то вряд ли найдем больше двух. Один из них мы можем назвать абстрактно-конструктивным. Это метод, которым в кругу сократиков пользовался Платон, а впоследствии, в наше время, школа Иеремии Бен-Тамма (больше, чем сам Бен-Тамм). На основании анализа, частью психологического, частью социального, на основании разбора фактов и потребностей человеческой природы и на основании заключений из взаимоотношений между индивидуумом и обществом, опираясь в некоторых случаях на действительный или мнимый исторический опыт, пытаются набросать план, согласно которому следует устроить общественную жизнь и установить правила поведения для отдельного лица.\* Люди, мало доверяющие длинной цепи силлогизмов и не обладающие в достаточной мере даром систематического мышления, идут по другому пути. Они ищут образцов того идеального строя, который они себе наметили, и стремятся к их осуществлению. Этот метод, который можно назвать конкретно-эмпирическим, часто принимает особую форму, которую мы попытаемся сейчас ближе охарактеризовать.

Крупные недостатки, которыми по мнению реформатора страдает его время и которые он хочет устранить, могут быть двоякого происхождения. Они могут быть признаками недостаточного развития или явлениями упадка и вырождения. Члену высококультурного общества второе предположение ближе на том простом основании, что современность нельзя сравнивать с будущим, но что ее легко сравнить с прошлым. Но будь то зло современного или давно прошедшего общественного уклада, все равно которое из них сильнее, современное зло потому уже будет считаться горшим, что оно переживается. Человек, прославляющий старину, — это традиционная фигура. Над далеким и чуждым легко распространяется туман, усиливающий преимущества, скрывающий недостатки, а в общем преобразующий. Результат этого был одинаков во все

---

\* Впоследствии К. Поппер назовет это «социальной инженерией» (Прим ред).



времена. Создатели сказаний о золотом веке или невинном рае человечества были предшественниками длинного ряда религиозных сектантов и реформаторов. Все они в известном смысле уподобляются Христофору Колумбу. Надеясь новым путем достигнуть одной части Старого света, в действительности они направляются к новому. Ибо куда же и направить свой взор тому, кто чувствует на себе оковы застывших условностей, ставших ему чуждыми, кто ощущает духоту сложных общественных отношений, как не к далекому прошлому, к примитивному состоянию, прекрасный образ которого представляется ему образцом будущего? Ум и сердце вместе готовы идти этим путем: томление сердца по потерянному юношескому счастью и беспомощность мыслящего ума, не обладающего безусловным доверием к себе. В этих случаях и раздается призыв: «Возвратимся к природе!» И безразлично, исходит ли он от Руссо в середине восемнадцатого столетия или от Антисфена в начале четвертого века до Рождества Христова.<sup>15</sup>

2. Из сочинений Антисфена, которые по большей части были написаны в форме диалога, сохранились только самые незначительные отрывки. О его жизни мы знаем тоже очень мало. Он родился в Афинах, но от фракиянки. Что он был только наполовину греком, есть очень важный факт для истории кинизма. Во всяком случае, это облегчало ему разрыв с существующими религиозными и социальными нормами. Вряд ли чистокровный грек, если бы даже он подобно Антисфену верил только в одно высшее божество, мог изречь кощунственную фразу: «Если бы я мог овладеть Афродитой, то я бы застрелил ее»\* (из лука и стрелой ее сына, очевидно). Это изречение кажется нам, несомненно, ценным биографическим документом. Разве мог бы такой возглас вырваться из груди того, в ком не было сильных страстей, в ком не билось раненое страдающее сердце? Едва ли и его внешняя жизнь была лишена превратностей судьбы. Мало вяжется с его пролетарской бедностью, о которой часто говорилось, то обстоятельство, что он брал дорогие уроки у ритора Горгия. Удар судьбы вырвал его из обеспеченной мирной жизни незнатного родного дома и вверг в глубокую нужду. Уже в зрелом возрасте он, «запозда-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

лый», как иронизирует Платон, присоединился к кругу учеников Сократа и от риторики обратился к философии. Железная сила воли, возбуждаемая, необыкновенно восприимчивая особенно к болезненным впечатлениям души, сильный находчивый ум, более склонный к конкретным представлениям, чем к логическим формулам, чуждый тонких различий и спекулятивных приключений, и вдобавок ко всему могучая творческая фантазия, таковы основы его личности. Он в высокой степени обладал даром здорового, живого и захватывающего изложения. В век Платона он был одним из образцовых и любимейших писателей очень требовательной афинской публики. Горечь, которая чувствуется в иных его выражениях, резкие моральные приговоры, расточаемые им по адресу таких людей, как Алкивиад или Перикл, производят неприятное впечатление.\* Последнее, однако, смягчается тем соображением, что Антисфен, без сомнения, прошел через тяжелый опыт, что он бесповоротно порвал со своим прошлым и, вероятно, судил себя с той же неумолимой строгостью, с какой относился к другим.

Однако нам пора обратиться к основоположениям кинизма. Сократ основывал жизнь на разуме. Но рефлексия нуждается в материале фактов. В вопросах этики и политики материал этот получается, с одной стороны, анализом человеческой природы и следующим за ним синтезом; это тот метод, который мы охарактеризовали выше, указав применение его Платоном. Другой путь, более близкий Антисфену по духу, не есть путь сооружения после расчленения, но путь применения конкретного опытного материала. Недовольный настоящим строем жизни, ненавидя искусственность его и испорченность общественной жизни своего времени, он ищет спасения в возврате к изначальному, естественному. Привитым воспитанием потребностям, изнеженности и слабости культурного человека он противопоставляет отсутствие потребностей, выносливость и мнимое здоровье и долголетие животных. Он, совершенно чуждый естествознанию и математике, написал книгу «О природе животных».\* От нее не осталось ничего; но она, несомненно, преследовала ту же цель, что и многочисленные изречения

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Все цитаты на этой странице см. по прим. и доб. Т. Гомперца.

киников и разные подражания им позднейших почитателей, а именно взять из жизни животных образцы и примеры для человеческой жизни. Вполне понятно, что этот метод сам по себе не мог привести к цели, если даже не отступать от крайних выводов, оскорбляющих утонченное человеческое чувство и пренебрегающих нравственным чувством, как это делали киники. От зверей обратились к первобытным людям. Идеализация народов в естественном состоянии была в греческой литературе не новостью. Уже поэмы Гомера прославляют номадов, живущих молоком, как «самых праведных из людей». А затем и совсем всерьез стали брать за образец диких, как это сделали впоследствии Руссо и Дидро. Неистощимы были красноречие и остроумие киников в прославлении естественного состояния и в указании на разъедающее влияние культуры. В платоновской передаче протагоровского сочинения «О первобытном состоянии» целью основания первых городов выставляется общая защита от диких зверей и от человеческой несправедливости. «Совершенно обратно! — говорили киники, — городская жизнь положила начало всякой несправедливости; именно здесь ложь, обман и всякие злодеяния получили свое начало, и ложно думать, что это и было целью при основании городской жизни». Там указывалось на беспомощность человека, лишенного крыльев, волосяного покрова, толстой кожи, природных средств нападения и защиты в противоположность животным, и доказывалась необходимость культуры и ее главного орудия — огня, дарованного людям благожелательным полубогом Прометеем. «Совершенно наоборот! — возражают киники, — эта беспомощность есть результат расслабления. Строение лягушек и многих других животных еще более нежно, чем у людей, но их кожа закаляется, как и те части тела у человека, которые, как, например, глаз и лицо, не покрываются одеждой и которые поэтому лучше сопротивляются переменам погоды». Вообще же всякое существо способно жить там, где природа его создала. Иначе как же могли сохраниться первые люди, у которых не было ни огня, ни жилища, ни одежды, ни искусственно приготовленной пищи? Ум и суетливый дух изобретения принесли людям мало пользы. Чем больше старались устранить из жизни разные невзгоды, тем труднее становилась жизнь. В этом и заключается глубокий смысл сказания о Прометее. Не из не-

доброжелательства и не из ненависти к людям наказал Зевс титана, а за то, что с огнем он принес начатки культуры, а вместе и начало роскоши и испорченности. (Полезно обратить внимание, что точно так же толковал миф о Прометее родственник у Руссо!) \*

Мы встречаемся здесь с двумя моментами, которые имеют большое значение для учения киников. Человеческий произвол выступает здесь враждебно против того, что можно назвать имманентной разумностью природы. Последняя создает только целесообразное, а когда творение ее хочет ее улучшить, оно запутывает все. Отсюда понятно, что тот, кто возникшее в государстве и в обществе считает случайным и произвольным и видел здесь отпадение от первоначального совершенства, тот должен был указывать человеку на природу как на неистощимый источник всякого блага. Затем эта теория, выведенная из рассмотрения жизни животных и первобытных людей, должна быть дополнена тем, что мы приблизительно можем назвать первооткровением. Толкование мифа о Прометее дает нам указание в этом смысле, и это должно нас удивить. «Ибо как возможно, — невольно спрашиваешь себя, — чтобы те, кто отрицали многобожие и оспаривали истинность эллинской религии, занимались мифами не с целью их осмеяния и опровержения?» В действительности Антистен (а также его ученик Диоген) очень усердно занимался сказаниями о богах и героях. Он написал много книг, которые можно назвать комментариями греческой библии;\*\* содержание гомеровских поэм частью остроумными, частью неудачными толкованиями прилаживалось к учению киников. Было ли это только игрой остроумия? Против этого говорит то обширное место, которое занимает в греческой литературе этот ее род. Еще более говорит то обстоятельство, что этот род толкования и прилаживания, которому положил начало основатель школы, укоренился в одной части школы и даже перешел к преемникам киников — к стоикам. Правда, стоикам, заключившим мир с обществом и существующими властями, этот метод давал удобное средство если не для заполнения пропасти между философией и народ-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* «Илиады» и «Одиссеи». (Прим. ред.)

ными верованиями, то для соединения их мостом. Но это не входило в намерения киников, бывших в резком противоречии с народной религией. Они отвергали многобожие и обычное понимание сказаний о богах; но не могли ни ослабить авторитет Гомера, ни освободить собственную душу от очарования этих легенд. Вместо того чтобы отрицать и отвергать, они начали истолковывать и перетолковывать, причем обнаружили, пожалуй, больше смелости, чем если бы они просто отрицали. Решающим фактором была, во всяком случае, потребность опереться на нечто данное или, если угодно, эмпирическое, без чего не могла обойтись даже дерзновенная революционность киников, а тем менее Антисфен с его отвращением к голому умозрению и абстрактным построениям и потребностью опираться на факты, будь они реальны или фиктивны. Невольно нам вспоминаются те люди, которые в своих утопиях готовы скорее опереться на самое насильственное толкование писания, чем отказаться от авторитета Библии. Таким образом, к откровению разума, как оно проявилось в природе и в первобытных людях, присоединилось другое откровение, носителем которого явились ранние творения человеческого духа, называемые сказаниями.

3. Чтобы проникнуть в самое ядро кинизма, недостаточно, однако, познакомиться со взглядами его основателя. По тому же пути катятся и другие повозки, движимые иными силами. Нам нужно подсмотреть эти силы и ознакомиться с ними.

Чтобы открыть это основное настроение киников и тот ряд мыслей, из которого выросло все это направление, нам нет нужды покидать ни Европу, ни современность. Герой романа «Война и мир» в известный момент своей жизни испытывает «невыразимое, исключительно русское (!) чувство», «чувство презрения ко всему условному, искусственному, ко всему, что большинство людей считает высшим благом».\* Один из лучших знатоков утверждает, что такое ощущение господствует во всей современной русской литературе. Тот же великий русский писатель в другом сочинении уже от своего лица говорит: «Мы ищем наш идеал впереди, между тем как он сзади. Для осу-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ществления этого идеала гармонии, который мы носим в себе, средством является не прогресс; последний есть скорее препятствие к его осуществлению». Здесь возникает вопрос, ответ на который может пролить некоторый свет на возникновение того состояния души, которое нас интересует. Если подобное настроение возникает в современной России и получает здесь широкое распространение, то это не есть только результат пресыщенности культурой. Иначе такое движение имело бы место скорее на Западе, чем на Востоке, более бедном в культурном отношении. Можно, правда, предположить, что и менее развитая культура ощущается как пресыщенность, если она внешним образом привита к не вполне однородному с ней стволу или если элементы культуры и элементы, противоречащие ей, — будет ли то первоначальная природная склонность или общественное положение — соединены в индивидуальной душе или душе народа скорее внешне, чем внутренне. Нам приходит на память полуварварское происхождение Антистифена, а также то, что среди его последователей немало таких, которые принадлежат к самой крайней зоне сферы греческой культуры: таковы Диоген и Бийон из стран понтийских; брат и сестра, Метрокл и Гиппархия, из южной Фракии; сатирик Менипп, бывший сначала рабом, из Финикии. Также во главе древнейшей Стои, которая была мало модифицированным кинизмом, стоял полугрек.\* Как здесь, так и там невелико число людей, принадлежавших к центру греческой культуры. Помимо иностранного происхождения многие киники принадлежали к низшим слоям общества, почему кинизм не совсем без основания называли «философией греческого пролетариата».\*\* Разрыв с утонченными нравами восемнадцатого столетия и культ природы был провозглашен человеком, который временами должен был зарабатывать себе пропитание перепиской нот или в качестве слуги и в то же время сознавал свою гениальность писателя; несоответствие между сознанной самооценкой и внешним положением должно было оказать свое влияние на ука-

\* Зенон Китийский (ок. 335 — ок. 262 г. до н. э.), происходил из среды финикийских поселенцев на о. Кипре (см.: Диоген Лаэртский VII 1, 2). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

занное нами направление. К этому источнику дисгармонии часто присоединялось чувство внутренней раздвоенности, какое мы замечаем в духовном облике Еврипида и которое в эпоху, когда авторитет традиции был распатан и трон властителя жизни, если так позволительно выразиться, был не занят, не могло быть единичным. Приближающаяся и частью осуществившаяся уже потеря политической свободы должна была освободить много сил, которые могли служить преобразованию общественной и индивидуальной жизни. Многие стихотворения лорда Байрона называли замаскированными парламентскими речами. Точно так же стремление к личной свободе и самоутверждению, к упорному подчеркиванию индивидуальной независимости можно назвать замаскированным стремлением к политической свободе. Как будто отдельный человек, разочаровавшись в спасении общества, употребляет все усилия на спасение себя из общего катаклизма. Тенденция эта в действительности господствует над всей эпохой и глубоко внедряется в душевную жизнь. Она соединяется с ярким ощущением страдания в человеческой жизни, с пессимистическим направлением, нарастание которого мы могли уже наблюдать раньше, и в соединении с ним порождает явления, далеко выходящие за пределы кинизма. Для доказательства этого достаточно предварительно указать на то обстоятельство, что понятие высшего блага на языке почти всех философских направлений, оказавших влияние на широкие круги народа, выражалось отрицательно. Свобода от боли, свобода от печали, свобода от потрясений, от страсти, от заблуждения — таковы обозначения высшей цели жизни. В тех случаях, когда обозначение менее ясно, все-таки единственно достижимым считается не позитивное счастье, а свобода от страданий. Это яркое ощущение зла в жизни дает нам ключ к пониманию одного из самых редких явлений в пределах кинизма и должно помочь нам избежать поспешных и неверных суждений. Великим средством для удовлетворения вновь возникающих требований, для продолжения критики существующего и для построения нового как в сфере общественной, так еще более личной жизни, был рассудочный радикализм Сократа. Радикализм этот должен был тем больше укрепляться, чем дольше он занимал умы, уже по той причине, что сопротивление нововведению постепенно притуп-

ляется и что разрыв с привычным в конце концов сам становится привычкой.

4. Выше мы указали на преданность Антистифена учению своего учителя. В действительности осто́в его этики тождествен с основой этики Сократа. Добродетели можно научить, это «неотъемлемое оружие нельзя потерять», в существе своем она тождественна с разумом и ее вполне достаточно для того, чтобы сделать человека счастливым (при условии, что она соединяется с «Сократовой силой»);<sup>16</sup> все это одинаково входит и в учение Сократа, и в учение Антистифена. Различие обнаруживается в том, что содержание счастья, к которому стремятся, определяется точнее. Самоудовлетворенность (автаркия)\* индивидуума определенно выдвигается вперед, а также выставляется правило: «Мудрец будет устраивать свою жизнь не по существующим законам, а согласно законам добродетели».\*\* Если уже в самом начале в сократизме мало ценились внешние блага и покупаемые ими наслаждения, то Антистифен еще усилил эту первоначальную тенденцию. Вполне естественно, что это двусмысленное понятие «эвдемонии»,\*\*\* смотря по индивидуальному складу или общественному положению учеников, толковалось различно, причем односторонность одного понимания естественно вызывала и противоположное направление. Если пассивное наслаждение играло известную роль в плане жизни у Аристиппа,\*\*\*\* то Антистифен выступал резко против всякого страдательного наслаждения и сделал из этого руководящую максимум. «Я предпочитаю сойти с ума, чем вкушать наслаждения»,\*\*\*\*\* — так гласит одно из его изречений, напоминающее нам приведенную выше фразу о богине любви. Идеальным образцом его и всех киников, можно сказать патроном всей школы был Геракл. Полная труда и борьбы жизнь этого

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* А также «независимость», «самостоятельность», «полное довольство». (Прим. ред.)

\*\*\* Счастья. (Прим. ред.)

\*\*\*\* Аристипп Старший (ок. 435—355 гг. до н. э.), ученик Сократа, основатель школы киренаиков, в центре этического учения которого находилось представление о «телесном наслаждении». Подробнее см. соответствующую главу данного сочинения. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



героя, его торжество над разными чудовищами, которые аллегорически отождествлялись с врагами добродетельного жития, с пороками и страданиями всякого рода — вот излюбленные темы кинических рассказов, начало которым положил основатель школы своим диалогом «Геракл». Резким противоречием этому идеалу была фигура умника, или «софиста» Прометей, ставшего жертвой страсти к славе. Печень его набухала, когда его хвалили, — так гласило хитроумное толкование — и сжималась, когда его порицали. Геракл сжалился над его несчастным существованием и освободил его.\*

Если не сразу, то постепенно киник приходил к убеждению, что его идеалы имеют мало надежды на осуществление в пределах существующего общественного порядка. Тогда он выходил из общества, насколько это было возможно, отказываясь от всякой заботы об имуществе, в большинстве случаев не связывал себя семейными узами, не выбирал себе определенного жилища и не только оставался вдалеке от государственных дел, но в качестве «всемирного гражданина» совершенно бесстрастно взирал на судьбы родного города и нации. Он избирал жизнь нищего. Длинные волосы на голове и косматая борода, нищенская сума, посох, разодранный плащ на голом теле летом и зимой — таковы внешние признаки секты; порой они были предметом уважения, часто насмешки, доходящей временами до издевательства. Пышная Александрия времен Траяна \*\* была еще полна этих нищих монахов-философов; движение это еще не заглохло в царствование Юлиана и даже до самого конца четвертого столетия.

Все побудительные мотивы в жизни среднего человека и прежде всего стремление к обладанию и почестям, а также идеалы, на которые большая часть людей смотрит с подобо-страстием, для киников были «заблуждениями»\*\*\* или, может быть, точнее передавая греческое слово, дымом, иллюзией. Вид людской массы, одержимой иллюзией, лишенной разума и добродетели, пробуждал в них презрение к ней; у одних являлось желание к сатирическому осмеянию, у других потребность исправлять и помогать, как у Кратета, названного

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Римский император с 98 г. н. э. по 117 г. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

«открывателем дверей», который, не боясь брани, врывается в частные дома и преподавал непрошенные советы, или как Бион<sup>17</sup> и Телет, которые произносили публичные речи наподобие проповедей, иногда полные воодушевления, иногда бездарные. Смелость киников не останавливалась ни перед чем; в эпоху римских императоров последователи именно этой секты внезапно обращались в театрах к властителям, выражая им основательное или несправедливое неудовольствие масс, причем часто подвергались тяжелым наказаниям; правда, наиболее умные императоры избегали придавать ореол мученичества нарушителям порядка, искавшим мученического венца. Последователям этой секты не было чуждо и добровольно налагаемое на себя мученичество. Так, один из них, Перегрин сжег себя живым на костре перед толпой народа, собравшейся на олимпийском празднестве, желая этим уподобиться патрону киников — Гераклу. Лукиан, очевидец этого ужасного события, в своем памфлете «Конец Перегрин» осмеивает его, причем выказывает больше злорадства, чем остроумия.\*

Но от этих проявлений кинического духа нам нужно вернуться к источнику, чтобы обнажить корни этого направления мысли полнее и яснее, чем мы это сделали до сего времени. Неутолимая жажда свободы, яркое ощущение зла жизни, твердая вера в самодержавность и всеисильность разума и соответственно этому глубокое презрение ко всем традиционным идеалам — таковы настроения и убеждения, составляющие ядро этого направления мысли и выражающиеся в стихах одного из их представителей: «Никогда не склоняющиеся под ярмом наслаждения и не поработанные, они почитают только одну бессмертную царицу, свободу».

Эти слова принадлежат поэту школы, фиванцу Кратету, который воспел в стихах и символ кинического нищенства, суму, по-гречески «пéра»,\*\* пародируя одно место в «Одиссее», где говорится о Крите:

Пера — так имя страны — посреди обманных видений.  
 Вся плодоносна она и прекрасна, и нет в ней изъяна.  
 В гавани якорь не бросит корабль бродяги-пирата,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* ἡ πῆρα — сума, ἡ λέρα — дальняя страна. (Прим. ред.)

Не забредет и роскоши праздной торговец.  
Лук в ней и фи́га растут, и чеснок, и хлебные злаки;  
Не разгорается в ней и раздоров жестоких,  
Лютой борьбы из-за чести и блага земного.\*

От диалогов Антисфена сохранились лишь жалкие остатки. Представление о них, составляемое нами главным образом на основании сообщений и пересказов позднейших лиц, в числе прочих Дионом из Прусы (современником Траяна), довольно полно, если не вполне достоверно.\*\* В некоторых диалогах Антисфен выступал против ходячих идеалов, против переоценки культуры, даже против национальных подвигов, не подвергавшихся до того времени оспариванию.\*\*\* Выше уже было упомянуто, что тщеславному умствователю, Прометею, он противопоставлял полубога Геракла, прообраз кинической силы и дельности. Свое презрение к культуре он выразил, между прочим, в том, что подверг обсуждению несправедливое обвинение Паламеда. Последний представлялся древним подобием титана Прометея. Ему приписывалось установление трапез, разделение войск, изобретение букв, искусства счисления, огненных сигналов, игры в шашки, одним словом, всех пособий культуры. Вместе с тем сказание говорит, что греки перед Троей на основании несправедливого обвинения осудили своего благодетеля и побили его камнями. Антисфен спрашивает с горькой иронией: «Как возможно, чтобы образование и утонченность жизни принесли такие плоды. Как возможно, чтобы оба Атрида,\*\*\*\* которые в качестве князей и полководцев извлекли наибольшую пользу из этих изобретений, позволили обвинить своего учителя и допустили его умереть позорной смертью?» Это событие легендарной древности служило якобы доказательством того, что блага культуры мнимы и что в них нет никакой облагораживающей силы. Нас не должно удивлять, что Антисфен в своем диалоге «Государственный деятель» осуждал самых прославленных политических деятелей Афин.\*\*\*\*\* Для

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Дион Хризостом (ок. 40—ок. 120 г. н. э.) — позднейший киник. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* Братья Менелай и Агамемнон. (Прим. ред.)

\*\*\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

него ведь все то, за что их прославляли, и, прежде всего, приобретение могущества и богатства, было лишено ценности, более того, было тем вредоносным даром, подобным золотому руну, из-за обладания которым возникла братоубийственная распря между Атреем и Фиестом, сопровождаемая жесточайшими злодеяниями.

Безграничное презрение к уважаемым афинским политическим деятелям и убеждение, что, сделав Афины могущественнее и богаче, они не сделали их лучше, мы встречаем уже в «Горгии» Платона. Из этого мы вправе заключить, что и Сократ судил об этом так же, как его ученики. Но что нас необычайно изумляет, так это дерзость, с какой Антисфен (если только рассказ Диона относится к нему) не побоялся затронуть освободительные войны греков. По его мнению, победа над персами была бы действительно велика, если бы последние были сильны разумом и деловитостью. Тогда победа над ними служила бы доказательством, что греки и в особенности афиняне стоят в этих отношениях еще выше их. Но это предположение неправильно. Для подкрепления этих соображений Антисфен (вероятно, в диалоге «Кир») подробно разбирает систему воспитания персов и осуждает ее. В Ксерксе персы имели не истинного царя и полководца, а лишь человека, который носил высокую шапку с драгоценными камнями и сидел на золотом троне. Что дрожавшие перед ним толпы, гонимые в битву ударами бичей, были побеждены греками, не доказывает силы последних. Он привел и другой аргумент. Если эти прославленные победы явились действительно результатом морального превосходства, как же могло случиться, чтобы в течение той же войны и афиняне потерпели поражение, а затем снова выиграли морское сражение у персов (во время Конона)? Такая неустойчивость успеха показывает только, что ни один из обоих противников не прошел действительно хорошей школы, как два искусных борца, из которых побеждает то один, то другой.\*

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

5. Можно было думать, что дерзновенность такой критики, не щадящей даже национальных святынь, и которая, скажем мимоходом, могла убедить иного афинского патриота в справедливости приговора над Сократом, должна была удовлетворить самого радикального из радикалов. И, однако, как мы узнаем, Антисфен остается в своих требованиях далеко позади своего ученика Диогена.\* Последний сравнивал своего учителя с трубой, которая издает очень сильный звук, но сама его не слышит. Другими словами, ученику казалось, что учитель его недостаточно серьезно относится к своему учению. Действительно, полное осуществление идеала киников выпало на долю Диогена. Его можно назвать отцом практического кинизма. Сила воли и духа, обнаруженная им при этом, сделала его одной из самых популярных фигур древности. Правда, некоторые из его современников видели в нем карикатуру человека, учеником-внуком которого он был, и прозвали его «сумасшедшим Сократом»;\*\* однако с течением времени уважение к нему возрастало. Какой высоты он достиг в конце концов, мы узнаем из сочинений Плутарха и Лукяна, у которых его имя совершенно оттеснило имя Антисфена, а также из речей Диона и еще более из писем императора Юлиана. Последний хотел примирить некоторые несимпатичные ему мысли кинического учения с импонирующим впечатлением, полученным им от личности Диогена. И, однако, между философом, который порою жил в бочке, и тем, кто восседал на императорском троне, лежало более пятисот лет.

Необычайная популярность Диогена скорее затмила его жизнь, чем просветила ее. Анекдоты и легенды рано опутали своими ветвями эту фигуру. Его отца звали Гикесием; на берегу Черного моря, в Синопе, он был банкиром или менялой. Сам Диоген, будучи изгнан из родного города, отправился в Афины, где и увлекся философией Антисфена. Он попеременно жил в этом городе и в Коринфе, где и умер в 323 г. (в день смерти Александра Великого) в глубокой старости. Мнение, что он в своей юности занимался выделкой фальшивых монет и за это был изгнан из родного города,\*\*<sup>\*\*\*</sup> создано на основании слов,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

содержащихся в его диалоге «Пантера». Он говорил там о сообщенном ему Дельфийским оракулом изречении, которое гласило: «Перечеканивай деньги», причем греческое слово (*nomisma*) помимо значения «деньги» имеет еще значение «общепринятого» (обычного). Истинный смысл этого изречения оракула должен был означать переоценку нравственных понятий. Также и другое сообщение, упоминаемое в двух древних сочинениях,\* о захвате его пиратами, которые будто бы продали его затем коринфянину Ксениаду, не свободно от подозрений. Ибо Дион, хорошо осведомленный о жизни Диогена, говорит, что после смерти Антисфена он добровольно переселился в Коринф. Если же Диоген действительно занимался педагогикой в доме Ксениада и воспитал и образовал его сыновей прославленным и оригинальным способом, то все это указывает на то, что он в Коринфе жил и действовал так же свободно, как и в Афинах. Если не очень точны наши сведения о событиях его жизни, то мы лучше осведомлены о его образе жизни. Он освободил себя от всяких забот о пропитании и с помощью аскетических упражнений дошел до крайнего ограничения потребностей. Тем не менее его лицо светилось силой, веселостью, здоровьем.\*\* Для всякого, кто к нему обращался, у него было в запасе остроумное словечко, то грубоватое, то ласковое; держал он себя одинаково гордо как с низкими, так и с великими мира, и несмотря на грубые выпады его против нравов, доказывающие его полную независимость от людских мнений и установлений, был предметом всеобщего уважения и почти восхищения. Мы знаем даже его любимое место в роскошном и веселом Коринфе. Это была кипарисовая роща в высоколежащей части города, называемой Крапейон. В чудном месте, недалеко от святилища Афродиты и роскошной гробницы Лаисы, этот человек, с презрением относящийся к наслаждениям, любил греться на солнце и вдыхать прохладный ароматический воздух. Здесь на траве располагались вокруг него его ученики, которых он умел очаровывать своими речами; здесь, говорят, он встретился и с великим Александром. О его смерти свидетельства расходятся. Согласно одним, он подобно некоторым другим членам кинической и стоической секты сам наложил на себя руку. На его гробнице,

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

воздвигнутой недалеко от предместья Крапейона по дороге к нему, можно было видеть собаку, высеченную из паросского мрамора. Весьма вероятно, что он принял как почетное то название, которое ему, а может быть, и его учителю, дали как бранное (собака Куоп, откуда киники); нечто подобное происходило не раз с политическими партиями, таковы прозвища гезы (нищие) и тори (разбойники). «Небесная собака», так называет его в одном стихотворении прославляющий его поэт Керкид, имея в виду звезду Пса (Сириус).

Диоген оказал влияние на потомство скорее примером, чем сочинениями. К числу его учеников принадлежал Кратет, фиванец из уважаемого рода, который разделил свое значительное состояние между своими согражданами, а сам избрал нищенскую жизнь; он привлек к ней Метрокла из фракийской Маронеи и его прославленную сестру Гиппархию, ставшую жизненной подругой уродливого нищего-философа. Среди его поэтических произведений, образцы которых мы уже видели, рядом с пародиями, в которых не щадили даже мудреца Солона, были и трагедии, от которых нам сохранились несколько стихов, прославляющих космополитизм и беззаботное нищенство. Кроме него из учеников Диогена известны сиракузский раб Мони́м, неустанно боровшийся с распространенным «заблуждением», и Онесикрит,\* который, сопровождая Александра в его походах, был необычайно поражен сходством жизни индийских аскетов с киниками. В числе учеников Диогена в широком смысле слова называют также политического деятеля Фокиона\*\* и ритора Анаксимена.

Из семи драм Диогена, которые были всецело посвящены мифологическим сюжетам, мы имеем лишь три или четыре стиха, бичующих «неумужественную, грязную роскошь»;\*\*\* из его прозаических сочинений у нас нет ни строчки. О том немногом, что нам достоверно известно как о лично ему принадлежащем, мы упомянем в связи с общим обсуждением кинической доктрины, к которой и переходим.

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* 402—318 гг. до н. э., сторонник македонской партии. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

6. В сохранившихся выдержках из речей Телета \* (около 240 г. до Р. Х.) мы имеем кристаллизовавшееся зерно кинических положений, можно сказать, общее достояние школы. Главную роль играет здесь переоценка моральных ценностей и ценностей счастья, что и обозначалось выражением «адиафории» (безразличие). Переоценка и безразличие — в этом есть противоречие, однако лишь кажущееся. Ибо учение об адиафории нужно было понимать не в том смысле, что внешняя сторона жизни казалась киникам совершенно безразличной. Если бы это было так, то они не могли бы проповедовать новый идеал государства и общества. Истинный смысл учения заключается в следующем. Кто завершил внутреннее обновление, кто преодолел «иллюзию», тот возвысился над всем внешним. Болезнь, изгнание, смерть, лишение почести погребения, все то, в чем человечество видит величайшее зло, не способны нарушить его душевное спокойствие. И как эти мнимые несчастья не могут опечалить его, так не доставляют ему удовольствия и мнимые величайшие блага, могущество, богатство, уважение. Но для того чтобы достичь этого освобождения, чтобы вполне вырваться из-под ига страстей, для этого не безразлична внешняя обстановка. Тут и происходит эта переценка ценностей, изменение обычной оценки. Для нищего это освобождение легче, чем для царя; убогий и презираемый имеет в этом случае преимущество перед богатым и уважаемым. Конечно, кто взошел на эту вершину, кто поборол все иллюзии, для того, каково бы ни было его внешнее положение, открыт путь к счастью и к богоравному блаженству.

Углубляясь в круг этих мыслей, мы начинаем понимать, каким образом Диоген дошел до страсти к парадоксам, переполняющим его драмы. Наш киник постоянно указывает на пагубное влияние обычных представлений, нарушающих душевный мир; он обращает внимание на потрясения, являющиеся результатом неверной оценки безразличных по существу событий; причем потрясения эти не ограничиваются участниками самих событий, но благодаря пересказам и воспроизведениям оказывают влияние на последующие поколения и на все человечество. «Они сидят вместе в театре, охваченные не-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



сказанным ужасом при рассказе о трапезе Фиеста или о браке Эдипа со своей матерью». И, однако, этот ужас обусловлен одним воображением. Пример кур, собак и ослов, а также браки между сестрами и братьями у персов указывают, по его мнению, на то, что кровосмесительные связи вовсе не противоестественны. Таким же образом и безобидность антропофагии явствует из обычая многих народов, а еще более из соображения, основанного на анаксагоровой физике, что во всем содержатся составные части всего, и поэтому в этом отношении мясо человека не занимает никакого особо привилегированного положения. Не на установление правил жизни была направлена деятельность Диогена, его задачей было укрепить «самоудовлетворенность» мудреца, его безусловную свободу от власти судьбы. Если бы его постигли те же ужасные случайности, что Фиеста и Эдипа, то и тогда правильное рассуждение доказало бы ему, что несчастье не коснулось его. Правда, нельзя отрицать, что и любовь к причудливому, и желание смутить почтенного гражданина и импонировать ему безграничной дерзновенностью, все это играло роль в страсти киников к парадоксам. Нет надобности указывать на современные параллели этой тенденции.

Совершенно иное нужно сказать об общественном и государственном идеале киников. Все здесь в связи одно с другим, и одно это обстоятельство не позволяет нам сомневаться в серьезности предприятия. Один тот факт, что «Государство» Диогена (подлинность его, вопреки частым оспариваниям, засвидетельствована древнейшими стойками) рисовало идеальную картину общественного и государственного порядка, имеет уже большое значение.\* Отсюда мы видим, что нищенская и странническая жизнь, удаление киников от всяких общественных дел есть лишь временная мера, что основатели школы не смотрели на это как на окончательное и длительное положение. Снятие всех перегородок, разделяющих человечество, уничтожение сословных различий, национальности, привилегий пола — вот что составляло основу их идеала. Формой правления, очевидно, должен был быть просвещенный попечительный абсолютизм. По крайней мере, трудно понять, как безграничное

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

презрение к темной массе можно было бы соединить с допущением ее к участию в управлении; аристократия же упраздняясь новым социальным порядком. Мысль, высказанная уже в древности (Плутархом), что Александр Великий основанием мирового царства осуществил кинический идеал государства, вполне правильна.\* Заслуживает внимания то обстоятельство, что египетские трактаты о государстве времен Птолемея выражают те же взгляды, что и разбираемые нами философы. Ученик киника-стоика Аристона, великий александрийский ученый Эратосфен\*\* убедительно доказывал несостоятельность прежнего греческого, защищаемого еще Аристотелем, деления человечества на греков и варваров. В этом смысле на киническое движение с его презрением к древним городам-государствам, с его подрыванием греческого национального чувства и сопротивлением всякому общественному расчленению, можно смотреть как на прелюдию переустройства и частичной ориентализации основ эллинского быта. Один пастырь и одно стадо,\*\*\* о которых мечтали киники и стоики, временно осуществились, и даже после падения двух мировых царств остались идеалом на тысячелетия.

Об общественном строе, к которому стремился Диоген, мы имеем очень мало данных; они касаются собственности и семьи. Сюда относится введение своего рода бумажных денег, «костяных денег», которые должны были заменить благородные металлы в качестве менового материала и, таким образом, предупредить накопление движимого богатства. Здесь киники, противящиеся всему историческому, очевидно, бессознательно заимствовали свою идею у спартанцев, имевших железные деньги. Как должно было быть организовано владение землей, этого мы не знаем; одно несомненно, что и здесь, если частная собственность не исключалась совершенно, то была поставлена в очень тесные границы. Естественно, что там, где не было места для семейной жизни, не могло быть и права наследования. Ибо «общность детей» была основной чертой этого проекта, и определенное свидетельство об этом никем не опровергается; кроме того, это требование Диогена согласуется не только с

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Ок. 282—202 гг. до н. э. (Прим. ред.)

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

платоновским требованием, правда, касающимся только его правящего класса, но и с положением стоиков. С другой стороны, сообщение, что он хотел и общности жен, ввиду контекста, в котором оно приведено у Диогена и в котором оно снова встречается у основателей Стои, нужно понимать в смысле «свободной любви»,\* или, в смысле киников, лучше обозначить как общение полов, лишенное любви и свободное от государственного контроля. Здесь стремление к безграничной личной свободе и вместе к освобождению от власти страстей одержало верх над всеми другими соображениями. Правда, и здесь природа оказалась сильнее доктрины. По крайней мере, единственная связь в этом кругу, о которой мы имеем точные сведения, есть связь Кратета с Гиппархией, не пренебрегавшей ни одеждой, ни нравами киников; эта связь была настоящим союзом, а не случайной любовной встречей.

7. Нелегко проследить нить, связывавшую социальную мораль киников с этическими предпосылками их учения. Если бы нам сохранилось «Государство» Диогена или хоть какие-нибудь остатки трактующих об этом сочинений Антисфена («О прекрасном и справедливом», «О справедливости и храбрости», «О несправедливости и безбожии»),\*\* то нам был бы понятен переход от покоящегося на «самоудовлетворенности» и обуздании страстей индивидуального блаженства к социальным обязанностям. Вряд ли тут возможны какие-нибудь предположения. Во всяком случае нельзя не признать, что между этим идеалом блаженства и социальными добродетелями нет недостатка в посредствующих ступенях. Господство киника над своими страстями, если оно и преследуется в интересах собственного душевного спокойствия, должно быть выгодно и тем, на кого эти страсти обращаются. Уничтожение инстинкта обладания и честолюбия устраняет их объекты, из-за которых люди враждуют друг с другом (вспомним вышеприведенное шуточное стихотворение Кратета; сходно с этим также и запрещение ревности и исключительно семейных чувств у Платона и у стоиков). Там, где никто не должен обладать большим, чем сколько нужно для удовлетворения его нужды, и где всякое излишество считается злом для обладателя, там естественно

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

отпадает всякий повод к эксплуатации, к угнетению. Наконец, полная непредвзятость, не считающаяся ни с происхождением, ни с положением, пресекает в самом корне основы высокомерия и гордости; но зато в сознании собственной добродетели и превосходства ума, свысока взирающего на ослепленную иллюзией толпу, открывается новый источник этих чувств. В действительности же киник был гораздо более подвижим альтруистическими чувствами, чем этого требовала его этика. Диоген славился своей мягкостью и кротостью, его последователи были всегда готовы помочь.\* Теплое участие ко всем страждущим и угнетенным ясно слышится во всех отрывках их литературы. Это отрадное явление нужно отнести за счет полупролетарского происхождения и совершенно пролетарской жизни этой секты. Оно являет собой противоположность зависти и подозрительности к богатым и знатным современного пролетарского течения.

Со стороны религии этика киников не обогатилась содержанием и не приобрела новых импульсов. Здесь в особенности нужно строго разделять теологию и религию. Первая была у киников, второй не было. Зоркость и точность их ума, их склонность к радикальным решениям и, наконец, их своеобразный идеал добродетели — все это помогло им легко заметить и ярко ощутить противоречия, нелепости и недостойные стороны ходячего политеизма, а также помешало им успокоиться на некоторых попытках примирения между старой и новой верой. Таким образом, киники стали первыми решительными провозвестниками простейшей формы теологии, монотеизма, который они предпочитали как следствие соединимости его со всеобщей закономерностью, так и благодаря освобожденности от мифических ингредиентов, противоречащих их моральным взглядам. Только по принятому установлению есть много богов, по существу же есть только один; божество не похоже ни на одно существо; его нельзя узнать ни в каком образе; эти два положения мы находим в сочинениях Антисфена, они исчерпывают все известное нам содержание кинической теологии.

Во всяком случае их божество было очень бесцветным созданием их ума, сходным с «первопричиной» английских деистов. «Высшее существо» было для них не заботливым отцом,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

не карающим судьей, а всегда только мудрым мироправителем. Сколько-нибудь интенсивного отношения души киника к Богу нет и следа. Насколько верно такое утверждение, показывает безуспешность стараний открыть что-нибудь подобное. Якову Бернайсу очень хотелось бы признать, что это «самая чистая деистическая секта» древности, что эти предшественники и бессознательные пропагандисты библейских религиозных форм были затронуты духом последних. При этом для доказательства «сознания общения с Богом» и чувства мощи, отсюда «проистекающего», которым будто бы были исполнены киники, Бернайс не может привести ничего иного, как произвольное перетолкование очевидной шутки, приписываемой правильно или неправильно в числе многих других Диогену. Играя диалектическими приемами, Диоген хотел доказать, что мудрец никогда не завидовал никому в богатстве, потому что все принадлежит ему. Ибо «все есть собственность богов» (здесь киник становится на точку зрения народной религии!), «мудрецы — друзья богов; для друзей все общее; следовательно, всякая собственность принадлежит мудрецам». Ничего удивительного, что где самоудовлетворенность или чувство независимости считаются блаженством, там вместе с чувством зависимости падает основа всякого собственно религиозного чувства.\*

В отношении киников к народной религии нужно различать две фазы. Уже основатели секты относились с язвительным пренебрежением и к религии, и к ее культу, и к ее слугам. Говорят, Антисфен отклонил свое участие в приношении даров Матери богов (Кибеле), заявив, что он не сомневается, что боги исполняют их сыновний долг и позаботятся о своей матери. Орфическому жрецу, восхвалявшему потустороннее блаженство посвященных, он якобы сказал: «Почему же ты не умираешь?» И Диоген насмекался над Элевсинскими мистериями. «Вор Патекион (греческий Картуш) вернее достигает блаженства, нежели Агесилай или Эпаминонд, так как он принял посвящение в Элевсине».\*\* Однако как Антисфен, так и Диоген охотно углубляются в мифы и остроумно истолковывают их. Эти толкования были оставлены их преемниками. Свою полемику они направляли главным образом против созданий народной веры.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Наиболее деликатный вид ее есть пародия, с несомненным успехом примененная Кратетом и Бионом к поэмам Гомера. В руках сирийца Мениппа и его соотечественника Мелеагра \* пародия перешла в сатиру, в которой также осмеивались ходячие воззрения на жизнь и обычные взгляды на божества. Отзвуки этого мы встречаем у сатирика Лукиана, который хоть и враждебно относился к киникам, но часто у них заимствовал. Своей высшей точки это направление достигло в шумливых выпадах Эномая из Гадары, пропитанных «кинической язвительностью» (II век по Р. Х.). Киники смотрели на предсказания оракулов как на ложь и обман и в изречениях Дельфийского бога видели не только невежество, скрываемое двусмысленностью, но раболепство по отношению к тиранам, варварство, доходящее до человеческих жертвоприношений, и превознесение безнравственных поэтов и бесполезных атлетов.

Наиболее ярко проявляется киническое неверие в стихотворениях Керкида из Мегалополя (вторая половина третьего столетия до Р. Х.).\*\* Предметом нападок являются здесь не народные боги, не культ, не служители его, а вера в провидение. Бичуется несправедливость в распределении земных благ. «Глаз Дики» (богини справедливости) уподобляется глазу крота; «лучезарная Фемида помрачена». Подобно гетевскому Прометею, поэт сомневается, что есть «ухо», которое могло бы «выслушать его жалобу». «Что это за боги, которые не имеют ни глаз, ни ушей?» — гласят два стиха. Нет пощады и высшему из богов: «Кронид,\*\*\* создавший всех нас, для одних он отец, для других — отчим. Не ожидайте спасения свыше, создавайте сами свое счастье» — таков смысл этих строф, ибо и «земная Немезида» также божество. Все это указывает на социальный радикализм, который проникал тогда даже в придворные спартанские круги. И здесь с нами говорит не странствующий проповедник, а высокий офицер, государственный деятель аркадского города.

\* Менипп (втор. пол. III в. до н. э.) и Мелеагр (ок. 140—70 гг. до н. э.) происходили из Гадары (Сирия), философы-кинники, авторы сатирических произведений. (Прим. ред.) См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* Зевс, сын Кроноса. (Прим. ред.)

8. Если взять кинизм в целом, то получается разное впечатление, смотря по тому, обратим ли мы внимание на принципы секты, или на деятельность их членов, на ближайшие или отдаленные последствия всего движения. Этика школы была всецело индивидуалистической. Целью ее было личное счастье, которое основывалось на независимости от внешнего мира; независимость же достигалась выработкой суждения и закалением воли с помощью упражнения и отречения. Ни одно из сохранившихся изречений не говорит об общественном благе, на него указывает лишь образ Геракла, хотя его неустанные подвиги объясняли как борьбу со страстями, мешающими человеческому счастью. В действительности, однако, дружественное расположение к людям есть чувство, характерное для киников. Нам постоянно рисуется образ человека, вмешивающегося в толпу, избирающего преимущественно общество опороченных и опустившихся людей, усердно пекущегося о спасении их души (в самом точном смысле слова) и восклицающего: «И врачи находятся среди больных, но они не болеют»\* — фраза, напоминающая нам слова из Евангелия (Матф. IX 11 след.) Мы не можем установить степень влияния нравственной проповеди киников. Во всяком случае они содействовали уравнению пути для последующей, более смягченной и вместе более разносторонней формы этого направления и этим подготовили господство Стои в широких кругах общества. Так, по крайней мере, посредствующим образом кинизм содействовал глубоким изменениям в государственной и культурной жизни, и, прежде всего, замене множества республиканских государств одной монархией, а многобожия — монотеизмом. Неоспоримая заслуга кинизма для западной культуры заключалась в том, что он ввел в жизнь новые меры оценки, идеал ограничения потребностей, простоты и естественности, идеал, который, освободившись от присущих ему вначале примесей, стал прочным достоянием культурного мира. Стремление к наслаждению, к богатству, к власти не исчезло вследствие этого из человечества. Но присутствие антагонистического принципа, за который хватались, когда в этом была крайняя нужда, препятствовало исключительному и неоспоримому господству и всемогуществу этих инстинктов.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

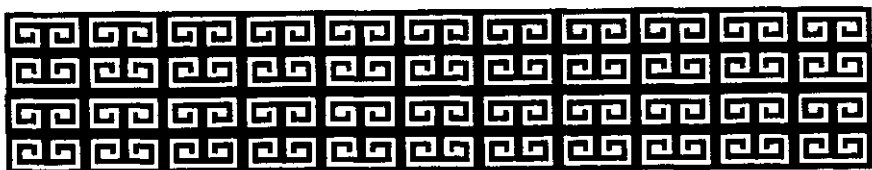
Таким образом, кинизм оказался ферментом здорового развития, тогда как полное осуществление их идеалов было бы величайшим несчастьем для человечества. «Ибо добро и зло не могут возникать отдельно; они смешаны...» — эти слова Еврипида относятся и к сократизму, величайшие преимущества которого и худшие стороны тесно связаны между собой. Учение, возвещавшее, что все человеческие установления и предписания нужно вести на суд разума и оценивать их с точки зрения целесообразности, полезности и спасительности, было очень благотворно. Однако выставление принципа обсуждения, провозглашение прав критики — это одно; а попытка положить критику в основу всех установлений, из судьи сделать ее творцом — это другое. Можно думать, что такая попытка будет всегда терпеть неудачу. Но успех ее совершенно исключался в ту эпоху, когда отсутствовали исторический опыт и сколько-нибудь углубленная психология. Здесь была несомненная опасность, что наиболее известные и заметные, но в общем менее важные выгоды оттеснят более существенные, но скрытые. Когда за образец брали животный мир или первобытного человека и хотели обрезать побеги культуры, то при этом касались многого такого, что было плодом долгого развития, продолжавшегося мириады лет.

Крайний случай объяснит нам сказанное. «Трапеза Фиеста»,<sup>18</sup> думал Диоген, не должна возбуждать в нас ужаса. Посмотрим, в чем тут дело. Помимо власти обычая, что удерживает культурного человека от вкушения тела сына, друга и вообще человека? Не голос совести, ибо это запретное деяние не приносит никому вреда ни посредственно, ни непосредственно. Очевидно, это происходит от глубоко коренящегося чувства страха, основывающегося, в конце концов, на ассоциации между почитаемой или любимой или просто уважаемой за свою человечность личностью и ее бездушной оболочкой, и эта ассоциация образовала крепчайшую связь. Как бездушный труп, так и просто неодушевленное может стать предметом жертвенного почитания, например, образа, гробницы, знамени. Если же я произвожу над собой насилие и разрываю эту связь, то я грубею, и все мои чувства испытывают потрясение; ведь они покрывают твердый пол голой действительности как бы богатым покровом цветущей жизни. На высокой оценке всего того, что



можно назвать приобретенными ценностями, основывается вся утонченность, все украшение жизни и вся грация, облагорожение животных страстей и, наконец, все искусство. Все это киники хотели безжалостно искоренить. Правда, нельзя не согласиться с ними и с их современными последователями, что есть известная граница, за которой мы не должны допускать власть этого принципа ассоциации, если не хотим подпасть суеверию и глупости. Мы порицаем того, кто покидает родной дом, в котором жили его предки и в котором он сам и его близкие много пережили. Но кто не может оторваться от стен, грозящих падением, того мы считаем суеверным и чувствительным выше меры.

Нелегко а priori провести границы сравнительной оценки этих приобретенных и первоначальных ценностей. Всякая, та или иная успешная классификация в великих вопросах человеческой жизни является почти всегда результатом компромисса, который заключается специфическим опытом между противоречивыми требованиями. В человеческих отношениях господствует крайняя степень сложности и в силу этого почти, как правило, всегда существует противоречие между ближайшим следствием и более отдаленными последствиями какого-нибудь установления или поступка. В силу этого совершенно невозможно решать моральные проблемы по образцу простых механических задач, вычисляя результат из взаимодействия причин. Всегда и повсюду такого рода радикализм оказывался бесплодным. Благородная нация порывает со своим прошлым и хочет приобщиться к свободе. Вместо этого она устанавливает равенство, и благодаря этому общество, распыленное вследствие разрушения всех связей, лишенное способности совместного действия и сопротивления, делается добычей деспота и затем употребляет целое столетие, чтобы повторить свой эксперимент. Из этого исторического правила кинизм не делает исключения, поскольку он немедленно хочет осуществить новый нравственный и общественный идеал. С другой стороны, как фактор среди других факторов, он обогатил мировое движение и оказал спасительное противодействие косным тенденциям узкого кругозора.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Мегарики и родственные им направления

1. На восточной стороне Афин недалеко от Диомейских ворот, на предгорье большой скалистой горы, называемой Ликабетт, находилось святилище, посвященное Гераклу, и гимнастическая школа для незаконнорожденных детей. Здесь в Киносарге,\* как бы под покровительством патрона киников, учил Антисфен. Предметом его поучений была, наверное, не только этика. Можно предполагать, что сюда входили и толкования Гомера, которые занимали такое обширное место в его сочинениях и усердно культивировались у киников. Кроме этого его занимала еще и теория познания в широком смысле слова. Эта последняя и связывала его учение с учениями других сократических школ, в особенности с учениями мегариков. И так как эти учения взаимно объясняют друг друга, тогда как у преемников Антисфена этика постепенно вытесняет все остальное, то нам кажется целесообразным выделить эту часть деятельности основателя школы из изложения кинизма и поставить в связь с мегариками и другими родственными им направлениями, идущими от Сократа.

С глубоким сожалением приходится констатировать необычайную скудость источников в этой области. Могучий гений и удивительный писательский талант Платона совершенно отгнали на задний план творения и учения его товарищей и соперников, которые остались в стороне от большой дороги. И Платон и Аристотель не только пренебрегали ими, но относились с презрением и насмешкой. Случайные замечания их обоих почти исключительно полемического характера. Им нет дела до исторической справедливости, им нужно лишь опро-

---

\* Так называлось место в Афинах и расположенный здесь гимнасий. (Прим. ред.)

вергнуть мнение противников, а не вводить читателя в круг их идей и занимающих их проблем. «Отсталые старики», «нищие духом», «Антисфен и люди подобного же невежества», «глупость», «вздор» — таковы эпитеты, которыми они наделяют этих философов и их учения.\* Но чтобы понять их и правильно судить, мы должны снять с них партийную окраску, проследить их происхождение, указать границы их влияния.

Авторитет Платона и Аристотеля оказал еще худшее действие: он лишил возможности быть справедливым. В наше время Герbart и его ученики оказались совершенно в таком же положении, как Антисфен и мегарики. Поэтому вполне естественно, что они представили и первую попытку беспристрастной оценки этой школы.

Прежде всего нужно познакомить читателя с Мегарой и тамошними мыслителями. Не лишено значения и то обстоятельство, что они получили название по имени своей родины. В известном смысле родина и происхождение определили их направление. Между Мегарой и Афинами издавна шла распря. В могуществе и влиянии Афины далеко превзошли свою соперницу. После многообещающего начала, когда Мегара выслала колонистов к Босфору и в Сицилию, основав Византий и вторую, гиблейскую, Мегару, наступила остановка и быстрое падение. Свирепствовавшая в то время борьба сословий сильно расшатала государство. Отголоски этой гражданской войны мы слышим в стихотворениях Феогнида.\*\* К несчастью, в Мегаре не было того, что в других местах спасало общество от бедствий классовой борьбы, — более длительного периода тирании.\*\*\* Неудивительно, что общение между соседними государствами было не очень дружеское. Мегарский крестьянин и мелкий буржуа \*\*\*\* всегда казались жителю больших Афин неуклюжими и коварными; афинские авторы комедий называли грубые неудачные шутки «мегарскими». Не было никакого сомнения, что такое отношение не оставалось безответным, и вражда питалась еще горечью безуспешного соперничества. Та-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Мегарский поэт втор. пол. VI в. до н. э.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\*\* Торговец и ремесленник. (Прим. ред.)

ким образом, как только философская спекуляция пустила здесь корни, Мегара стала центром оппозиции против Афин. Если великие афинские философские школы можно сравнить с победоносно движущимися колоннами войск, то мегариков можно назвать застрельщиками, которые постоянно окружают первых, беспокоят их тыл, затрудняют их движение вперед. Мегарские мыслители были всегда заняты тем, что выслеживали слабые места в творениях афинян и подвергали основательной критике догматические школы, аристотелевскую, стоическую и эпикурейскую. Может быть, в природном уме дорийцев \* с их склонностью к резким определенным суждениям в противоположность богатству ионийского духа можно видеть причину окаменелости понятий у первых сравнительно с подвижностью их у последних. Может быть, вкус к грубым и резким явлениям сделал этих авторов мужицких шуток избретателями неразрешимых загадок. Только к одному философскому направлению, родившемуся в Афинах, к секте киников, мегарики в общем относились скорее дружественно, чем враждебно, хотя и здесь не обошлось без стычек. Ведь киники — полугреки, пролетарии и космополиты — всегда внутренне были немного чужды афинскому духу. Критический метод, утвердившийся в маленькой дорийской области, распространился далеко за ее пределы и стал источником скептического направления, которое существовало под разными формами в течение многих столетий, мешая догматическому окостенению, подкапываясь под позитивные системы или принуждая их к перестройке, и таким образом сделалось фактором умственного развития, ферментом и коррективом, сыгравшим большую роль.

2. Основателем мегарской школы был Евклид.\*\* Он, по видимому, принадлежал к первому поколению учеников Сократа. Однако он испытал влияние не одного Сократа. Среди скудных известий, которые мы имеем о его взглядах, самое важное для нас то, которое приписывает ему соединение сократовских доктрин с элеатскими. Для Сократа добродетель

---

\* Господствующие слои населения Спарты, Мегар и Фив составляли дорийцы в отличие от ионийцев-афинян. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

едина, ее содержание есть просто благо. Элеаты объявили сущее единым. В уме Евклида оба учения слились. Единое сущее должно было стать тождественным с благом. Согласно достоверному сообщению, Евклид «давал различные названия единому благому, он называл его то прозрением, то божеством».<sup>19</sup> Только его он и считал сущим, не признавая существования противоположного, неблагого. Эти краткие сообщения требуют разъяснения и вызывают на размышления. И прежде всего здесь мы впервые встречаемся с тем, что отмечает спекулятивный характер всей последующей эпохи, а именно: стремление удержать сократовское учение, не довольствуясь, однако, им одним. Сократизм как бы хочет себя восполнить. Таким образом, его ученики и ученики последних начинают снова заниматься физическими и метафизическими спекуляциями, отброшенными учителем, и стремятся соединить их, где только возможно, с его этическим учением. Из этой потребности соединения этики с метафизикой возникает не только стоицизм, но и эпикуреизм; и долгая деятельность Платона не в малой степени определяется стремлением дополнить сократизм более ранними завоеваниями мысли (гераклитизм, элеатизм, пифагореизм). Отношение платоновских спекуляций к попыткам Евклида можно сравнить с отношением богато развитого организма с разнообразными формами к простейшему существу. Евклид только этизирует, если позволительно такое выражение, элеатскую метафизику и объективирует сократовскую этику. Благодаря этому не сократовская этика, а учение о Все-Едином обогащается, что не делает ее, однако, более плодотворной, но в известном смысле естественно завершает ее. Единое сущее было для Парменида преимущественно заполняющим пространство, а затем уже и мыслящим первосуществом; Мелисс возвысил его до существа чувствующего, притом чувствующего свое блаженство. Если сократик Евклид отождествляет его с благом и вместе с тем опять обозначает как божество, то не правильно ли будет сказать, несмотря на двусмысленность слова «благо», что к мысли и чувству присоединяют элемент воли? Элементы человеческой личности были изгнаны из представления мирового существа элеатов. Теперь к нашему удивлению они снова соединились, хотя и не образовали вполне жизненную личность. Мы узнаем непобедимую силу персонифицирующего влечения. Наиболее чуждая нам черта, отрица-

ние реальности зла, отождествление не-благого с не-сущим, имеет аналогии и вне древнего мира. Как раз Абельяру \* ставят в заслугу то, что он впервые в средние века «отделил от морального понятия добра» метафизическое понятие блага, отождествленного с реальностью, с помощью посредствующего понятия совершенства.\*\* Можно напомнить также гениальную попытку Августина «в зле видеть только одно лишение». Точно так же многими современными оптимистами зло считается лишь «видимостью». Даже мыслители самого последнего времени не всегда могли удержаться от искушения соединить две глубоко различные области морально хорошего и стойкого, или жизнеполезного. Это встречается у тех мыслителей, которые хотят основать этику на зоологии; при этом свойства, победившие в борьбе за существование, они смело отождествляют с нравственно хорошими.

Мегарики можно назвать новозлеатами. Новшество их состоит в том, что прежние мотивы мысли применяются к новой материи, к сократовской философии понятий. Это явствует из рассмотрения двух главных проблем, занимавших этих философов. Научный школьный язык называет их проблемами свойства и предикации. Двойкий вопрос: «Как один субъект может обладать различными предикатами?» и «Как один предикат может принадлежать двум различным субъектам?» Например: «Как дерево может быть одновременно зеленым, покрытым листьями, плодоносящим и т. д.?» и «Как одна зеленость может быть присуща многим деревьям, травам, рекам и т. д.?» Иными словами: «Как единство одной вещи соединимо с множеством присущих ей свойств и как множество вещей соединимо с единством одного свойства?» Двойной вопрос по существу один. Он касается отношения единства к множеству. Элеаты отрицали всякую возможность такого отношения. То же отрицали и мегарики, их преемники. Но мысль их предшественников была направлена на множественность во времени, на проблему смены и изменения; при этом они придерживались двух постулатов о материи, которые постепенно развились из естествознания физиологов.

\* Крупнейший представитель средневекового концептуализма, см. с. 167 II тома. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Прежде чем идти дальше, одно слово разъяснения — можно почти сказать, успокоения! Ведь многие из наших читателей, вероятно, не способны отделаться от впечатления, что это праздные, шуточные и софистические вопросы и что мегарские крючкотворцы хотели с помощью их одержать дешевые победы. Это впечатление совершенно неверно. Подобные вопросы интересовали древних также и помимо мегарской и старшей кинической школы. Проблема предикации, как мы увидим, была основным мотивом великого учения самого значительного греческого мыслителя — учения об идеях Платона. И после создания этой блестящей теории он не получил полного удовлетворения. Как могут многие прекрасные вещи быть причастными к единой красоте, без того чтобы эта последняя не была рассечена, расщеплена? — этот вопрос никогда не переставал беспокоить великого человека. Самые острые и глубокомысленные умы средних веков принимали участие в споре об общих понятиях и их отношении к единичным вещам. Спор этот оглашал залы Сорбонны и церковных собраний в двенадцатом, а затем и в четырнадцатом столетиях. В конце концов, он разделил весь образованный мир на два враждебных лагеря — реалистов и номиналистов. Можно было предположить, что только средние века разделяют в этом вопросе заблуждение древности. Но это неверно. Только несколько лет тому назад известный историк философии \* определенно высказался, что никоим образом нельзя отбросить эту проблему средних веков и смотреть на нее как на детскую болезнь, от которой мы совершенно излечились. И не только основной вопрос считается доселе нерешенным; даже его отрицательное решение в духе мегариков отстаивалось довольно влиятельной философской школой прошлого столетия, еще не исчезнувшей до сего времени. Согласно Иоанну Фридриху Гербарту (1776—1841) и его последователям, «сущее, как таковое, не может обладать не только многими признаками, но и одним признаком, от него отличным». Нам вполне уясняется тесное родство мегарской и элеатской доктрин, когда мы узнаем два основных противоречия, которые для Гербарта «проходят через все явления и все опытные по-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

нения: противоречие вещи со многими признаками и противоречие изменения».\*

3. Если, таким образом, у нас нет основания сомневаться в серьезности античных гербартианцев, то не излишне поближе присмотреться к источнику тех проблем, которые стали совершенно чужды для многих из нас. Они возникают при рассмотрении суждений, которые недавно были названы «контаминирующими» или «спаивающими». Это суждения вроде следующих: «Здание, находящееся передо мной, есть дом моего друга»; «Человек, которого я сегодня видел во сне, есть мой отец»; «Главный посредник между древней философией и современной образованностью есть римлянин Цицерон». Во всех подобных случаях предикат всецело приравнивается субъекту, отождествляется с ним. Слово «есть» играет здесь ту же роль, что в наших формулах знак равенства (=). Как только ум усвоит себе эту функцию связки, то удивление вызывает другой класс суждений. Мы имеем в виду все те суждения, в которых предикат обозначает свойство, приписываемое субъекту. Таковы выражения: «Этот лист (есть) зеленый» или: «Сократ (есть) музыкально образованный».\*\* Вполне естественно, что так как в обоих случаях употребляется одно и то же слово, то ему приписывали одинаковую функцию. Но тогда наталкивались на серьезное затруднение. Когда между словами «этот лист» и «зеленый» ставили знак равенства, получалась двоякая трудность. Ибо, во-первых, этот лист не только зелень, а во-вторых, зеленый цвет не есть свойство только этого листа. Пока эту форму суждения не различали строго от контаминирующего, возникала ложная видимость, будто здесь не остается места ни для какого другого свойства (как протяжение, форма и т. д.) и что свойство зеленого цвета (который в действительности присущ многим другим вещам) принадлежит исключительно ему. Применение слова, служащего для выражения тождества, в случаях, этому тождеству противоречащих, и заставило поставить двоякий вопрос: как возможно приписать одному субъекту много предикатов и одному предикату много субъектов?

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* В немецком, французском, итальянском, английском, латинском и греческом языках связка не опускается, как в русском. — *Прим. перев.*



Это сомнение было не первым, которому дало повод применение слова «быть». Оно же выражает прежде всего существование и вместе с тем продолжительность и постоянство в противоположность перемене и изменению всякого рода. Поэтому когда обращали внимание на постоянное изменение, которое чувственные вещи обнаруживают если не по существу, то на своей поверхности, и не замечали неизменной их основы, то были принуждены отказываться им в бытии или существовании в строгом смысле слова. Эта фаза мышления известна нашим читателям по элеатской школе. Здесь нужно напомнить об этом, чтобы стала ясна связь между древней проблемой изменения и вновь возникшей двойной проблемой. Приписывать бытие изменчивым свойствам воспринимаемых нами вещей казалось не вполне возможным даже и не элеатам. Двойное применение слова «есть», в смысле связки и в смысле постоянного существования, казалось, исключало возможность суждений, подобных следующим: «Этот лист (есть) зеленый», так как этим исключалось позднейшее пожелтение или покраснение листьев. Поэтому иные (например, Ликофрон, см. том I) просто опускали слово «есть» при предикции, а другие, чтобы избежать этой трудности, предпочитали выражения вроде: «Дерево зеленеет».

Что же касается вышеупомянутой двойкой проблемы, то, может быть, препятствие, связанное с языком, было довольно рано устранено тем соображением, что связка выполняет различные функции. Но рядом с затруднениями языка были и другие. Недостаточно было узнать, что в этих «суждениях свойства» или модифицирующих суждениях не происходило спаяния или слияния; возникал вопрос: что же в них происходит? Еще важнее этого отрицательного знания было позитивное дополнение, ответ на вопрос, что же является в действительности содержанием этих суждений, и по какому праву они произносятся. Можно было спросить: где та связь, которая связывает и объединяет многие качества, предикаты, атрибуты в одном субъекте? В чем состоит единство предиката, который приписывается многочисленным и часто крайне различным субъектам? Феноменалистические учения, с которыми мы встретимся, заставят нас остановиться на первом из этих вопросов. Значительно более развитая вторая проблема есть во-

прос предикации в тесном смысле слова. Нам необходимо здесь дать хоть краткий очерк главных фаз истории этих проблем.

4. Здесь снова привходит влияние особенностей языка. Мы уже много раз говорили об этом нашим читателям (см. том I). Тот факт, что абстракции обозначаются тем же классом понятий, что и объекты восприятия, именно существительными, указывает на свойство создателя языка уподоблять абстракции чувственным вещам. Мы говорим о белизне и о черноте, о тепле и холоде, как будто это вещи, а затем нам становится все труднее смотреть на них как на что-то неведущее. К этому присоединяется еще и то, что представления наивысшей ценности, исключительного достоинства не могут быть выражены иным образом, что мы говорим о добре и о справедливости, как говорим о голубизне или красоте. В конце концов, мы стоим перед дилеммой либо признать все подобное нереальным, либо более или менее вещественной реальностью, или сущностью. Теперь мы переходим к главному мотиву, так сказать, фактическому. Ум, занятый этой загадкой, невольно ставил вопрос: каким образом многие разнообразные вещи, лишенные прочного постоянства и уже потому малоценные, вещи, как бы лишенные истинного бытия, становятся обладателями общих свойств и в особенности всего того, что придает им однородность, закономерность и даже красоту. Этим уже подготавливался тот фон, на котором Платону могло вырисоваться его видение. Небо идей или общих реальных понятий встает сводом над миром чувственной видимости. Ум всеохватывающий, мало расположенный к созерцанию единичных вещей, живущий в отвлеченностях (метафизических, этических и математических), видит здесь истинно сущее, единственно реальное. Но этим дело не кончается. Отношение этих высших реальностей к низшим единичным вещам требует объяснения. Суть ли первые яркие первообразы, а вторые — бледные копии, или здесь можно говорить о присутствии идей в вещах, о причастности вещей к идеям? Эти и подобные вопросы неустанно подымаются и разбираются.

И вот ревностное обсуждение прерывается резкими возгласами противоречия. Громко выражают сомнение в реальности идей, воспринимаемых в вдохновенном созерцании. Единичная

вещь, приниженная, отодвинутая в царство теней, предъявляет притязание на полную реальность, она хочет, чтобы ее ценили больше, чем те бестелесные сущности, которых не видел смертный и за реальность которых не ручается ни одно точное умозаключение. Наступает реакция, которая не в малой степени черпает свои доказательства из правильного соображения, что тут имеют место ошибки, связанные с языком. Вы говорите не о вещах, а о названиях — так возражают архитектору, воздвигшему ввысь уходящее здание блестящей теории. Мы видим лошадей и людей, мы знаем сладкие яства, мы знаем кубки и столы, но лошадности, человечности, сладкости, кубкости, столости мы не знаем. Так возражали Антистен и его друг Феопомп.\* Эту реакцию против «реализма» назвали «номинализмом», который впервые возник в четвертом веке. У него уже были предшественники; мы указывали на интересные замечания Антифонта (см. том I). Трезвый рассудок, отвращение от всякой мечтательности, может быть, также сила индивидуального чувства, для которого отдельная личность и отдельное существо являются выражением полной действительности, все это вместе могло содействовать указанной выше реакции. Киникам не свойственно было искать примиряющего решения, они всегда решали вопрос радикально, были чужды всякому компромиссу, — вспомним их мораль и их учения о государстве и о божестве. Насколько спор обострялся личным раздражением Антистена к Платону, выразившимся в яркой полемической брошюре «Сатон», в которой не щадились имя великого противника, нам трудно это сказать; мы не знаем даже, кто из них начал нападение. С другой стороны, мы имеем возможность указать на обстоятельство, объясняющее его номинализм. При посредстве ли своего учителя Горгия, бывшего учеником Зенона, или иным путем, но Антистен испытал на себе влияние элеатов. Согласно вполне определенному указанию Платона,\*\* Антистен разделял основное воз-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Ссылка Т. Гомперца на Диогена Лаэртского здесь, по-видимому, неточна, поскольку у Диогена речь идет о споре Диогена Синопского и Платона. (Прим. ред.)

зрение этой школы о несовместимости единства и множества.\* Но именно потому, что он не мог оспаривать этой главной методологической предпосылки элеатов и не мог в то же время согласиться с их главным принципом о нереальности отдельных вещей, ему не оставалось иного выхода, как принять номинализм. Ибо, так как он не считал соединимым единство одного свойства или одного общего понятия со многими отдельными вещами, бывшими для него реальными, то ему пришлось отрицать и реальность общих понятий, как элеаты отрицали реальность отдельных вещей.

5. С этим решением того, что я называю вопросом предикации в тесном смысле слова, близко связывается решение другого вопроса, который при рассмотрении его с метафизической точки зрения называется проблемой присущности: утверждение, что к одному субъекту нельзя применить многих предикатов, даже одного предиката, отличного от него.

Нам вполне определенно сообщают, что Антисфен признавал лишь такие суждения, в которых субъект и предикат тождественны. Другими словами, он допускал лишь суждения тождества,\*\* т. е. суждения, подобные следующим: «Сладкое сладко», «Доброе добро». Мы в изумлении. Как? Мыслитель, написавший много сочинений, проповедовавший разнообразное учения, отвергал будто бы такие формы высказывания мысли, которые заключают в себе действительное поучение, и допускал лишь вполне бессодержательные, не двигающие нас ни на иоту, а позволяющие лишь топтаться на месте. Объяснение этого следующего.

\* Однако в данном месте Платон не только не упоминает Антисфена, но и по своему смыслу фраза направлена скорее против мегариков. Это подтверждает А. Ф. Лосев в примечании к данному месту «Софиста». (В кн.: Платон. Сочинения в 4 т. Т. 2. С. 495, прим. 33), указывая на место из «Физики» Аристотеля, в котором Стагирит выступает против софистов (V 2 185в 25—30, пер. В. П. Карпова). (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. Указанное место Аристотеля звучит следующим образом: «...Сам предмет и он же вместе со своими свойствами — это некоторым образом одно и то же... Поэтому Антисфен был чрезмерно простодушен, когда полагал, что об одном может быть высказано только одно, а именно лишь его собственное наименование...» (Метафизика V 29 1024в 30—35, пер. А. В. Кубицкого). (Прим. ред.)

Антисфен говорил об определениях.\* Определением было для него положение, которое объясняет, «что есть или чем был» объект определения. Аристотель при установлении своей метафизической терминологии примыкал к этому антисфеновскому определению. При этом Антисфен делал различие между простыми элементами знания и их комплексами. Те, которые он уподоблял элементарным звукам, он считал недопускающими определения при посредстве понятий. О них нельзя высказать никакого «что». Они суть объекты восприятия, а не знания в узком смысле слова. Можно лишь напомнить каждому о его собственном опыте и заставить узнать новое, до сих пор ему чуждое, только указывая на сходство с другими доступными ему опытами. Если, например, хотят познакомить человека, не видавшего серебра, с его цветом и блеском, то говорят, что оно «как цинк». Иначе обстоит дело с комплексами элементарных восприятий, которые он сравнивал со слогами. Для того чтобы отдать себе отчет в последних, нужно обратить внимание на их составные части. То же самое и при комплексах опыта. Они суть «объекты познания» в собственном смысле слова. Познание их состоит в том, что рассматривают элементы, из которых они состояются. Их попросту перечисляют, и в результате получается длинная «речь». По-видимому, последнее слово заключает в себе некоторую насмешку. Антисфен иронизирует над тем значением, которое Сократ и некоторые сократики придавали определениям. О том, что лежало в основе этого комплекса восприятий, о его трансцендентной реальности, выражаясь современным языком, такое определение ничего не говорило. Подобных вопросов во вкусе некоторых современных номиналистов Антисфен, по-видимому, совершенно не затрагивал. Не обратил он также внимания на различие между атрибутами, присущими какой-нибудь вещи, и такими, которые относятся к ней более внешним образом или случайно. Всякое новое приращение опыта он считал уже заложенным и воплощенным в значении названия, т. е. уже заключающимся в нем. Теперь нам понятно, как он мог выставлять и применять положения, которые содержат новые знания, и в то же время объявлять их тождественными суждениями. Предположим, на-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

пример, будто только что сделано открытие, что киты, несмотря на их форму, напоминающую рыбу, не кладут яиц, а производят на свет живых детенышей. Он тогда вместил бы этот вновь открытый атрибут в определение названия кита, а затем уже суждение: «Киты (т. е. рыбообразные живородящие животные) производят живых детенышей...» справедливо считал бы тождественным. Так же и в суждении: «Все люди смертны». Смертность он считал составной частью значения слова человек. Таким образом суждения, которые мы называем синтетическими, могли превращаться для него в аналитические.\*

Отсюда же получает освещение и другое учение, приписываемое Антистену. Он будто бы утверждал, что противоречие невозможно.\*\* Если два лица употребляют одно и то же название, то возможны два случая. Либо они употребляют его в одном и том же смысле, с одинаковым и полным знанием его содержания, тогда и их мнения, основываемые на этом знании, должны совпадать; либо они высказывают различные мнения о разных вещах, и тогда противоречия тоже нет. Только до этого пункта мы и можем с некоторой долей достоверности проследить антистеново учение о познании. Идти дальше нам мешает скудость материала, ибо разобраться в платоновых намеках и строго отделить исторически верное от прибавок и вставок поэта-философа необычайно трудно. Из вышесказанного нам делается понятным сообщение, согласно которому в основу теории познания Антистен положил исследование наименований. Но это совершенно не дает нам права мыслителя, исходящего, конечно, из элеатских предпосылок, превращать в сторонника антиэлеата Гераклита, номиналиста, противопоставляющего названия сущностям, — в представителя естественной теории языка, которая считала названия вещей самыми верными их изображениями.

6. Мы не будем долго останавливаться на оценке этих заключений. Их слабые и сильные стороны достаточно ясны. Нежелание заниматься исключительно исследованиями поня-

\* Различение синтетических и аналитических суждений см. в «Критике чистого разума» И. Канта. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

тий не было само по себе злом. Скажем яснее, исключительное господство этого метода было как нельзя более способно вызвать те печальные последствия, которые справедливо порицает Аристотель (см. том I). Высшая цель всякого научного стремления есть познание миропорядка в самом широком смысле слова, прозрение в закономерную последовательность и сосуществование фактов, физических и психических. Учение Антистифена есть маленький шаг в этом направлении; так как наибольшее значение он придавал связи ваниям фактов опыта, а не его элементам, и всякий вопрос о сущности этих элементов, выходящий за пределы опыта, отодвигал на задний план. Таким образом, менее плодотворное онтологическое исследование было отодвинуто в сторону в пользу исследования эмпирических связей. Правда, форма, в которой произошел этот прогресс, если его позволительно так назвать, дает повод для некоторых сомнений. Номинализм вообще легко создает ложное представление, будто наука, в сущности, есть не что иное, как, говоря словами Кондильяка, «правильно развитый язык» (*une langue bien faite*). В вышеприведенном примере наиболее важное есть познание, что рождение живых детенышей связано у этих животных с рыбообразным видом, а не название их, образованное на основании этого познания и как бы усвоившее его себе. Если не предпосылать этого синтеза вначале, а только принимать его между прочим, растворять его в названии и подчинять позже производимому анализу, то впадаешь в грубую ошибку. Поэтому нельзя рассчитывать на то, чтобы эта теория могла достойно оценить факты и аргументы и уделить подобающее им место в голове исследователя. Но зло еще глубже. Если даже номиналист прав в своем протесте против гипостазирования или опредмечивания общностей или универсалий, все же ему всегда можно возразить: если вы находите только названия там, где ваши противники видят сущности, то применение этих общих названий не вполне произвольно; тут сказывается внутренняя или внешняя принудительность, и на вас лежит обязанность объяснить ее. В средние века Петр Абеляр (1079—1142) хотел удовлетворить это требование установлением среднего направления между реализмом и номинализмом — концептуализма. Согласно этой теории общим названиям субъективно соответствуют общие понятия, объективно — однородности или схожести вещей. Этот взгляд (позд-

нее защищаемый Локком) восстанавливает обычное непредвзятое понимание вещей и освобождает его от чуждых прибавок. Но мышление не успокоилось окончательно и на этом. Теперь, когда мы ближе присмотрелись к общим понятиям, выступает новый вопрос (впервые ясно сформулированный епископом Беркли): можем ли мы в действительности образовывать такие общие понятия или то, что мы считаем таковыми, суть только смешанные продукты многих отдельных представлений, возникающих из восприятий, или же в каждом случае это есть одно представление, в котором мы, отбрасывая все особые черты, видим представителя целого класса, членом которого оно является? Таким образом, из этого глубокого источника возникают все новые проблемы, продолжающие занимать умы исследователей. Если мы так долго остановились на них, то это для того, чтобы по возможности устранить впечатление, будто парадоксальность этих ранних выводов являлась результатом любви к парадоксам и эффектным построениям.

7. Когда двое делают одно и то же, то получают разные вещи. Невольно вспоминается это положение, когда сравниваешь Антисфена с мегариками. Он был эмпириком, исходящим из основной методологической предпосылки элеатов; они были противниками эмпирии, принимавшими принципы элеатов. С ним они соглашались в отрицании соединимости единства и множества и в вытекающих отсюда выводах, но кроме этого ни в чем ином. О сближении младших представителей обоих направлений пойдет речь впоследствии. Мегарики стали наследниками элеатов еще и потому, что занимались диалектикой, основанной Зеноном,\* той диалектикой, которой противники ее дали бранную кличку эристики. Эта сторона их деятельности была наиболее заметной и придала мегарской школе специальный отпечаток в глазах всего мира. Мотивы, которыми они при этом руководились, во многих случаях совершенно неизвестны. Главный мотив был без сомнения тот же, который руководил Зеноном в его деятельности: желание вскрыть противоречия (говоря языком Гербарта) в опытных понятиях. Приобретенные таким способом ловкость и искусство

\* Зенон Элейский, ученик Парменида. См. также коммент. ред. № 9.



оказались выгодными и для полемических целей, а затем удольствие во вскрытии двусмысленностей выражений и неясностей мышления могло стать и самостоятельным мотивом. Таким образом, эти мыслители, не обладавшие ни богатством интересов, ни многосторонней плодovitостью, стали малопомалу строгими, почти застывшими формалистами, метко и безжалостно раскрывающими словесные и мыслительные недостатки чужих теорий. Они стали воспитателями в логике, критики которых боялись Эпикур и Зенон,\* и стремление которых к тягостной точности часто ощущалось творческими натурами как нестерпимое иго.

Во главе этих петушинных спорщиков стоял известный своей кротостью Евклид.\*\* Это не мешало, однако, его критической зоркости. Он провидел слабость Сократовой индукции и возражал против этого метода сравнения. По его мнению, либо сходство доходит до полной тождественности, и тогда лучше делать выводы из самой вещи, чем из объектов сравнения; либо тождественность только частичная, тогда сравнение ведет дальше, чем следует, и, прибавим от себя, вводит в заблуждение. Таким образом, чтобы осветить абстрактный принцип конкретным примером, он предпочел бы, чтобы требование знания своего дела правителем государства выводилось из относящихся к этой области фактов, а не из хромающего сравнения со сходными или с совершенно отличными специальностями врачей, рулевых, земледельцев и т. п. (см. ранее). Кроме этого, о его методе мы знаем лишь то, что он предпочитал оспаривать выводы своих противников, а не их предпосылки. Это сообщение свидетельствует во всяком случае о том, что полемика и в его сочинениях, написанных в диалогической форме, уже занимала много места. Из учеников его наиболее известен Евбулид.\*\*\* О сочинениях последнего совершенно не упоминается, а потому можно думать, что он выступал исключительно в качестве учителя. Среди его учеников называют оратора Демосфена и историка Евфанта. Он считается автором нескольких известных загадок, к подробному рассмот-

\* Зенон Китийский, основатель Древней Стои. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

рению которых мы теперь и переходим. Для нас, рано пресыщающихся логической и грамматической пищей, многие содания древнего остроумия кажутся пресными и безвкусными. Мы слишком легко готовы предполагать намеренное пренебрежение различий, которые для нас обычны, но в то время еще не были установлены и признаны.

Прежде всего Евбулида занимали те аргументы, посредством которых он, подобно Зенону, освещал затруднения мысли, связанные с представлением о чувственном мире. Здесь нужно указать на рассуждение о куче (сорит), производившее сильное впечатление на современников.\* Остроумный логик Хрисипп \*\* написал о нем целое сочинение, состоявшее из трех книг, не одолев, как кажется, заключающихся в нем затруднений; да и Цицерон оказался здесь беспомощным. Вопрос заключается в следующем: если два зерна пшеницы составляют небольшое число зерен, разве нельзя того же сказать о трех? Если о трех, почему не о четырех? И так далее, пока не доходят до десяти. Тогда спрашивают: возможно ли, чтобы десять зерен составляли кучу? Другой вид того же силлогизма известен под названием «лысина». У кого лысина? Ведь не у того, кто потерял один волос, два волоса, три, четыре и т. д. Если мы — так гласило рассуждение — не доходим до кучи прибавлением единицы, или до лысины — убавлением единицы то как вообще возможен такой переход? Силлогизм, имевший у стоиков название, которое мы можем передать словами «закон постепенности», выражался, как мы узнаем от Цицерона, многочисленными примерами противоположностей, богатый и бедный, известный и неизвестный, длинный и короткий, широкий и узкий т. д. В глазах автора рассуждение это имело самое серьезное значение и считалось новым аргументом в пользу противоречивости опытных понятий не менее чем сходное с ним рассуждение о просовом зерне, уже известное нашим читателям (I 168). Аргументация эта кажется нам заслуживающей внимательного рассмотрения. Чтобы правильно судить о ней, надо различить два класса случаев. Мы можем тотчас

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* Хрисипп (ок. 280—ок. 204 гг. до н. э.) — представитель Древней Стои. (Прим. ред.)

же уяснить себе это различие на главном примере нашем — на куче. Если под кучей следует понимать беспорядочное и неподдающееся учету накопление, то эта беспорядочность и невозможность учета составляют качество, которое допускает различные степени. В этом смысле вопрошающему можно легко ответить: это качество убывает и прибывает соответственно убыли и прибыли предметов; совокупность будет все запутаннее с присоединением всякой новой единицы, будет доступнее учету с убавлением всякой единицы, она будет, следовательно, более или менее кучей. Если же нужно определить понятие кучи точнее, то под ним можно подразумевать такую совокупность, в которой нельзя, на первый взгляд, определить число составных единиц. При таком определении, конечно, если не для всех индивидуумов и не при всяком состоянии, то, по крайней мере, для определенного индивидуума при определенном состоянии существует абсолютная граница, когда накопление становится кучей или перестает быть таковой. Для индейца бакайри, который прибегает к помощи своих пальцев, когда он считает до трех, эта граница, конечно, совершенно иная, чем для экспериментатора, привыкшего к подобным наблюдениям, или для тех феноменальных счетчиков, которые, как Дазе, способны с одного взгляда сосчитать несколько дюжин.

В первом случае ошибочность умозаключения основывается на том, что сама речь невольно соблазняет нас смотреть на постепенные различия как на абсолютные. Подобное же затруднение имеется и во втором случае. Ибо упомянутый выше факт, что одна и та же совокупность предметов для А будет кучей, а для Б не будет таковой, составляет непреодолимую трудность для неопытного мышления, находящегося в тисках языка и ищущего предметного бытия за каждым словом. Но и помимо этого есть и еще затруднение. Оно почти тождественно с тем, которое мы уже встречали в аргументе с просяным зерном. Можно с полным основанием удивляться тому, что количественное различие, от которого можно было ожидать, как в бесчисленных других случаях, что оно будет восприниматься только в различной степени, в известном пункте нарастания внезапно превращается в отличие качественное и создает нечто совершенно новое. В одном случае в результате усиленного сотрясения воздуха наступает не бывшее раньше

звуковое ощущение; в другом, вследствие увеличения числа пшеничных зерен, исчезает прежнее свойство, допускавшее счет их с первого взгляда. Такие факты заставляют обратить наше внимание на удивительное явление, противоречащее обычным аналогиям и потому сбивающее с толку еще не окрепшее мышление, явление, при котором исключительно количественное изменение влечет за собой качественную перемену ощущения, способности суждения и даже чувственного состояния. Ведь удовольствие можно таким же образом превратить в страдание; например, нежное щекотание посредством усиления может превратиться в невыносимое, а приятную теплую ванну постепенным нагреванием можно сделать мучительной.

Наконец, нужно вспомнить еще и то, что субъективный и относительный элементы (как мы уже указывали) и при нашем понимании противоположностей, о которых идет речь, великого и малого, богатства и бедности и других играют решающую роль. Мы ведь очень различно судим о большом и малом или богатстве и бедности. Благодаря этому нам еще труднее ответить на вопрос, в каком пункте прибавления или убавления можно приписать данному предмету тот или иной предикат. Но трудность немедленно исчезает, когда на место положительной степени мы ставим сравнительную; ибо вещь или лицо будет богаче или беднее, больше или меньше, шире или уже, смотря по убавлению или прибавлению хотя бы одной соответствующей единицы.

Не метафизическое, а логическое затруднение заключает софизм, известный под именем «лжеца».\* Он гласит: «Если кто-нибудь лжет и сам утверждает, что лжет, то лжет ли он в этом случае или говорит правду?» Получается впечатление, что он делает и то и другое и как раз это-то и признавалось логической невозможностью. По первому побуждению нам хочется сказать, что его утверждение о ложности утверждения истинно, а само утверждение ложно. Если дело идет не об одном ложном утверждении, а об обычной лжи, то можно ответить вместе с Аристотелем: ничто не мешает предположению, что он обычно лжет, а в этом определенном случае (со своим утверждением о лжи) говорит правду. Но трудность —

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

по крайней мере в первом случае — лежит глубже. Мы должны спросить себя: можно ли назвать ложным утверждение, которое сам говорящий характеризует как ложное. Для этого следует отдать себе ясный отчет в понятии лжи. Его нужно разложить на элементы. Таковых два: несоответствие истине и намерение ввести в заблуждение. Первое имеется налицо в указанном случае, второе отсутствует. На греческом языке слово «ложно говорить» менее подчеркивает субъективный момент намерения, чем в русском и немецком языках слова «лгать», «lügen»; тем более нужно отличать несоответствующее истине содержание от его свойства вводить в заблуждение. Фраза содержит в себе неправду, но сопровождающее ее признание лишает ее возможности оказать обычное действие. Обычно связанные элементы слова «лгать» в данном случае разъединены. В этом разъединении их и заключается оригинальность данного случая. Можно почти сказать, что указанное сообщение, исходя из уст говорящего как неправда, не входит таковым в уши собеседника. Таким образом, вопрос этот не допускает простого ответа, а лишь ответ со многими оговорками. Из того, что Хрисипп и Феофраст писали толстые книги об этом софизме,\* мы можем заключить, что для того времени рассуждения, подобные вышеприведенным, давались нелегко. Тогда не относились так недоверчиво к языку, как теперь, когда в словах мы так редко находим адекватное выражение фактов. В те времена, наоборот, господствовала наивная вера, что сфера понятия и сфера применения соответствующего ему слова всегда совпадают. Ведь с таким же основанием мы могли бы ожидать, что политические границы не только часто, но почти без исключения совпадут с естественными.

Приблизительно такого же рода и софизм, называемый «Электра» или «Покрытый».\*\* Если же Электру, героиню трагедий того же имени Софокла и Еврипида и «Хозфоров» Эсхила, спросили, знает ли она или не знает своего брата, выросшего вдали от нее и стоящего теперь перед ней, то в обоих случаях ответ ее оказался бы ложным. Ибо если бы она ответила отрицательно, то ей можно было бы возразить, что она знает

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Ореста, так как она знает, что он ее брат; в случае утвердительного ответа ей можно было бы сказать, что она не знает Ореста, так как она не знает, что человек, стоящий с ней рядом, есть Орест. В одном случае под знанием Ореста понимается знание родства с ним, в другом случае отождествление его с присутствующим человеком. Запутывающим обстоятельством является то, что знание родственных отношений и знание внешнего облика братьев обычно идет рука об руку. Одним из видов того же силлогизма является софизм «Покрытый». Рядом со мной стоит, скрытый под покрывалом, мой отец, и я должен ответить на вопрос, знаю ли я моего отца. Ответ в обоих случаях будет оспариваться. Здесь в одном случае знание обозначает знание предмета, в другом случае — знание о его присутствии. И здесь двусмысленность усиливается тем, что все знакомое нам обычно узнается, здесь же этому узнаванию поставлено препятствие. И этот легко раскрываемый софизм очень занимал и современников, и последующие поколения. Это является из того, что Эпикур в одном гносеологическом отделе своего главного сочинения «О природе» восстает против «Софиста», где приводится «Покрытый».

Еще один софизм известен под названием «Рогатый». «Ты уже потерял рога?» — «Нет». «Значит у тебя есть рога, ибо то, чего ты не потерял, у тебя есть». Более убедительно звучит этот же софизм в другой формулировке: «Перестал ли ты бить своего отца»? Вначале спрашиваемый протестует против предположения, заключающегося в вопросе, но его убеждают ответить да или нет. Полученный ответ истолковывается как признание. Ибо если ответ гласит: «нет», значит, он продолжает его бить, так как ему не позволяют прибавить объяснение: «Я только потому не перестал, что никогда и не начинал его бить». И эта диалектическая игра не вполне лишена значения. Она по крайней мере научает нас, что существуют вопросы, на которые нельзя отвечать просто да или нет, не вызывая невольно ложного представления. Такие вопросы не бессмысленны, но они вводят в заблуждение.\* Обыкновенно в действительной жизни можно спрашивать и отвечать лишь на такие вопросы, которые основываются на чем-нибудь реальном. Когда

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

отрицают потерю какого-нибудь предмета или прекращение деятельности, то при этом молчаливо предполагается, что перед этим им обладали или что деятельность проявлялась. Так например, вопрос: находится ли Наполеон в соседней комнате? и вполне правильный отрицательный ответ как бы заключают в себе предпосылку, что дело идет о Наполеоне, живущем в этом доме, или по крайней мере о живом, а не давно умершем. Смещение полного отрицания с таким, которое отчасти заключает в себе также и утверждение, встречается и теперь в философских рассуждениях. Именно игнорирование этих различий (мы, может быть, будем иметь случай показать пример его) позволило наполнить незаконным содержанием самое по себе совершенно бесплодную аксиому «об исключенном третьем» и таким образом сделать ее источником произвольных метафизических предположений.

8. Последний софизм под названием «Рогатый», приписывается Алексину,\* одному из самых воинственных мегариков, которого в шутку называли Эленксином (от греческого слова *élenchos* — опровержение). О его остроумной и серьезной критике учения стоика Зенона мы еще будем иметь случай говорить. Стилльпон,\*\* современник киников, Кратета и Метрокла, старше Алексина. Из всех мегариков он вместе с основателем школы Евклидом был наиболее известен и благодаря качествам своего характера пользовался всеобщим уважением. Среди товарищей по школе он один вновь поднял вопросы этики и заявлял, что целью жизни должно быть полное бесстрастие (*arátheia*). Если здесь он приближался к киникам, то все же отличался от них тем, что не чуждался ни общественной, ни семейной жизни и вполне заслуженно прослыл у современников за светского человека. Наше знание о нем совершенно не соответствует его славе в древности. Монархи того времени, особенно первый Птолемей, высоко чтити философа: «Вся Эллада смотрела на него»; «Когда он пришел в Афины, то ремесленники оставляли свои мастерские, чтобы поглядеть на него»; «На него смотрели, как на диковинного зверя». Нам сохранилась лишь небольшая фраза одного из девяти его диалогов (лишенных внешней красоты): «Тогда Метрокл обру-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

шился на Стыльпона». Даже эти слова не лишены для нас значения. Мы узнаем из них, что он сам выступал в своих диалогах (или по крайней мере в некоторых), чего никогда не встречается у Платона. Этим родом диалога, бывшим также аристотелевским, пользовался и киник Диоген: иначе в своем диалоге «Пантера» он не мог бы рассказать об изречении Дельфийского оракула, к нему относящемуся (ср. с. 142). Еще в одном пункте Стыльпон напоминает Диогена. Как последний назвал один из своих диалогов «Ихтий» по имени одного члена мегарской школы, так Стыльпон озаглавил упомянутый диалог по имени киника Метрокла. В обоих случаях задачей, без сомнения, являлось опровержение чужой школы. Едва ли этот спор был ожесточенным; отношение обеих школ, несмотря на некоторые трения и насмешки Кратета над Стыльпоном, в его философской пародии не было враждебным.\* Во всяком случае, оба последних философа стояли достаточно близко друг к другу по своим учениям. Зенон, основатель Стои, был по крайней мере учеником и Стыльпона и Кратета. В нем оба эти направления, уже раньше значительно сблизившиеся, вполне сливаются. Этому слиянию способствовало и то обстоятельство, что Стыльпон, исходя из элеатско-мегарских предпосылок, пришел в области теории познания к тем же отрицательным результатам, какие принимались в кинической школе со времени Антисфена.

Проблема предикации также очень его занимала и, подобно Антисфену, он пришел к отрицанию самой ее возможности. Подобно Антисфену же, он оспаривал субстанциальное бытие родовых понятий, причем не только в том виде, какой это учение приняло у Платона, но в самой общей форме.\*\* Нам необходимо еще раз постараться детальнее уяснить нашим читателям трудности проблемы, как они понимались на тогдашней ступени интеллектуального развития. Мы не разбирали еще того случая, когда предикат выражался не прилагательным, а существительным. Именно здесь язык наиболее проявляет свою магическую силу. Два суждения: «А есть человек» и «В есть человек» производили впечатление, как будто бы А и В вполне отождествляются друг с другом и сливаются в одно существо.

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



С недоумением останавливались перед вопросом: «Если оба положения правильны, то как возможно, чтобы А и В были двумя существами и как могут они быть еще чем-нибудь, кроме того, что каждый из них человек?» Разве можно упрекать Стильпона, что его не удовлетворяло аристотелевское решение проблемы, согласно которому общая сущность «человек» была присуща индивидуальному человеку как «вторая субстанция». Для него всякое такое предцирование казалось столь же невозможным, как и для Абеяра, который объявил чудовищным предикацию вещи вещью (*rem de re praedicari monstrum*). Он думал, что словами «есть человек» ничего не говорится. Ибо этим одного человека обозначают так же, как другого, а следовательно, ни того, ни другого, — т. е. вообще никого. Ему казалось также, что Сократ как индивидуум благодаря двум суждениям: «Сократ сед» (т. е. он тождествен седому) и «Сократ музыкален» (т. е. тождествен музыкальному) раскалывался на два существа. Было большим счастьем для мегарской школы, что именно эти крайние парадоксы были провозглашены Стилпоном: безусловное уважение всего древнего мира спасало его от подозрения, что здесь была лишь игра остроумия. Наоборот, он боролся с серьезными затруднениями, которые занимали всю его эпоху, а также часть средних веков, затруднениями, которые возможно осилить только подойдя к самим феноменам и вполне освободившись от господства языка. Позитивным фоном для этих отрицаний, если верить свидетельству надежного источника, служила все та же элеатская доктрина о Все-Едином, так что нелепости, которые, как ему казалось, он открывал в эмпирическом мире, служили как бы подтверждением этого учения.\*

9. Но возможно и то, что явления и отношения эмпирического мира он хотя и находил непонятными, но не считал благодаря этому нереальными. Таково было, по-видимому, мнение его современника и товарища по школе Диодора, прозванного Кроносом.\*\* Что означает, например, когда он, говоря о каком-нибудь движении, допускает выражение: «Оно произошло», а не позволяет сказать: «Оно происходит». Ясно,

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

что он признает движение как факт, но отрицает его мыслимость или постигаемость. Этому же диалектику приписывается корпускулярная теория, противоречащая одной из основных элеатских доктрин, принятие неделимых частиц; однако вероятнее, что Диодор выставил эту теорию лишь как гипотезу, чтобы, исходя из такого предположения, оспаривать постигаемость движения. Аргументы его, относящиеся к этому вопросу, в действительности мало разнятся от аргументов Зенона и поэтому мы можем их пропустить. Однако есть одно исключение. К несчастью, эту новую аргументацию довольно трудно понять и сообщение нашего единственного источника не лишено неясностей. Доказательство начинается с установления различия между чистым или сплошным движением и преобладающим движением какой-нибудь массы и с утверждения, что последнее необходимо должно предшествовать первому. Исходят из предположения, что две частицы массы движутся, а третья неподвижна. Тогда стремление третьей к инертности пересиливается движением двух первых. Затем четвертая покоящаяся частица приводится в движение тремя предшествующими, находящимися в движении. Это движение четырех частиц вызывает к движению пятую, и процесс повторяется, все усиливаясь, пока вся совокупность десяти тысяч частиц, образующих массу, не будет охвачена движением. Заключение аргументации гласит: «Нелепо было бы сказать, что тело приводится в движение (преобладающим количеством частиц), когда 9998 частиц его (вначале) находятся в покое и лишь две частицы движутся». Таким образом, Диодор считает описанный процесс потому несоответствующим здравому смыслу, что не большее количество получает здесь преобладание над меньшим и осиливает его, а наоборот — ничтожная часть осиливает большую. Если таково действительно его воззрение, то механические взгляды, лежащие в основе его, можно назвать просто детскими. Изображенный им процесс совершенно не устраняет возможности движения, наоборот, он дает правильную картину распространения его от одной точки и постепенного нарастания движения. И нет ничего нелепого в предположении, что импульс, оказывавший непосредственное влияние на две или даже на одну частичку массы, достаточно силен для того, чтобы преодолеть силу инерции огромного числа подобных же частиц, или что это действие является результатом не столько силы

этого первого толчка, сколько отсутствия прилипания или трения в связи со скрытым стремлением покоящейся массы к движению. Вспомним о падении лавины, при котором толчок совершенно ничтожен и все же совершенно достаточен, чтобы вызвать движение массы рыхлого снега, лежащего на косой поверхности. Или, может быть, трудность для Диодора заключалась в вопросе, как мыслима передача большой массе импульса движения, выражающегося вначале движением нескольких частиц и этим исчерпывающегося для восприятия? Но ввиду скудости единственного имеющегося у нас сообщения совершенно напрасно строить разные предположения, а тем более входить в обсуждение самой проблемы и тех трудностей, которые могли представляться на тогдашней ступени науки.

Гораздо важнее аргумент Диодора, направленный против понятия возможности.\* Мы начнем с вывода, а затем уже разберем аргументацию. Цицерон пишет однажды своему другу Варрону, иронизируя по поводу этого учения: «Знай, что если ты меня посетишь, то твой приход будет необходимостью; в противоположном случае твой приход принадлежит к числу невозможных вещей». Возможным было для Диодора только действительное; все недействительное нельзя даже назвать возможным. Что около этой парадоксальной темы возник ожесточенный спор, что тесная связь ее со всеми вопросами свободы возбудила страсти спорящих — это вполне понятно. Теперь нам нетрудно понять, что положение это в действительности выражает лишь твердую веру во всеобщность причинности. Если явление, обозначаемое нами как возможное, никогда не осуществляется, то очевидно, что не было одного из необходимых для его осуществления условий; иными словами, его осуществление было невозможно. Но как же случается, что, несмотря на это, мы постоянно отделяем будущую действительность от одной лишь возможности и часто говорим о последней, не касаясь первой? Прежде всего, конечно, наше незнание, ограниченность взгляда на будущее обуславливают это различие. Но этой точкой зрения можно пренебречь. Она не играла никакой роли в исследованиях древних об этом вопросе; наоборот, предполагалось, что наше знание о будущем неограниченно. И при этом предположении остроумный стоик Хрисипп оспаривал положение Диодора. «Этот перстень с печатью на моем пальце, — воскли-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

цал он, — пусть он во веки останется неповрежденным, и все-таки его возможно сломать». Будущая действительность и одна только возможность суть две различные вещи. Здесь Хрисипп, без сомнения, вполне прав; и мы также имеем право говорить о возможностях, способностях, силах безотносительно к их осуществлению, их фактическому проявлению. Но и положение Диодора также вполне правильно. Противоречие между двумя утверждениями разрешается без труда. Действительность и возможность совпадают, когда мы имеем в виду целое мира, совокупность всего случающегося или хотя бы совокупность факторов, участвующих в одном событии или в его отсутствии. Если кольцо Хрисиппа никогда не будет сломано, значит не будет одного из необходимых условий для его разрушения; таким образом, оно действительно невозможно. Но дело обстоит иначе, если мы сузим наше поле зрения и будем говорить лишь об одной части условий, необходимых для его разрушения. То же самое можно сказать о другом, хочется сказать, дополнительном вопросе: существует ли случай или нет? Мы отвечаем отрицательно на этот вопрос, поскольку под случаем мы понимаем отрицание причинности, не допускающей исключения. И, однако, ежедневно и ежечасно мы прибегаем к этому понятию и опять с полным правом, поскольку мы обращаем наш взор не на всю совокупность событий или значительную их область, а на узкий ограниченный круг.

Мы говорим о случае, когда сновидение осуществляется. Мы не хотим этим сказать, что сон и его осуществление не обусловлены причинно, а лишь то, что обе цепи не связаны между собой и что на этом основании мы не имеем права из повторения сна заключить о повторении его осуществления. Плодовый сад обильно покрыт цветом; весенний мороз уничтожает предполагаемый урожай. Мы говорим о несчастной случайности, не желая этим сказать, что мороз явился не в результате причинной необходимости и уничтожил то, что действительные до того времени факторы были способны осуществить. Подвиг спасения погибающего из воды или из огня является для спасенного счастливой случайностью, хотя он с необходимостью вытекает из характера спасителя. Мы вообще говорим о случайности всегда в тех случаях, когда в круг причин, способных вызывать известные последствия, вторгается другой чуждый ряд причин, перекрещивающий и уничтожающий вли-

яние этих причин. Что касается аргументации Диодора, то она была приблизительно следующей: все совершившееся таково, как оно есть; его инакобытие относится к области невозможного; но из невозможного не может произойти возможное; поэтому и настоящее и будущее не может быть иным, как оно есть или будет; понятие простой возможности, таким образом, отпадает. Недостатки этого доказательства вполне ясны. Однако у нас нет ни малейшего основания предполагать, что автор ее понимал ее ошибочность. Почему он должен был быть пронизательнее, чем те диалектики, которые после него трактовали эту же тему, и, по-видимому, совершенно безуспешно. Наша же критика гласит приблизительно так. Если под необходимостью в посылках подразумевается причинная необходимость, то этим уже заранее утверждается то, что аргументация хочет закрепить впоследствии. Логики называют это ложным кругом (*petitio principii*).<sup>\*</sup> В этом случае аргументация совершенно излишня, но не вводит в заблуждение, так как обходным путем хочет доказать то, что ясно всякому, верящему в безусловное господство причинности. Иначе обстоит дело — такова, вероятно, была мысль Диодора, — если под необходимостью понимается неизменность, которую можно отнести не ко всякому явлению, а только прошедшему как прошедшему. В этом случае аргументация относится к роду софизмов, возникающих из того априорного предрассудка, что следствие должно походить на причину, — норма, применимая лишь к одному, хотя и очень важному, классу явлений природы (сохранение энергии, сохранение вещества). Неосновательность так понимаемого заключения бросается в глаза. Точно таким же образом можно доказать, что прошедшее не может создать ни настоящего, ни будущего. Ибо с таким же правом можно спросить: как из прошлого может возникнуть его противоположность, не бывшее, т. е. настоящее и будущее?

Но мы еще не разделились с этим положением. Мы должны еще поставить вопрос, какие мотивы были у Диодора, когда он выставлял свой тезис. На этот раз, по крайней мере, мы в состоянии дать довольно верный ответ. Мегарики, начиная

<sup>\*</sup> Или «Предвосхищение основания». (Прим. ред.)

с Евбулида,\* ожесточенно спорили с Аристотелем. Нам известно, что они оспаривали Аристотелево применение понятия возможности. Об этом споре необходимо говорить в связи с аристотелевской философией. Здесь же мы можем предварительно упомянуть, что Аристотель ставил потенциальное бытие рядом с действительным бытием как почти однородную категорию и применял ее не только как вспомогательное понятие, но и как реальную основу при объяснении приблизительно в том же смысле, в каком многие современные физики говорят о «силах» или старые психологические школы о «душевных способностях». В противоположность этому мегарики и Антисфен, не допуская овеществления абстракций, оспаривали Аристотелеву концепцию и пытались доказать, что понятие возможности не имеет самостоятельного значения, а выражает лишь наше ожидание будущей действительности. И аргумент Диодора возник во время этого же спора, из которого, по мнению одного из лучших знатоков Аристотелевой философии Германа Боница, Аристотель далеко не вышел победителем.\*\* Даже в причудах этого человека был смысл. Двум из своих пяти дочерей, которых он подготавливал к диалектическому искусству, он дал неслыханные доселе имена, причем одно мужское, а рабу своему дал имя, составив его из союзов; все это должно было служить доказательством суверенной свободы человека, что он господин, а не слуга языка. Таков же смысл и его утверждения, что слово означает всякий раз лишь то, что говорящий хочет в него вложить. Он является в этом вопросе, по-видимому, определенным представителем условной теории языка (см. том I). Пользуясь ею, он хотел найти источник всех диалектических и метафизических ошибок.

10. Согласно традиции, мы причислили Диодора к мегарикам. В действительности же его колыбель находилась в Иасосе, в далекой Карию, и связь его с этой школой ограничивалась только тем, что он был учеником Евбулида, который сам переселился из Милета в Мегару. Нам неизвестно, протекала ли

---

\* Евбулид Милетский, по прозвищу Евклид, преемник Евклида, основателя мегарской школы; о нем см.: Диоген Лаэртский II 108—111. (Прим. ред.)

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

его учебная деятельность, которой воспользовался основатель стоицизма, Зенон, в Афинах или в Мегаре.\* История философии применяет иногда тот же прием, что и астрономия, соединяя иногда в созвездие очень отдаленные друг от друга светила. Семена, посеянные Сократом, взошли во многих частях Греции, между прочим и в таких, которые до того времени были совершенно не затронуты спекулятивной культурой; и сократовская диалектика сочеталась с зеноновской более чем в одном месте. К этому присоединилось могущественное влияние кинического направления, и, таким образом, разделение на секты и школы в границах этого круга не лишено некоторой искусственности. Сильпон, например, получил свое образование от коринфского диалектика Фрасимаха, который, в свою очередь, был внучатым учеником Евклида; однако он причислялся также к ученикам киника Диогена. Мегара была его родиной и местом его деятельности; но нельзя забывать, что он был не только учеником мегариков. Алексин родился в Элиде и закончил там свою жизнь. Тогда как другие диалектики, как Клиномах из Фурий,\*\* только внешне были отдалены от мегариков, тесная связь соединяет мегарскую и элидо-эретрийскую школу. Здесь выступает Федон, имя которого дорого для всех почитателей платоновского искусства. Он был аристократ по происхождению и необычайно красив. Романтическая судьба сделала его более известным, чем того заслуживала его личность. В качестве военнопленного он был увезен со своей родины Элиды и продан в рабство в Афинах, где дошел до крайней степени унижения. Освобожденный из рабства Сократом и его учениками, он сделался любимым учеником афинского мудреца и после его смерти стал учителем и писателем в своем родном городе. От диалогов его сохранились лишь жалкие остатки, несколько слов и фраз, которые нам ничего не дают. Мы уже упоминали о его диалоге «Зопир» (с. 46). Другой его диалог назывался «Симон» по имени сапожника, в лавке которого часто будто бы сжививал Сократ. Из скудных сообщений, которые мы имеем о содержании этого диалога, было выведено очень правдоподобное заключение, что здесь излагалась сократовская мораль в ее применении к про-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

стой жизни горожан и противопоставлялась тому, что Федон считал односторонней эксцентричностью или вырождением.

К этой элидской ветви в древнее время присоединяли и эретрийскую, ибо главный представитель ее Менедем из Эретрии \* на Эвбее считал своими учителями, кроме других сократиков и в особенности великого Стильпона в Мегаре, еще и неизвестных последователей Федона. Несоответствие между славой этого ученика Стильпона и нашим знанием того, что эту славу обосновывало, еще резче, чем у его учителя. Противоречие это усиливается следующим обстоятельством. Один из его соотечественников-эвбейцев, Антигон из Кариста, попеременно бравшийся то за резец скульптора, то за перо историка, написал биографии современных философов в стиле мемуаров с той любовью к жанровым деталям, которые так характерны для литературных и художественных произведений эллинистического времени. Через него, без сомнения, лично знавшего Менедема и, по всей вероятности, бывшего его учеником, мы очень хорошо знакомы с личностью и обстоятельствами жизни эретрийского философа. Он происходил из аристократической семьи, но отец его был небогатым архитектором. По внешности он был небольшого роста, плотно сложен, со смуглым лицом. Всякий педантизм был ему противен, что и проявлялось в некоторой распущенности в его школе. Ученики его стояли и сидели, как им хотелось; стулья не стояли в круг, как в других местах. Он жил вместе со своим другом Асклепиадом в полном общении, которое не изменилось даже после брака Менедема с одной вдовой, а его друга с ее дочерью. Он был другом поэзии. Любимыми поэтами его были Гомер и Эсхил; среди сатириков первым он считал своего соотечественника Ахея. Из современных поэтов были ему близки поэт Арат (который подобно ему был близко знаком с македонским царем Антигоном Гонатой) и Ликофрон из эвбейской Халкиды. От последнего мы имеем описание тех симпосиев, которые необычайно остроумный философ любил устраивать. Участники, к которым присоединялись после трапезы и ученики, услаждались философскими разговорами, умеренно сдабривая их вином и кушаньями до тех пор, пока пение петуха не напоминало им о

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



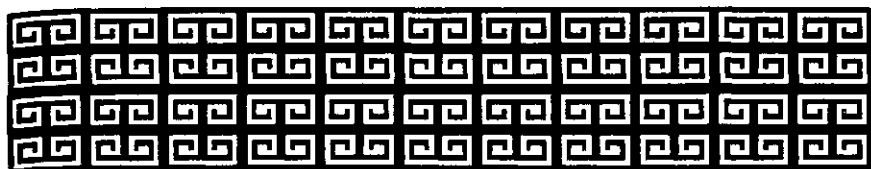
необходимости разойтись. Он был проницателен, находчив и остроумен, строг и кроток. Ему пришлось исключить из школы сына своего друга и не удостоивать его даже поклона, но потом он же спас его от каких-то, нам неизвестных, ложных шагов и направил на правильный путь. И в отношении научных противников он проявлял ту же любезность. Так, например, он снабдил охраной от разбойников супругу своего противника Алексина во время путешествия ее в Дельфы. Профессор, говоря современным языком, стал президентом маленького свободного государства и в качестве такого проявил себя с самой лучшей стороны. В то время когда греческие государства, в том числе и Афины, соревновались друг с другом в самоунижении перед Диодолами, ему ставили в заслугу поведение, одинаково далекое и от недостойного угодничества, и от вызывающего упрямства. Нам сохранилось начало поздравительного адреса эретрийцев Антигону Гонате после победы, одержанной им над кельтами (278 г. до Р. Х.); содержание его поддерживает высказанное выше мнение о нем. Вскоре после этого он был изгнан благодаря интригам своих политических противников и умер в возрасте 74 лет при дворе этого монарха в Македонии.

Среди философов-современников больше всего он чтит Стильпона за его благородный образ мысли. По своему учению, которое сохранялось лишь устным преданием, он приближается к Сократу. Единство добродетели и рассудка, однородность их сущности — таковы его определенные утверждения. В религиозных вопросах он, подобно Стильпону, был свободомыслящим, но мало сочувствовал насмешникам над религией, которые, как ему казалось, хотели «еще раз умертвить умершую». О его нововведениях в логике и о связанных с ними положениях Диодора мы будем говорить позже. С последним, а также со Стильпоном его связывает еще и то, что мы можем назвать укреплением чувства действительности и на что огромный прогресс естествознания оказал значительное влияние. Ведь современниками нашего философа были Герофил — основатель эмпирической медицинской школы, Евклид — геометр и оптик и Аристарх Самосский, Коперник древности (I 107). В сороковых и пятидесятых годах девятнадцатого столетия сильно развившееся естественно-историческое мышление почти без борьбы оттеснило априористические системы Гегеля

и Шеллинга; аналогичный процесс, если мы не ошибаемся, произошел в первой четверти третьего столетия до Р. Х. В течение дальнейшего изложения эта аналогия станет понятнее. Здесь мы рассматриваем лишь одну часть большой картины. Стремление киников устранить овеществление абстракций начало мало-помалу приносить свои плоды. Тонкий наблюдатель заметит те же тенденции у Диодора и у Сильпона. Что же касается до эретрийцев, под которыми главным образом подразумевается Менедем, то мы имеем вполне определенное свидетельство, что они отрицали «субстанциальное бытие общих свойств и признавали их лишь в отдельных конкретных вещах».\* В этих людях нас приятно поражает прежде всего не стремящаяся к безграничному плодотворная деятельность в мире с национальными обычаями. Деятельность эта характеризует паузу, наступившую в ожесточенной войне между философией и действительной жизнью. Взор историка охотно покоится на образе Менедема, несправедливо прозванного своими противниками киником, в действительности же философа, полного любви к родине, стоящего во главе маленькой общины. Нам рисуется мирный, освещенный солнцем островок среди бушующего моря.



\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### Киренцы

Светоч, зажженный Сократом, озарил своими лучами не только Эвбею или Элиду. Они проникли в отдаленнейшие уголки эллинского мира. В одном из таких пограничных пунктов, близ пустыни Африки, возникла боковая ветвь Сократова учения, процветавшая в течение нескольких поколений и затем угасшая, чтобы вновь возродиться в школе Эпикура и в этом новом виде властвовать вместе со стойками над душами и умами человечества в продолжение столетий.

В нынешнем, недавно отделившемся от Триполиса вилайете Барка в восточной части большого Сирта с давних пор поселились греки и основали пять городов, из которых древнейшим и наиболее значительным была Кирена. Древнее и новое время одинаково прославляли чудесное местоположение этого города и богатство окружающей его природы.\*

Защищенный на юге горной цепью от песков и зноя пустыни, расположенный на плоскогорье, уступами сходящем к морю (600 метров над уровнем моря), одаренный чудным климатом, напоминающим своей равномерностью береговую часть Калифорнии, построенный на «мерцающей груди» (говоря образным языком Пиндара) двух горных вершин, близ источника, мощно свергающегося с известковой скалы, — таков был город Кирена и таковы развалины его, предстающие взору путешественника как «волшебнейший ландшафт, когда-либо виденный им» (Генрих Барт). По зеленым холмам, по глубоким ущельям, поросшим дроком, миртами, лавром и олеандрами, глаз скользит вниз, к синему морю, по которому некогда плыли переселенцы с острова Феры, из Пелопоннеса и с Кик-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

лад и пристали к этой царственной стране, как бы предназначенной властвовать над окружающими странами и населяющими их берберскими племенами. Греческое искусство постройки дорог и проведения водопроводов оказало здесь немалую услугу. Благодаря устройству галерей, туннелей и насыпей природные уступы гор превратились в дороги, поднимающиеся с берега моря на высоту. В отвесных скалах вдоль дороги путешественнику открываются изукрашенные богатой скульптурой и живописью входы в гробницы — кладбище, подобного которому нет в мире.

Каждая капля воды, прежде чем исчезнуть в известковой почве, была использована для многочисленных каналов, полей и садов. На горных высотах паслись стада овец, шерсть которых высоко ценилась; на тучных пастбищах паслись кони, побеждавшие на праздничных играх метрополии.

Духовная жизнь колонии долгое время развивалась медленно. Непрерывная борьба с туземцами, лишь частью перенявшими греческие обычаи, большие войны с соседней столицей Египта истощали силы народа. Не раз население пополнялось новыми переселенцами. В промежутках между внешними войнами свирепствовали гражданские междоусобицы, результатом которых бывало временное ограничение царской власти, удержавшейся дольше, чем где бы то ни было (до половины пятого столетия). В этом отношении параллель Кирене и Барке представляет только Кипр по своему отдаленному положению и полугреческому населению. И древняя форма поэзии тоже сохранилась здесь дольше, чем в других местах. «Телегония», позднейшая часть так называемого эпического цикла,<sup>20</sup> была сложена Евгаммоном Киренским в то время (около половины шестого столетия), когда в Ионии и в собственной Греции героический эпос уже отзвучал и уступил место субъективным формам поэзии. Заметное участие в научных и поэтических достижениях Греции Киренаика приняла лишь тогда, когда она соединилась с Египтом под властью Птолемеев. К этой эпохе относятся наиболее выдающиеся ее художники и ученые: тонкий и ученый придворный поэт Каллимах, универсальный ученый Эратосфен, критический мыслитель Карнеад. Только зерно сократизма было уже

раньше опущено в почву ливийской Эллады и принесло там богатые и своеобразные плоды.

2. Провозвестником нового учения был Аристипп.\* Говорят, что этот сын Кирены встретился на олимпийском празднестве с одним из учеников Сократа и, сильно заинтересовавшись рассказами о последнем, отправился в Афины и примкнул к кругу учеников мудреца. О дальнейшей его жизни нам известно очень мало. Он давал уроки за плату (на этом основании Аристотель называет его софистом) и некоторое время, подобно Платону и Эсхину, провел при дворе сиракузского тирана. Мы почти ничего не знаем о его писательской деятельности. По-видимому, несомненно, что одна часть сочинений приписана ему ошибочно, другая тенденциозно намеренно. Но если такой осторожный и осведомленный человек, как Аристотель, бывший на сорок лет моложе Аристиппа, знает не только отдельные тезисы его, но и их обоснования, то вряд ли можно предположить, чтобы они не были закреплены письменно. А другой современник, историк Феопомп, не мог бы выставить (конечно, несправедливого) обвинения Платона в плагиате у Аристиппа, если бы вообще не существовало философских сочинений киренца.\*\* От всех них сохранились до нас ничтожные остатки, и ни одного отрывка из приписываемой Аристиппу истории Ливии. Утеряны также два диалога, озаглавленные «Аристипп», в которых мегарик Стильпон и племянник Платона Спевсипп полемизируют с киренцем. Зато древность спасла нам яркий его образ. Аристипп был виртуозом в искусстве жизни и в искусстве обхождения с людьми. С киниками у него общее стремление быть готовым ко всякому положению, в которое ставит судьба, хотя он и менее их верит в возможность спасения из затруднений и опасностей жизни путем отречения и бегства. Ему приписывают слова: «Лошадью, кораблем поведывает не тот, кто не пользуется ими, а тот, кто умеет искусно ими управлять». Такого же отношения он требовал и к наслаждению. Известная его фраза: «Я обладаю, не мной обладают» имеет более широкое значение, чем тот повод, по которому она сказана, — его мнимые или действительные от-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ношения к знаменитой гетере Лайсе. «Быть хозяином вещей, не быть в распоряжении у вещей» — такими словами Гораций характеризует жизненный идеал Аристиппа.\* Другое изречение того же римского поэта гласит: «К нему шел всякий цвет, всякое положение, всякое звание». Аристотель, почти не желая, хвалит его за хладнокровие; по его словам, на высокомерное замечание Платона он холодно и кратко возразил: «Как это не похоже на нашего друга» (Сократа).\*\* Характерной его чертой была солнечная веселость, которая не позволяла ему ни боязливо думать о будущем, ни печалиться о прошлом. Редкое соединение способности к наслаждению и отсутствия потребностей, кротость и хладнокровие — эти качества были отмечены и оценены уже современниками. В его мирной натуре, чуждой всякой борьбы, чуждающейся общественной жизни, был и элемент храбрости, который выражался скорее пассивно, чем активно, в презрении к богатству и в равнодушии к страданию. Даже Цицерон ставит Аристиппа рядом с Сократом и говорит о «великих и божественных качествах», благодаря которым оба эти человека могли позволить себе всякое нарушение обычаев словом и делом. И в XVIII в. ценили такой характер. Монтескье повторяет характеристику, данную себе Аристиппом: «Моя машина так удачно устроена, что я достаточно живо воспринимаю вещи, чтобы наслаждаться ими, и не довольно живо, чтобы страдать от них». И аббатам, возвращавшимся в салонах светских дам, не нужно было менять модную одежду раздушенных философов на хламиду неумытых киников. Для современности этот тип стал в известной мере чуждым. Для людей девятнадцатого столетия натуры с сильными, хоть и односторонними страстями кажутся ценнее, чем спокойная веселость и разносторонняя ловкость виртуоза жизни. Однако надо признать, что холодная ясность ума позволяла этому человеку испытывать и оценивать факты человеческой природы с вполне бесстрастной беспредвзятостью. «Тонкими» и «тончайшими» называет Платон философов, под которыми мы имеем полное основание подразумевать Аристиппа и его приверженцев.\*\*\* И действительно, Киренская школа отличалась тонким

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

искусством различения и расчленения и строгостью в выводе заключений.

Круг научных интересов для Аристиппа был столь же узок, как и для его учителя, Сократа. Естествознание было ему чуждо, а о математике он будто бы сказал, что она стоит даже ниже искусств ремесленников, так как при тех, по крайней мере, играют роль «лучшее и худшее», т. е. соображения о пользе или об удобствах человеческой жизни. Таким образом этика, или учение о человеческом благонравном поведении, составляет главный его интерес и в этом отношении он совпадает с Сократом и руководится теми же мотивами. Стремление к ясности и определенности в обсуждении вопросов этики он, если можно так выразиться, унаследовал от Сократа. Но метод его совершенно иной: здесь в вопросе о методе он соприкасается с Антисфеном. У обоих диалектика и определения отступают на задний план. Твердую опору они нашли в фактах, а не в понятиях. При этом Аристипп не хочет основываться на исключительно фиктивной эмпирии, вроде антисфеновских представлений о доисторическом времени. У него мы впервые встречаем попытку дойти до основных фактов человеческой природы, до первоначального феномена (гетевское выражение). «Эвдемония» и для него, как и для его учителя, и цель, и исходный пункт. Но чтобы раскрыть ее сущность, он идет не путем определения понятий, а путем приведения фактов.

Основным элементом «эвдемонии» (понятие ее колеблется между понятиями счастья и высшего блага) Аристипп считает чувство удовольствия. К нему инстинктивно стремятся дети и животные, и также инстинктивно они избегают страдания. Это первоначальный феномен, неоспоримый фундаментальный факт, который надо положить в основу всякой попытки установить правила человеческого поведения. Чтобы проследить ход мыслей Аристиппа и его школы, надо быть хорошо знакомым с аргументацией современных гедонистов. Только тогда нам станут понятны скудные извлечения из киренцев, являющиеся единственными сведениями об их моральной системе, тогда может ожить для нас мертвое до того времени учение. Если стремление к удовольствию должно служить основанием при установлении правил поведения, то необходима точная терминология, которую Аристипп проводит так же последовательно, как Иеремия Бентам (1748—1832).

Удовольствие как таковое должно всегда и повсюду быть признано благом, и часто возникающая необходимость избегать удовольствия должна быть объяснена достаточно убедительными соображениями. При этом необходимо точно отделять чувство удовольствия от сопутствующих или возникающих при этом явлений. Рискую вызвать недоразумения, Аристипп, совершенно так же, как Бентам, стоял на том, что удовольствие как таковое всегда благо, каковы бы ни были его причины и последствия. Эти причины и следствия могут в результате дать перевес страданию; значит, благо пересилено злом, а потому, естественно, его нужно избегать. В других случаях поступки, сопровождаемые чувством неудовольствия, являются необходимыми для получения чувства удовольствия, это как бы покупная цена, которую за них нужно заплатить, если хотят получить избыток удовольствия. Искусство жизни становится математической задачей вроде той, которую представляет Платон в конце своего диалога «Протагор» как естественный вывод из сократовского учения, с которым, однако, по-видимому, внутренне он был не вполне согласен.

3. Возвратимся, однако, к основам учения. Целью наших стремлений, согласно Аристиппу, должна быть не одна свобода от боли, как утверждал впоследствии Эпикур, и не сильное удовольствие или наслаждение, связанное с удовлетворением страстного вожделения. Аристипповское «удовольствие» означает не нулевую точку на скале удовольствия и страдания, а очень малую степень на этой скале в положительную от нуля сторону. Одно отсутствие как страдания, так и удовольствия признается «средним состоянием».

Нам не ясен путь, каким Аристипп пришел к такому определению «удовольствия». Мы знаем лишь то, что он уподоблял его дошедшему до сознания «нежному движению»\* и противопоставлял бурному или порывистому движению, ощущаемому как неудовольствие. К этому его не могло привести одно наблюдение над естественными явлениями, потому что дети и животные, на пример которых он ссылается, стремятся

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



к сильным ощущениям удовольствия не меньше, если не больше, чем к слабым. Является ли для него решающим моментом кратковременность наиболее интенсивных ощущений удовольствия или примесь страдания в эмоциях вожделения и потребности, или и то и другое вместе? Есть основание предполагать это. Ибо произвольное утверждение, которое объявляло бы «нежное удовольствие» единственным и отвергало бы прочие виды удовольствия, совсем ему не свойственно. На рациональное обоснование такого предпочтения указывает замечание, что «одно удовольствие не отличается от другого».\* Наиболее естественное объяснение этой странной фразы то, что Аристипп, подобно Бентamu, не отрицая различий силы, длительности или чистоты чувств удовольствия, оспаривал априорное установление качественных различий этих чувств. В таком смысле это положение представляет собой лишь протест против теории, приписывающей одному виду чувств удовольствия преимущества перед другими, причем основывается такое утверждение не на аргументации, а на так называемом интуитивном суждении.

Стремиться же к частичному или единичному удовольствию следовало, по его мнению, не только потому, что таким путем достигалась «совокупность отдельных приятных ощущений», которая получила название эвдемонии. В этом пункте слова древнего эксцерпта почти дословно совпадают со словами современного утилитариста, который в данном случае остается строгим гедоником: «Составные элементы счастья очень разнообразны, и к каждому из них стоит стремиться ради него самого, а не только как к слагаемому общей суммы».\*\* Этим устранялось возражение, выставленное впоследствии, что в человеческой жизни количество страдания превышает количество удовольствия. Если бы даже оказалось, что эта уступка пессимистическому мирозерцанию неизбежна, все-таки можно было бы рекомендовать стремиться к максимуму достижимого счастья, безразлично, превышает ли или не превышает этот максимум в течение человеческой жизни суммы испытываемого страдания. «Познание» есть благо, но не самоцель, на-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

оборот, оно средство к указанной выше цели. Оно охраняет мудрого от злейших врагов счастья, от суеверия и от страстей, которые подобно «страсти любви и ненависти основаны на пустом воображении». Однако мудрый не застрахован от аффектов, ни от печали, ни от страха, так как эти эмоции естественного происхождения. Мудрость, основанная на таком правильном познании, не является, однако, безусловным ручательством за счастье. Ни мудрец не совершенно счастлив, ни его противоположность, дурной человек, не вполне несчастлив. Можно сказать, что мудрость «большой частью» приносит счастье, а неразумие в большинстве случаев несчастье. Но даже и одного познания недостаточно (обращаем внимание на это исправление односторонности Сократа); нельзя забывать упражнений и дисциплины тела. Таким образом, добродетели не являются исключительной привилегией мудреца. Некоторые из них могут встречаться и у немудрых людей.

Осмотрительная умеренность, боязнь исключительности и преувеличений приятно отличают это учение от большинства моральных систем древности и, в частности, от системы киников. Однако в этих двух разветвлениях сократики есть точки соприкосновения. Антисфен восстает против потребности, против всякой рабской зависимости от чувственного наслаждения, он противоестественно враждебно и презрительно относится ко всякому удовольствию; и все же ему приписывают мнение: только то наслаждение благо, «за которым не следует раскаяние».\* С этим согласился бы и Аристипп; он только немного иначе сформулировал бы это положение, он сказал бы, что и в данном случае удовольствие тоже благо, но только зло раскаяния возместило и перевесило его.

До сих пор мы рассматривали гедонистическую систему всецело как творение Аристиппа. Этого нельзя, однако, утверждать с полной уверенностью. Богатство основных идей, то внимание, с каким Аристипп относится к возражениям противников, осторожное ограничение некоторых положений — все это заставляет думать о другой возможности. Может быть, это извлечение сделано не из сочинений основателя школы, а из сочинений его последователей. Аристипп передал по

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

наследству свое учение дочери своей Арете, которая, в свою очередь, воспитала философом своего сына. Это единственный случай во всей истории философии, где нить преемственности прошла через женщину. Быть может, это обстоятельство отразилось на тонкости работы. Иногда этого «ученика матери», Аристиппа младшего, называют автором одного положения киренской морали, и вполне возможно, что выработка доктрины была делом Ареты и ее сына. Одно обстоятельство подтверждает это предположение, хотя не устраняет всех сомнений. Аристотель, говоря о гедонической этике, не называет имени Аристиппа, а упоминает лишь Евдокса, выдающегося математика и астронома, построившего этику на тех же основаниях, что и киренцы.\* Это игнорирование Аристиппа будет понятно, если предположить, что он не дал законченной системы, а положил лишь ее основание. Такой вывод ослабляется, правда, тем соображением, что Аристотель считает киренскую теорию познания не стоящей упоминания, тогда как Платон имеет в виду и оспаривает именно ее в своем диалоге «Теэтет». Не исключена возможность и того, что молчание Стагирита вызывалось его личным недружелюбием и презрением к «софисту» Аристиппу.

Правильно это предположение или нет, во всяком случае мы должны очень старательно отделять киренское учение об удовольствии от личных свойств и темперамента основателя школы, склонного к тихой лени. Насколько необходимо такое разделение, доказывает сравнение Аристиппа с Евдоксом, который, подобно первому, основал свою этику на стремлении к удовольствию и в то же время, как мы узнаем от Аристотеля, совершенно отказывался от всяких наслаждений, вследствие чего снискал большое уважение и приобрел многочисленных последователей. Невольно вспоминается Иеремия Бентам, жизнь которого была полна труда и всецело посвящена общественному благу. Из истории Киренской школы мы скоро узнаем, что воззрения на жизнь ее представителей значительно менялись, что вопрос о достижимости блаженства и о его содержании получал различные ответы, хотя основание учения оставалось в общих чертах неизменным. В способе обоснова-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ния, в связывании моральных заповедей с личным благополучием киренская этика совпадает со всеми остальными нравственными системами древности, основанными на «эвдемонии» или, если угодно, на эгоизме. А будет ли называться жизненная цель «эвдемонией», или это немного расплывчатое понятие разлагается на свои элементы, чувства удовольствия, образующие счастье, — это безразлично. Но важен как вопрос о практическом содержании этой и всякой другой моральной системы, так и вопрос о теоретическом постулировании правил поведения из принципов, положенных в основу.

4. Что касается содержания киренской системы морали, то у нас совершенно нет точных указаний, касающихся подробностей, хотя именно это отсутствие указаний в связи с тем или иным позитивным сообщением указывает, по-видимому, на то, что жизненный идеал этих сократиков не очень удалялся от общепринятых норм. Говорят, что на вопрос, для чего нужна философия, Аристипп ответил: «Главным образом для того, чтобы философ продолжал жить совершенно так же, как он жил до сего времени, если бы все законы были внезапно уничтожены».\* Как ни мала историческая ценность подобных изречений, все же едва ли основателю Киренской школы приписали бы такую фразу (которая, во всяком случае, свидетельствует о возвышении над принудительностью законов), если бы его доктрина так же удалялась от обычных норм, как учение киников. Это предположение подтверждается тем, что о разрыве киренцев с общественными нормами нигде не говорится, а наоборот, те представители школы, которые, подобно Феодору, своими религиозными взглядами давали повод соблазну, были в наилучших отношениях с сильными мира. Отсюда можно было вывести заключение, что и их жизненная практика не сталкивалась с традиционными нравами.

Вряд ли нужно говорить о том, что под удовольствием киренцы понимали не только чувственное удовольствие. Между прочим, они указали на то, что зрительные и слуховые впечатления различно действуют на душу соответственно вердикту интеллекта. Выражения страдания мучительно действуют на

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

нас, когда исходят от действительно страдающих, и воспринимаются нами легко, когда изображаются на сцене актерами. Наибольшую интенсивность школа, или, по крайней мере, часть ее, приписывала телесным ощущениям.\* При этом указывалось на то, что широкое применение телесных наказаний в педагогике и в уголовном законодательстве свидетельствует в пользу такого взгляда. Развитие киренского учения пошло в двух направлениях, в направлении утончения и в направлении пессимизма. К четвертому поколению после Аристиппа принадлежал Гегесий, заслуживший кличку «адвоката смерти» (*peisithánatos*).\*\* В своей книге «Самоубийца», или, точнее, «Самоубийца через отказ от пищи», а также в речах он так живо рисовал темные стороны жизни, что правители Александрии сочли нужным запретить его лекции. Поэтому нас не должно удивлять, что Гегесий считал «эвдемонию» недостижимой и задачу мудреца полагал не в выборе благ, а в устранении зол. Пока мы не поймем глубокой внутренней связи между различными разветвлениями сократики, нас скорее должно удивлять другое, а именно, что здесь же мы встречаемся с киническим учением об «адиафории». Это безразличие ко всему внешнему Гегесий обосновывал иначе, чем киники. Само по себе ничто не доставляет ни удовольствия, ни неудовольствия, только новизна или редкость доставляют удовольствие, а пресыщение — неудовольствие. Нельзя не видеть здесь утрировки правильной мысли о притупляющей силе привычки. От сократики унаследовал Гегесий и снисходительность к заблудшим. «Их нельзя ненавидеть, их следует поучать», — говорил он, упреждая в этом отношении таких новых мыслителей, как Спинозу и Гельвеция, исходящих из тех же предположений.

Современником Гегесия был Анникерид, в лице которого киренская этика достигла высшей степени утонченности, к какой она была способна. К положительному счастью он относился с таким же недоверием, как и Гегесий, и в этом отношении следовал духу своего времени. Но мудрец, по его мнению, счастлив даже тогда, когда мера выпавшего на его

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

долю удовольствия невелика. Дополнением к этому чувству удовольствия, непосредственно получаемому индивидуумом, он, по-видимому, считал симпатические чувства дружбы, благодарности, благоговения и любви к родине. Правда, он отбросил как психологически недопустимую формулу: «Надо стремиться к счастью друга ради самого этого счастья», совершенно так же, как Гельвеций объявил психологически нелепой формулу добра ради добра. «Ведь чужое счастье, — рассуждал Анникерид, — не есть непосредственный объект нашего ощущения». Но в противоположность большей части гедоников происхождение альтруистических аффектов как вторичных образований он объяснял не мотивом пользы. Не только полученное благодеяние кладет начало дружбе, для нее достаточно оказанного расположения, не сопровождающегося практическими результатами. Он всецело признавал важный психический факт: безразлично, какими путями возникшие альтруистические чувства постепенно становятся самостоятельной силой, каковой и остаются, даже если они — в виде исключения, как он, по-видимому, думал — и не дают преобладания ощущениям удовольствия. Он не только признавал этот факт, но и одобрял возникшее таким путем самопожертвование и говорил, что мудрец, ставящий удовольствие целью и не расположенный его уменьшать, тем не менее из любви к другу добровольно согласится на его ограничение. Подобное же отношение он рекомендовал и к родине. Но как в первом, так и в последнем случае нам неизвестно, как он аргументировал свой совет.\*

Мы дошли, таким образом, до важного в киренской системе морали вопроса о связи стремления отдельного лица к удовольствию и к счастью с признанием социальных обязанностей и ценности альтруистических чувств. В самом факте, что их система искала такой связи и думала, что она ее нашла, не может быть никакого сомнения. Если даже в ходячих представлениях о том, что соответствует праву и что ему не соответствует, они видели значительную долю условности и даже прямо заявляли: правое и неправое имеют место в силу обычая

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

и установления, а не в силу природы, — взгляд, который они по примеру Гиппия подкрепляли указанием на существующие в этом отношении различия разных эпох и наций: но все-таки, согласно достоверному свидетельству, они находили, что мудрый должен избегать неправого и дурного. Недостаток точных и подробных сообщений по этому вопросу можно восполнить аналогией и напомнить, каким путем шли провозвестники сходных учений в различные эпохи. Первую и ближайшую попытку мы находим в учении о «хорошо понятом интересе». Такое моральное искусство взвешивания и вычисления, которое рекомендует избегать плохого ради вредных последствий и делать добро по аналогичным мотивам, не чуждо и современному просвещению. Квинтэссенцию этой доктрины, краткую и последовательную ее формулировку мы находим в маленькой книжке француза Вольней, деиста, автора «Руин», в его «Катехизисе здравого смысла». С другой стороны, английский священник Палей между «личным счастьем как нашим мотивом» и «волей Бога как нашим правилом» вставляет награду и наказание будущей жизни и таким образом расширяет горизонт мирской мудрости за пределы земной жизни.\* Мы уже говорили о заключительной части платоновского «Протагора» и еще вернемся к ней. Не вполне вероятно, что здесь, так же, как при выведении добродетели из мудрости в диалоге «Федон», Платон имел в виду учение своего сотоварища Аристиппа. Подобные соображения стояли в центре моральной системы Эпикура, который в этических вопросах следовал, главным образом, по стопам киренцев, хотя природная склонность к энтузиазму не позволяла ему удовлетвориться одним таким обоснованием морали. Такое «обуздание эгоизма» не ограничивается рекомендацией честно поступать по соображениям, выраженным в поговорках: «Честность — лучшая политика» или «Если бы честности не существовало, ее нужно было бы изобрести». Посредником между эгоизмом индивидуума и благополучием общества на этой ступени являются не доводы морали расчета, а власть закона, стоящая рядом и даже выше силы общественного мне-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ния. Оба фактора выступают в этой роли также и у киренцев. «Законное наказание» и общественное мнение являются для них важным мотивом к хорошему поведению. Главным орудием в руках виднейших представителей такой точки зрения в новое время является реформа законодательства. Построить его так, чтобы частный интерес совпадал с интересом общественным, — эту цель ставил себе Гельвеций и к осуществлению этой же цели стремился Бентам со всей силой своей изобретательности.

Другой способ связи упомянутых тенденций основывается на оценке альтруистических ощущений как элементов личного счастья. Рекомендуется культивировать эти ощущения, забыть о предполагаемом эгоистическом их происхождении и всецело отдаться заботе о благе людей; это и есть путь к собственному счастью. Типичными для этой точки зрения будут слова д'Аламбера: «Просветленный эгоизм есть принцип всех наших жертв» или Гольбаховское определение «добродетели» (заимствованное у Лейбница) как «искусства осчастливить себя счастьем других».\*

Наконец, третье решение вопроса довольствуется признанием психологических фактов. Привычка и ассоциация идей поднимают до самоцели то, что первоначально было только средством для других целей; скупец стремится к богатству ради богатства, которого он вначале желал лишь как средства, пьяница, подпавший под власть привычки, продолжает предаваться пороку, когда это уже не доставляет ему наслаждения. Таким же образом и выросшие из эгоистических корней социальные чувства, окрепшие благодаря похвалам и порицанию, награде и наказанию, заботе о хорошем мнении и расположении людей и солидарности интересов, в конце концов отрываются от этих корней и приобретают самостоятельную власть над душой. Следы попыток второго и третьего рода перехода от гедоники к социальной морали встречаются у Эпикура и у его предшественников, киренцев. Сюда же относится помимо всего того, что мы только что узнали об Анникериде, и фраза в часто упоминаемой выдержке: «Одно только благо-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



получие родины наполняет наше сердце такой же радостью, как наше собственное благополучие».

5. Уже этот поверхностный обзор достаточно показывает нам, что гедонизм, или теория, согласно которой наслаждение и страдание суть единственные мотивы человеческого поведения, ни в каком случае не отвергает возможности бескорыстных поступков, а еще того менее склонен их изгонять из употребления. Многие решительные сторонники этой доктрины были вместе с тем горячими филантропами, как Иеремия Бентам и другие энтузиасты двух последних столетий. В их руках гедонизм превратился в часто смешиваемый с ним, по существу же от него отличный, утилитаризм, т. е. в ту этику, которая своим принципом избрала «наибольшее счастье наибольшего числа». Главнейшими факторами, содействовавшими возникновению этих учений в античную и современную эпохи просвещения, а также расцвету их в Греции в четвертом и третьем веках до Р. Х. и в XVIII веке во Франции, были, по-видимому, следующие: упадок теологического мировоззрения среди образованных людей; наблюдательность, обострившаяся вследствие желания видеть действительность ничем не прикрашенной; стремление поставить частную и общую жизнь на строго рациональную, научную основу и для этого, отбросив всякие иллюзии, исходить из самого непререкаемого и несомненного, часто даже самого грубого и осязательного.

Нашего внимания заслуживают не только эти мотивы мысли, но и результаты их. Кто возьмется отрицать, что в каждой из трех указанных попыток объяснения содержится частица истины? Может быть, и вся истина во всех трех вместе! Мы позволим себе указать на несколько оснований, которые мешают нам утвердительно ответить на этот вопрос.

Нам кажется, что гедонизм не заслуживает обычно выдвигаемых против него упреков; но едва ли он дает достаточное объяснение фактам, которые им разбираются. Подобно другим доктринам древности, он страдает одним недостатком, оборотной стороной одного из преимуществ: он стремится к большей простоте, чем этого допускают факты. Мнимый первоначальный феномен, который эта теория и известнейший из ее современных представителей Бентам кладут в основу всякого человеческого стремления, желание счастья и отвращение от

страдания, заложен, конечно, глубоко; \* но это не последний этап, куда может проникнуть испытующий взор. Возьмем, например, человеческую или, скорее, животную потребность в пище. Разве человек и животное стремятся к ней из-за наслаждения, связанного с ее принятием? Кто внимательнее присмотрится к этому процессу, тот, кажется нам, убедится, что это не так. Мы требуем пищи вполне непосредственно в силу инстинктивного стремления к поддержанию и усилению жизни; и чувство удовольствия есть феномен, сопровождающий этот, как и все другие акты, направленные к поддержанию жизни и ее требований. Представляя дело таким образом, мы толкуем их не совсем неправильно. Ткани, образующие животный организм, находятся в процессе постоянного распада и нуждаются в восполнении, чтобы этот распад не оказался окончательным. Ткани эти обладают тенденцией к продолжению — это первоначальный факт, который проявляется в реакции клеточки против вредных влияний и который так же мало поддается объяснению, как и принцип наследственности, основывающийся на тенденции однажды наступивших процессов продолжаться до бесконечности, или как первый закон движения, обнаруживающий ту же тенденцию в полном значении слова. Так как процессы в тканях, по крайней мере отчасти, сопровождаются явлениями сознания и, прежде всего, эмоциями, то в силу мало заметного, но очень важного, телеологического механизма получается то, что процессы, содействующие поддержанию организма, доставляют удовольствие, а вредящие ему ощущаются как болезненные. Удовольствие и страдание должно поэтому признать феноменами, сопровождающими эти первоначальные тенденции, а не самими первоначальными феноменами. Эти соображения отводят человеку место в природе, а не рядом с ней, они выражают мысль, зерно которой мы встречаем уже у Аристотеля. Этого, однако, не следует понимать в том смысле, что человек, одаренный рассудком и чувством, есть просто-напросто раб и орудие своих первоначальных влечений. Ведь накопившиеся в его сознании представления (вернее, созданные и модифицированные последними волевые импульсы) могут отстоять себя против самых

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

сильных первоначальных влечений; человек может решить умереть, даже умереть от голода. Но пока он не поставил такого veto природному влечению, последнее действует в нем непосредственно, не соображаясь с достижимым удовольствием, хотя удовлетворение его и сопряжено с удовольствием. В этих и других случаях сократизм и родственные ему современные направления докончили рационализацию человеческой жизни. Это было великой задачей, попытаться построить все правила поведения на одном основном инстинкте. Этот монизм или централизм, если позволительно такое выражение, не соответствует, по-видимому, богатому разнообразию природы, тому, что мы можем назвать ее плюрализмом или федерализмом.

Так же обстоит дело и со вторым основным вопросом гедонизма, о происхождении симпатических или социальных чувств. Вначале кажется, что последние успехи науки подкрепили древнее учение. Предположение, что изначально только эгоистические чувства, альтруистические же привиты к ним, оспаривалось киренцами и Эпикуром, а также и их новейшими последователями, Гартлеем (1704—1757) и старшим Миллем (1775—1836),\* в том смысле, что привычка и ассоциация идей суть единственные реактивы такого химического превращения чувств и волевых импульсов. Тем мыслителям, которым казалось, что этих средств недостаточно, чтобы в течение одной индивидуальной жизни произвести такую глубокую перемену, чтобы, например, грубый эгоизм превратить в самопожертвование, в настоящее время можно дать другое менее оспоримое объяснение. Мы имеем в виду современную теорию происхождения и эволюции. Если отбросить в этих теориях и в их главном пункте, в теории отбора, все крайности, то ими, по-видимому, можно объяснить укрепление в течение бесчисленного ряда поколений выгодных для общественной жизни наклонностей, в особенности повышение дисциплины посредством развития органов задерживающих центров. Однако если мы доверимся этим теориям, то дойдем до столь отдаленного времени, в котором вопрос о первоначальности или непервоначальности социальных чувств ускользает от нашего суждения, или, вернее, лишается смысла. Одни и те же ощу-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

щения могут считаться и приобретенными и первоначальными — первоначальными для человека, приобретенными для каких-нибудь из наших животных предков. В отношении чувств, свойственных элементарным общественным союзам, эта возможность сразу превращается в действительность. Орде предшествует стадо. Здесь прирожденные симпатические чувства проявляются в самом широком объеме, поскольку они имеют значение для сохранения рода. По-видимому, дело обстоит так же, как с чувствами и механизмами, приспособленными к сохранению отдельных организмов. Здесь «химия чувств» оказывается совершенно несостоятельной. Собаку, научившуюся любить и бояться своего господина «из чувства страха», можно воспитать до самопожертвования путем ассоциаций с испытываемыми удовольствиями и страданиями. Но совершенно иным представляется нам врожденный инстинкт, побуждающий многих животных заботиться о нерожденном еще потомстве, мучительно жертвуя при этом собой. Взять, например, лососей, которые доводят себя до полного истощения, приплывая из моря в реки в поисках нужной для метания икры речной воды.

6. В области теории познания критический дух киренцев проник глубже, чем в области этики. Однако мы не можем дать отчета об их деятельности в этом направлении, не привлекая в известной мере к участию в наших исследованиях и читателя. Потеря всех сочинений этой школы, скудость и односторонность почти исключительно полемических сообщений вынуждают нас дольше и пространнее остановиться на ней.

Киренская теория познания выражается формулой, которая повторяется в независимых друг от друга сообщениях, а потому, наверное, заимствована из первоначальных источников. Она гласит так: «Познаваемы только чувствования (πάθη)\*. Авторы, передающие это изречение, толкуют его следующим образом в духе киренцев и частью, может быть, даже их словами: «Мы не знаем, — говорят они, — что мед сладок, что мел бел, что огонь жжет, что лезвие клинка режет;

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца. ἡ πάθη переводится также «страдание», «несчастье», «аффект». (Прим. ред.)

единственно, что мы можем, это отдать отчет в наших чувствованиях, мы видим белое, ощущаем сладкое, чувствуем ожог, порез» и т. д. При первом впечатлении нам вспоминается левкиппо-демокритовское учение о субъективной природе большинства чувственных ощущений («По общепринятому мнению существует сладкое и горькое, теплое и холодное» и т. д.). Однако такое суждение оказывается ошибочным потому, что за первым утверждением субъективных или вторичных свойств вещей здесь не следует другого утверждения об атомах и пустотах как строго объективных реальностях, и на их место не ставится никакого другого объективного бытия. Затем надо тоже принять во внимание, что сообщения, имеющиеся в нашем распоряжении, при всей их недостаточности свидетельствуют о хорошем знании древней философии авторами их, которые не упускали случая указывать на тождество или близость двух учений. Во всяком случае, в разбираемой нами теперь доктрине мы имеем развитие старой древней попытки, которая относится к позднейшей, как учение Берклея и Юма к учениям Гоббса и Локка.

Более подробные изложения этой теории познания мы имеем в трех местах: у двух позднейших философских писателей, у врача-эмпирика Секста (около 200 г. после Р. Х.) и у последователя аристотелевской школы перипатетика Аристокла, жившего лишь на одно поколение раньше, значительные выписки из которого дал нам церковный писатель Евсевий Кесарийский в своем «приуготовлении к Евангелию»; наконец — у Платона. То, что современника Аристиппа, великого философа, мы упомянули в конце, вместо того, чтобы поставить его имя в начале, имеет некоторое основание. Первые два источника определенно и специально говорят об Аристиппе и его школе; Платон же в одной части своего диалога «Тезтет» излагает тайное учение Протагора, под которым, как это думают Шлейермахер, автор и многие другие, нужно понимать учение Аристиппа.\* Это, конечно, предположение, но предположение, основанное на согласовании платоновского изложения с упомянутыми выше сообщениями, хотя изображение Платона довольно существенно дополняет их и как бы внутренне проясляет.

---

\* См. прим и доб. Т. Гомперца.

Аристокл дает нам почти только одну указанную выше формулу, которую он снабжает пространной полемикой, свидетельствующей о полной неспособности стать на чуждую ему точку зрения. Секст является представителем и защитником скептических тенденций. В качестве такого он старается и представителей других направлений сделать приверженцами скептицизма, как мы уже видели это относительно Демокрита (ср. т. 1). Поэтому неудивительно, что в его сообщении о киренской теории познания не только чувствуется язык школы, но он значительно выдвигает и скептическую или отрицательную сторону. Тем более должно нас поражать и удивлять, что в этом коротком сообщении о так называемом скепсисе киренцев, как и в параллельном месте Плутарха, мы встречаем накопление слов чисто догматического характера, как истинно, непреложно, непогрешимо, безошибочно, неопровержимо.\* Как объяснить это противоречие? Для этого нужно лучше уяснить характер нашего философа и мотивы его мысли. Мы надеемся, что то, что вначале было гипотетическим, станет фактическим после нашего исследования.

Различие между первичными и вторичными свойствами, указанное Левкиппом (см. т. 1), обратило внимание мыслителей на субъективный элемент в чувственном восприятии. Это сравнительно так поздно появившееся указание на субъект и на его значение для чувственного восприятия должно было тем сильнее подействовать на умы исследователей, чем больше они присматривались к этому различию. Должен был возникнуть вопрос, можно ли в полной мере признать безусловное объективное значение за теми восприятиями, которым оно раньше было приписано. Восприятие красок, например, считалось обусловленным субъективно, а восприятие формы — нет. Это резкое разделение столь близких вещей нельзя было поддерживать после того, как было указано на разные ошибки чувств, которым подвержен глаз и помимо восприятия красок. Переломанная в воде палка, неодинаковые величины, в которых один и тот же предмет является иногда обоим глазам, двойное зрение, являющееся следствием как патологического

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

состояния, так и бокового давления на глаз, возбуждали новые сомнения. Даже то чувство, которое считалось собственно типом объективности, чувство осязания обнаруживало при ближайшем рассмотрении странные явления. Шарик, положенный между двумя переплетенными пальцами, давал ощущение двойственности. (Не на все, но на некоторые из этих обманов чувств указывал Секст, другие упоминала аристотелевская «Метафизика» в отделе, посвященном релятивистическим направлениям.) \* Иные могли утешаться тем, что в этих случаях показания одного чувства или одного органа чувств могли проверяться другим органом, а показания ненормального состояния исправляться показаниями состояния нормального. Но кто может поручиться, может возразить скептицизм, что в других случаях, где такая поправка недостижима, не возникнут подобные же ошибки? Да и помимо этого, разве уже Демокрит не указал на то, что вопрос об истинности или ошибочности не решается по большинству лиц или по преобладанию тех или иных состояний (ср. т. 1)? Элеаты отвергали свидетельства чувств. Это направление должно было получить новую поддержку после вышеуказанного анализа и прежде всего оттого, что наблюдения, подобные вышеприведенным, ставились на центральное место. Элеатство ни в каком случае не умерло; оно жило в школе мегарских сократиков, которых, как наследников Зенона и его предшественников, мы можем назвать новоэлеатами. Нет сомнения, что древний клич: «Чувства нас обманывают, не верьте им! Истина вне и выше чувственного мира!» прогремел с новой силой. Он нашел отзвук и в душе Платона. Правда, не только элеаты, но и противники их, одним из каковых был, например, Протагор, не остались без последователей. Спрашивается, каким оружием продолжался старый спор. Положение: «Все воспринятое действительно» было с самого начала выбито из позиции субъективизмом, который обнаруживается уже в изречении: «Человек есть мера вещей» и в том месте софистической речи в протагоровском духе «Об искусстве», которое гласит: «Если не-сущее можно так же видеть, как и сущее, то я не знаю, как может кто-либо считать это не-сущим, если только его можно видеть глазами

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

и познавать умом как сущее» (см. т. 1). Что у прежних поколений было побочной, случайной аргументацией, то стало центром защиты свидетельства чувств. Защитники их как бы отдают все форпосты и удаляются во внутренность крепости, за ограду чувственных ощущений. На них уже не смотрят как на доказательство чего-то для них внешнего; противникам делаются самые большие уступки и тем самым их лишают самого действительного оружия. Если чувственные ощущения и не говорят нам о свойствах внешних предметов или даже об их существовании, то все же сами ощущения неопровержимы;\* они имеют безусловное значение, т. е. они истинны и в союзе с другими процессами сознания образуют действительности знание, вполне достаточное для человеческих целей.

7. Кто впервые слышит о таком отказе от веры во внешний мир, тот, пожалуй, может подумать, что он попал в сумасшедший дом. Если вы верите в истинность вашего учения — так приблизительно возражали епископу Беркли и его последователям, — то вы должны стукнуться с разбегу о фонарный столб, потому что несуществующий столб несуществующей голове не может причинить вреда. На это другие обычно отвечали: Мы не отрицаем ни ощущения сопротивления, ни всех других ощущений, из которых слагается образ столба, головы и всего так называемого внешнего мира; мы отрицаем — говорит одна часть этой школы — или по крайней мере не знаем того таинственного «нечто», которое, как вы предполагаете, находится за этими феноменами, существующими для нас и для всего другого сознания и связанными непреложными законами существования и последовательности. Что мы называем представлением «какой-нибудь вещи», например, «дерева, камня, лошади, человека», — говорит современный представитель этого воззрения, старший Милль, в своем «Анализе феноменов человеческого духа», — «есть представление известного количества ощущений, которые мы часто получаем одновременно, так что они как бы сливаются» в одно целое.\*\* Совершенно так же в «Тезете» Платона: «Такой группе дают название человека.

\* м. прим. и доб. Т. Гомперца.  
т. Гомперца.

камня, животного и всякой другой вещи».\* Здесь Платон говорит о мыслителях, которых он признает тонкими и противопоставляет материалистам, признающим лишь то, что они могут схватить руками. Затем он говорит, что они все растворяют в происходящее и случающееся, а понятие бытия изгоняют совершенно. Наконец, он (ссылаясь на прозрачную фикцию тайного учения Протагора) делает их последователями великого софиста и, в конце концов, сообщает нам об их своеобразной теории ощущения, которой мы сейчас займемся. Из современников Платона образ этот больше всего подходит к тем, которые считают «познаваемыми только чувствования», а лежащую в основе группы таких ощущений «внешнюю вещь» если и существующей, то, во всяком случае, «для нас недоступной» (Секст).\*\* В этом почти нельзя сомневаться. Но мы совсем не знаем, как эти ранние представители феноменалистического воззрения разделялись с обычным взглядом. Пытались ли они объяснить происхождение последнего? Указывали ли они, подобно английским психологам и современному австрийскому физику,\*\* на душевные процессы, с помощью которых «агрегат возможных ощущений как бы приобретает устойчивое бытие, которого нет в наших ощущениях, а вместе с этим и более высокую степень реальности, чем какая им присуща?» Или говорилось о том, что «цвета, звуки и запахи тел наносны и непостоянны», а остается «осязаемое», как «прочное... ядро», не поддающееся временному и индивидуальному изменению, ядро, которое является основой или «носителем связанных с ним непостоянных свойств» и в качестве такого по привычке удерживается мышлением и тогда, когда познание уже убедилось, что «зрение, слух и осязание вполне сродны?» Или, наконец, указывалось на то, что из соединения двух этих направлений создалось понятие материальной субстанции? Мы этого не знаем. Нас не удивило бы, если бы они совершенно не вышли из самых элементарных соображений по этому вопросу, хотя в критике понятия бытия они были очень изощрены.

Платоновое изложение их теории ощущений должно быть признано в существенном аутентичным, но некоторые

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.



подробности, может быть, принадлежат творческому уму Платона, который редко довольствовался голой передачей чужих воззрений. Поэтому мы возьмем только основные черты этой теории. Согласно ей, при осуществлении всякого чувственного ощущения действуют два элемента: деятельный и страдательный. Это взаимодействие обозначается как движение и, в шутку или серьезно, связывается с Гераклитовым учением о вечном потоке вещей. Из взаимодействия двух этих элементов, которые только и становятся действительными и страдающими при взаимной встрече, возникает одновременно ощущение и объект его: вместе со зрительным восприятием цвета, со слуховым ощущением звука и т. д. Не воспринимается уже раньше бывшее твердое, мягкое, теплое, холодное, белое и т. п., но все это входит в бытие одновременно с восприятием. Как же мы должны мыслить этот процесс, производящий одновременно и субъективное ощущение, и объективное свойство, если он даже и не создает одаренного свойствами объекта?

Платон называет это, как было уже указано, движением, которое он вполне определенно характеризует как пространственное. То, что мы назвали элементами движения, остается неопределенным, в результате чего получается намеренная или ненамеренная неясность. О материальном или телесном в обосновании доктрины ничего не говорится. Мало того, подчеркивается отрицание всякого абсолютного существования, а «деятельности, процессы и все невидимое»,\* с пафосом противопоставляемые всему осязательному, уводят нас далеко от материи. Вернее, это увело бы нас от нее, если бы не суррогаты строгого понятия материи, которыми пользовались древние мыслители (также Платон и Аристотель). Таким образом, не вполне исключена возможность, что по крайней мере в оригинале указывалось на нечто вроде бесформенной или бескачественной материи как на объект этого движения. Но возможно, что сам Аристипп думал при этом о вполне телесной вещи. Последнее и наиболее естественное предположение дало повод к упреку, что киренцы вертелись в кругу, растворяя телесное в ощущениях, а затем снова выводя ощущение из телесного. Правилен ли этот упрек, остается под вопросом.

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Конечно, ни в каком случае нельзя феноменалисту как такому запретить заниматься физиологией чувств или естествознанием. Он всегда ведь может заявить, что под телами или материей он понимает только комплексы потенциалов ощущений (или другие подобные, в последнем счете на ощущениях опирающиеся, абстракции). Он, наконец, имеет право касаться и материальных условий всякого отдельного ощущения и материальных условий любого процесса. Можно опровергать правильность построения, но нельзя оспаривать допустимость применения этого понятия. Возможно, что киренцы приблизительно так и рассуждали. С таким предложением согласуется по крайней мере обвинение их в том, что они, изгнав из своей системы физику и логику, «затем снова приняли их в нее». Как раз четвертая и пятая части их системы трактовали о «причинах» (физика) и «аргументах» (логика).\*

8. Какова была их логика? Положительных сведений у нас совершенно нет. Но заранее можно предположить, что к феноменалистической теории познания и гедонистско-утилитарным обоснованиям морали, как и в наше время, тяготело эмпирически-индуктивное направление в логике. Такая логика действительно была у позднейших эпикурейцев, как мы узнали тридцать лет тому назад из сочинения Филодема, сохраненного нам пеплом Геркуланума.\*\* Уже при первой обработке этой индуктивной логики мы могли указать на не замеченные до того следы аналогичных доктрин в школах скептиков и врачей-эмпириков. Каков их общий корень? Этот вопрос освещен Лассом, указавшим на не замеченное до этого краткое замечание Платона в «Государстве»\*\*\* Здесь идет речь о сохранении в памяти прошедших событий, о точном усвоении того, что предшествовало, что следовало и что происходило одновременно, а затем о почерпаемом отсюда, возможно, верном предсказании предстоящего в будущем. Выражения, употребляемые здесь Платоном, несмотря на их образность, поразительно совпадают с выражениями позднейших авторов, знавших индуктивную логику позднейшего периода. Едва ли мы ошибемся, если будем видеть здесь не Протагора, как предполагал другой исследова-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

тель, а современника Платона — Аристиппа. Отсюда мы можем вывести заключение, что последний положил основание логике, которая была не чем иным, как совокупностью правил к установлению последовательности и сосуществования. Киренец должен был быть готов к веским возражениям и, конечно, достаточно часто слышал их от своих противников. «Ты не веришь в реальность внешних вещей (могли возражать ему его противники); по крайней мере, ты отрицаешь их познаваемость; как же тогда возможна наука? И не только наука, но самое простое предвидение? Как можешь ты заключить о завтрашнем дне из сегодняшнего? Где основание для самых ходячих эмпирических положений, никем не оспариваемых, даже самим тобой? Откуда тебе известно, что огонь жжет, что вода утоляет жажду, что люди смертны, что все связи обладают известной прочностью, на которой основываются наши привычки в жизни и приемы художника, ремесленника, врача, моряка, земледельца и т. д.?» Совершенно не фантастическим будет предположение, что киренцы чувствовали себя вынужденными отвечать на подобные вопросы, ибо молчание их могло быть истолковано как отказ от познания объектов, а следовательно, и отказ от всякого знания, от всякого практического деления. И именно тот ответ, который допускался их гносеологическими предпосылками, и заключался в этих платоновских словах. Тут речь идет не об объектах, а о случаемся или о событиях. Упомянутая индуктивная логика могла также возникнуть из мировоззрения, которое за вещами или сущностями не искало ничего, кроме закономерно связанных комплексов явлений. Таким образом, со значительной долей вероятности можно предположить, что первое появление радикальной критики познания сопровождалось и первой формулировкой того канона познания, который сам по себе соединим с этой критикой, а в наше время и снова был объединен с ней: он трактует о нормах познания исключительно феноменальной последовательности и сосуществования.

Но возвратимся назад и от киренского понимания проблемы познания перейдем к вопросу, по поводу которого не существует ни малейшего сомнения: к учению о чувственных ощущениях, заимствованному киренцами у Протагора и развитому Аристиппом. В точном смысле слова обмана чувств быть не может, ибо всякое ощущение есть естественно необходимый

результат производящих его факторов. Эта важная истина вполне ясно провозглашается в Платоновом «Теэтете» рядом с изложением несомненно киренских теорий.\* Не большинство или меньшинство так или иначе чувствующих субъектов, не обычное или исключительное состояние чувствующего субъекта может обосновать фундаментальное различие, какова бы для нашей жизни ни была ценность (должны мы прибавить) заключений, выводимых из тех или иных ощущений. Авторы этой теории значительно опередили свой век. Некоторые из наших выдающихся современников не находили излишним высказывать и обострять эти мысли. В 1867 году Германн Гельмгольц написал следующие слова: «Дальтонисту киноварь кажется черной или темно-серо-желтой, и это правильная реакция для его своеобразного глаза. Он должен только знать, что его глаз иначе устроен, чем глаза других людей. Само по себе его ощущение не более верно и не более ложно, чем другие ощущения („истинно для меня мое ощущение“ говорится в „Теэтете“), если даже дальтоницы составляют большинство. Вообще красный цвет киновари существует лишь постольку, поскольку существуют глаза, подобные глазам большинства людей. Совершенно с таким же основанием киноварь черного цвета для дальтониста». («Сладкое, которое ни для кого не сладко, явная бессмыслица» — говорится там же).\*\* В следующем году другой уже упомянутый физик-философ высказался по этому же вопросу: «Выражение „обман чувств“ доказывает, что мы недостаточно усвоили сознанием или по крайней мере не находим нужным выразить наше сознание в языке, что чувства не показывают ни верно, ни неверно. Единственно правильное, что можно сказать об органах чувств, это то, что они при различных обстоятельствах образуют различные ощущения и восприятия. Необычные действия обыкновенно называют „обманами чувств“»\*\*\*

Нужно принять во внимание еще одно отрицательное обстоятельство. Проблемы изменения, присущности, предикации, которые играют такую большую роль в исследованиях мега-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

риков, киников и Платона, совершенно отсутствуют во всех сообщениях об учениях киренцев. Это не должно нас удивлять, так как все эти вопросы связаны с понятием бытия, а это понятие авторы теории ощущения, изложенной в «Теэтете», старались совершенно искоренить, как вполне определенно говорит Платон. Желание освободиться от затруднений, связанных с этим понятием, наверное, было серьезным мотивом как для первых, так и для позднейших феноменалистов. У нас совершенно нет никаких известий, насколько их критика понятия бытия была полемическим орудием против представителей других сократовских школ. Может быть, это было содержанием споров, происходивших между Аристиппом и Антисфеном и затем еще между позднейшим представителем африканской школы Феодором \* и мегариком Стильпоном.

9. Разногласий между сократиками было меньше в области этики, чем в области метафизики. В первом случае общие черты обнаруживаются чаще. Здесь можно даже говорить о возвращении к исходному типу, который стремится заменить отдельные школы или по крайней мере приблизить их друг к другу. Только что упомянутый нами Феодор дает пример этого. Он был правнучатым учеником Аристиппа, однако по своему поведению и учению он настолько же киренец, насколько и киник. Рано принужденный партийными распрями покинуть свое отечество, он учил в Афинах и в Коринфе, исполнял дипломатическую миссию при дворе Лисимаха по поручению Птолемея I и, в конце концов, был помощником египетского штатгальтера Мага в своем родном городе, где и умер «высокопочитаемый последним». Таким образом, он был светским философом и придворным человеком, но совсем не царедворцем. При общении с властителями он был необычайно прямодушен и держал себя с чувством собственного достоинства. Эти качества характера при общении с властителями сближали его с Диогеном. Его космополитизм и пренебрежение к гражданскому укладу жизни имеют корни и в кинизме, и в учениях киренаиков одновременно. Скорее на счет кинизма, чем киренаиков, нужно отнести его презрение к дружбе, в которой не нуждаются себе довлеющие мудрецы, тогда как дружба с дур-

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ными людьми, по существу чуждыми дружбе, длится лишь до тех пор, пока она приносит выгоду последним.

Также и о народной вере Феодор высказывался очень смело, по всей вероятности, смелее, чем другие из его современников-сократиков (Стильпон и Менедем, ср. ранее). Мы не можем сказать, правильно ли приписана ему кличка «атеист».\* Большинство источников наделяют его этим эпитетом; другие утверждают, что он бичевал только мифологических богов; иные считают, что Эпикур заимствовал свое — во всяком случае не атеистическое — учение о божественных вещах у Феодора. Из этого можно, пожалуй, заключить, что последний оспаривал веру в провидение и в отдельные случаи божественного вмешательства. Конечно, этого было достаточно, чтобы против него было выставлено обвинение перед ареопагом, от которого его защитил Деметрий Фалерский, бывший правителем Афин между 317 и 307 гг. Этого также оказалось достаточно, чтобы объявить его безбожником наравне с Диагором и Продиком (ср. т. 1); наконец, это же дало повод одному из позднейших писателей сказать: «Он отрицал божество и потому поощрял всех к клятвопреступлениям, грабежу и воровству».

Мораль его носит на себе печать самоуглубленности, какую мы уже видели у Гегесия и Анникерида. Слово «удовольствие» слишком вызывало, как ему казалось, ассоциации, способные ввести в заблуждение, чтобы означать «эвдемонию», которая считалась жизненной целью всеми сократиками. Его заменили выражением, более подходящим к области душевной жизни, чем к чувственной сфере, более к длительным состояниям, чем к кратковременным: радость или веселость; противоположность его — печаль или огорчение.\*\* Единственным истинным благом (т. е. единственным верным средством достигнуть этой цели) является познание, а также, по-видимому, связанная с ним справедливость; противоположность этого — единственно настоящее зло. Удовольствие и страдание (оба слова, понимаемые в тесном смысле, как на это ясно указывает греческое слово *ponos*) попадают в разряд «средних» вещей, безразличных самих по себе, в области адиафории, говоря словами киников и стоиков. Эту доктрину можно спра-

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

\*\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ведливо упрекнуть в том, что она недостаточно считается с внешними условиями жизни, крайность, в которой повинны также и учения о морали двух последних школ. Но как тот же самый компилятор, которому мы обязаны этими краткими, но ценными сообщениями, мог тут же прибавить: Феодор допускает, что мудрец может «при известных обстоятельствах» украсть, совершить ограбление храма и т. п., — это трудно понять. Если бы этот автор был добросовестен, он объяснил бы нам подробнее, какие это обстоятельства, при которых высшее благо справедливость может быть низведено с трона.

Если здесь нет неудачной выдумки, то нам кажутся возможными лишь два решения. Либо наш киренец придавал словам, которыми обычно обозначают морально-порицаемые поступки, другое вполне безобидное значение, вроде того, как мы, например, говорим о вынужденной лжи, вынужденной краже, вынужденном обмане и т. п. (вспомним, например, сократовское рассуждение о краже оружия в целях предупреждения самоубийства, о других обманах с целью спасения жизни и т. п.; ср. с. 53). Или здесь дело идет о «школьных загадках» специального сорта, о той фиктивной казуистике, которая меняет обычные моральные мерки и с которой мы познакомимся у стоиков (например, необходимость кровосмешения, когда от этого зависит сохранение человеческого рода). Другое дело с теми изречениями, в которых полукиник Феодор говорит о вопросах пола; их следует признать достоверными.

Если Феодора мы назвали полукиником, то его ученика Биона приходится назвать киником на три четверти.\* По происхождению из Борисфена на Днепре, он посещал философские школы метрополии и учился у киников, у Феодора, у академика Кратета и у перипатетика Феофраста. Он был странствующим учителем, носил костюм киников, но вопреки их обычаю поучал за плату и был необыкновенно плодовитым писателем, прозаиком и поэтом. Стрелы его остроумия и насмешки направлялись во все стороны без разбору. Два единственных сохранившихся нам стиха поносят почтенного Архита, что в наших глазах приносит ему больше вреда, чем все то дурное, что про него распространяли и в чем Эрвин

---

\* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Роде уже давно усмотрел лишь «клеветнические сплетни». Это было возмездием за его выпады против народной религии и против всяких философов. Его жизнь напоминает жизнь Вольтера, между прочим, и тем, что про него, как и про Вольтера, пустили легенду о его обращении на смертном ложе. С литературной манерой Биона мы до известной степени знакомимся по подражаниям Телета (ср. с. 144), в особенности по очень остроумному диалогу между Бедностью и Обстоятельствами жизни. Учение его было смягченным кинизмом, который заимствовал у гедонизма приспособление к обстоятельствам и проповедовал не столько отказ от наслаждения, сколько удовлетворение достигнутым.

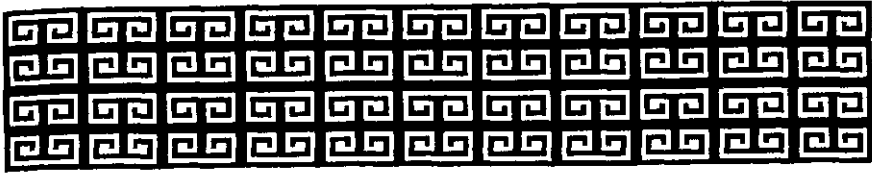
Итог всех этих ранее и сейчас рассмотренных нами приспособлений, преобразований и слияний (ср. с. 176) следующий. Маленькие побеги на стволе сократизма постепенно отмирают; мегарская и элидо-зретрийская школы исчезают. Кинизм в своей более строгой форме сохраняется как секта, а то научное, что в нем сохранилось, переходит в другое не менее строгое направление, в стоицизм, который противостоит эпикуреизму, выросшему из гедонизма. В то же время оба эти направления, стоицизм и эпикуреизм, стоят внутренне ближе друг к другу, чем это можно предполагать, принимая во внимание их вражду. Ибо Эпикур не так удален от Зейнона, как Аристипп от Антисфена. Таким образом, сократизм движется в этом двойном потоке, сливаясь своей кинической стороной с Гераклитовым воззрением на природу, а киренской стороной — с учением о природе Демокрита. В таком виде и с такими придатками учение Сократа становится религией массы образованных людей и остается таковой в течение столетий. Преобразовательный процесс прошел, как это видно, удивительно закономерно. К основе ткани, которую образует этика, присоединяется в разных местах натурфилософский уток; вся ткань превращается в систему, удовлетворявшую религиозную, моральную и научную потребность миллионов людей. Участники этого распространения и преобразования были выдающимися людьми, но, конечно, не перворазрядными умами. Как мы говорим о проводниках тепла и электричества, так можно говорить о проводниках мыслей, от которых нужно отличать умы, открывающие новые пути. Это не значит, что



мы разделяем распространенный взгляд на гения. Нет людей совершенно независимых от предшественников. Никто не создает нового и неслыханного как бы по волшебству из ничего. Но различие следующее.

Перворазрядный ум связывает открытые и избранные им элементы мировоззрения и развивает их сообразно своей высокообразованной и ярко выраженной натуре. Именно по этой причине его взгляды имеют мало шансов приобрести в короткое время одобрение широких кругов народа. Вместе с этим, благодаря необычному богатству своей индивидуальности он влияет на отдаленнейшие эпохи, с которыми открываются все новые пункты соприкосновения, и этим путем он оказывает влияние на всю духовную жизнь человечества. Таким был тот ученик Сократа, которым мы не занимались, — Платон. Через него тоже сократика оказалась связанной с другими течениями, и в особенности с пифагореизмом; но влияние нового продукта вначале оставалось ограниченным очень узким кругом. Вышеуказанные обширные течения и массовые явления непосредственно присоединились к киническому и киренскому сократизму.





## Примечания и добавления ко II тому

### К главе 1

\* (Стр. 7). Цитаты из Эсхила приведены по изданию Кирхгофа, цитаты из Еврипида — по изданию Наука, Софокл и Аристофан цитированы по *Poetae scenici graeci* Диндорфа, отрывки трагиков — по собранию фрагментов Наука (2-е изд.).

\*\* (Стр. 7). Феогнид. Ср. ст. 349 (*Poetae lyrici Graeci* изд. Bergk, II<sup>4</sup>, 150); также Гомер, «Илиада» IV, 35; XXII 347; XXIV 212; другое и потерянное имел в виду Филодем *de ira* (2-е изд. Гомперца) col. VIII 18 сл.

\* (Стр. 8). Tylor, *Anthropology* (Lond., 1881), p. 44 сл. Гораздо больше, чем обещает заглавие, дает статья Miklosich'a: *Die Blutrache bei den Slaven*. Вена, 1887. — Правильному пониманию здесь в значительной мере вредил узкий кругозор классической филологии, а также господствовавшее прежде воззрение, что гомеровские поэмы рисуют нам исключительно картину доисторического времени. Ход развития в Греции не мог быть существенно иным, чем в других местах. За индивидуальной мстью следовала семейная или родовая мсть, которая являлась большим прогрессом. На этой ступени стоят еще теперь австралийцы и обитатели Новой Гвинеи; общеизвестны остатки этого обычая у корсиканцев, албанцев и т. д. Дальнейшие стадии развития протекают следующим образом: частное кровное возмездие, государственное кровное возмездие; или в другом случае: частная кровная мсть, частное возмещение за ущерб (пеня), государственное упорядочение его. Иногда снова, соответственно социальному положению, кровное возмездие заступает место бескровного возмещения. Что последнее было и в Греции исконным обычаем, это Эсхил знал лучше, чем некоторые из его толкователей: *ἀντί δὲ πλεῖστος φονίας φονίαν | πληγὴν τιπέτω. δρᾶσαντι παθεῖν, | τριγέρων μῦθος τάδε φωνεῖ*

(«Чей смертелен удар, тот смертельный удар

Заслужил. Что другим причинил, претерпи!» —

Трижды древнее слово нас учит. (*Пер. Вяч. Иванова*)  
(Хоэфоры, ст. 304 сл.)

\*\* (Стр. 10). Эсхил. Цитаты из «Умоляющих» V ст. 507/8, из «Евменид» V 553—55 фрагм. 381. Ценное сопоставление у Haigh, The tragic drama of the Greeks, Oxford, 1896, p. 86 сл.

\* (Стр. 11). Об «Орестее» сравни теперь интересное введение к его переводу Вилаговица. Для характеристики Эсхила и Софокла вообще сравни прежде всего Rohde, Psyche II<sup>2</sup> 224 сл. и его же речь «Die Religion der Griechen», Гейдельберг, 1895.

\* (Стр. 12). О «нравственном миропорядке» у Софокла, кроме Родэ, подробно и убедительно говорит еще Joh. Нооукаас, De Sophoclis Oedipode Coloneo, Лейден, 1896.

\*\* (Стр. 12). Один из благочестивейших: ср. схоласт. к «Электре» Софокла, 831. — Один из смелых афинян: так называет его современник Ион у Афиняя XIII 603е.

\*\*\* (Стр. 12). «Самое большое» и т. д.: Ср. Софокл, Эд. Кол. (Эдип в Колоне) 1224 сл.

\* (Стр. 13). см. Геродот VI 98. — Еврипид: Перевод фрагмента 449.

\* (Стр. 14). «Ибо неудачные дети» и т. д. фрагм. 571. О преимуществах бездетной жизни ср. Алкестида 882 сл., Андромаха 418 сл., Медея 1098 сл., Умоляющие 1089 сл. — Ср. Еврипид фрагм. 285. — Фукид. III 81 сл.; Восхваление среднего сословия: ср. Еврипид, Умоляющие 244 и фрагм. 626.

\* (Стр. 15). Грот на Саламине: Древняя биография Еврипида, ст. 61 (в издании Наука, р. VI) — Еврип. фрагм. 910 и 913.

\*\*\* (Стр. 15). «Если боги делают злое» и т. д. фрагм. 292, 7.

\* (Стр. 16). Об обработке легенд Еврипидом в сравнении с более древними поэтами ср. Welcker, Gotterlehre II 90, Leop. Schmidt, Ethik der Griechen I 17. Christ. Griech. Lit.-Gesch. § 121. — Еврипид об атлетах: ср. фрагм. 201 и 282.

\*\* (Стр. 16). Ср. Троянки 884 сл. — Это не полный возврат к прошлому; это доказывает сравнение с другим поздним его произведением, «Ифигенией в Авлиде». Ср. G. Dalmeida, Les Bacchantes, p. 13.

\* (Стр. 17). Против рабства смотри сопоставления во введении Наука, примеч. 67. Против войны и завоеваний Еврипид говорит в «Умоляющих» 491 сл. и фрагм. 286, 10—12.

\*\* (Стр. 18). Платон, Законы VI 777е, ср. еще 776d—е.

\*\*\* (Стр. 18). Ср. Еврипид, «Ипполит» 486, «Медея» 582.

\* (Стр. 19). О «софистике» и «крайнем индивидуализме» во многих местах говорит Пельман в «Истории древнего коммунизма и социализма» I.

\*\* (Стр. 19). Гесиод, Труды и Дни 602, где стих  $\theta\eta\tau\acute{\alpha}\ \tau'\alpha\omicron\iota\kappa\omicron\nu\ \rho\omicron\iota\epsilon\iota\sigma\theta\alpha\iota\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\tau\epsilon\kappa\nu\omicron\nu\ \xi\rho\iota\theta\omicron\nu\ |\ \delta\iota\zeta\epsilon\sigma\theta\alpha\iota\ \kappa\acute{\epsilon}\lambda\omicron\mu\alpha\iota\ \kappa\tau\acute{\epsilon}$  («батраком раздобуться бездетным и бездетной батрачкой и т. д.» (Пер. В. В. Вересаева)), по общему мнению, находится не на своем месте и не допускает иного толкования.

\*\*\*\* (Стр. 19). Феогнид ст. 53 сл. (Poetae Iug. Gr. II <sup>4</sup> 124 Bergk.)

\* (Стр. 21). «Пусть чужеземец» и т. д. Еврип. «Ифигения в Авлиде» 1400 сл.

\*\* (Стр. 21). Ксенофонт: ср. Анабасис VII 6.

\*\*\* (Стр. 21). Аристотель, см. его Политику I, с. 2 и 5.

\* (Стр. 22). «Илиада» XXII 371. — Трагик Мосхион (на границе V и IV столетия): см. фрагм. 3.

\*\* (Стр. 22). Геродот IX 79. Осуждения поругания мертвых встречаются уже в «Илиаде» XXII 395 и XXIII 176.

\*\*\* (Стр. 22). То, что Гомер не употребляет название эллинов как общее обозначение и не противопоставляет греков варварам, уже заметил Фукидид I 3. Πανέλληνες («Жители Эллады»), Ил. II 530 и обозначение карийцев как βαρβαρόφωνοι («говорящие по-варварски»), II 867 доказывает, по крайней мере, что эта часть, т. н. перечень кораблей, относится к более позднему времени.

\*\*\*\*\* (Стр. 22). Текст клятвы амфиктионов в речи Эскина против Ктесифонта § 109 сл. Культурные заслуги Дельф подробно, хотя не без некоторого преувеличения, разобрал Ernst Curtius в своей Griech. Geschichte.

\*\* (Стр. 23). Мардоний у Геродота VII 9.

\*\*\* (Стр. 23). Поэт просвещения: именно Еврипид, «Умоляющие» 491 сл.

\* (Стр. 24). Перемирие: Ил. VII 408 сл.

\*\*\* (Стр. 24). Слова Диомеда Ил. XI, 395. Предмет великолепно разработан Н. Weil'ем в статье L'Iliade et le droit des gens dans la vieille Grèce, Revue de philologie, 1885, p. 161 сл., перепечатано в Etudes sur l'antiquité grecque, Paris, 1900, p. 183 сл.

\*\*\*\*\* (Стр. 24). Жизнь и свободу побежденных и т. д.: ср. Калликратид у Ксенофонта, Греч. ист. I 6, 14 и Платон, Государство V 469с. — О следующем ср. Фукидид III 68, 2 и Павсаний IX 15, 2.

\* (Стр. 25). Ил. VI 62. Против убийства пленных Фукидид III, 58 2; 66 2 и 67 3. — Цитата Ил. IX 593. — О фиванцах и сиракузянах ср. Павсан. IX 15 2 и Фук. VII 86. Торона: см. Фукид. V 3; Скиона: там же 32, Платея: III 68 2, Мелос V 116.

\* (Стр. 26). Фукидид II 67 сл.

\*\* (Стр. 26). Фукид. V 85 сл. Об этом разговоре говорит Дионисий Галикарнасский, de Thucydide, 37—42.

\*\*\* (Стр. 26). Grote VII<sup>2</sup> 157.

\* (Стр. 27). Приговор над Митиленой: Фук. III 35 сл.

\* (Стр. 28). Поддержка неспособных к труду: см. речь Лисия в защиту инвалида (ὕπερ τοῦ ἄδυνατόν): право жаловаться на мужей: см. Meier-Schömann, Der attische Process II<sup>2</sup> 8. 509. — Попечение о вдовах и сиротах: см. Girard, L'éducation Athénienne, p. 32 сл., Schömann-Lipsius, Griechische Altertümer I<sup>4</sup> 562. — Воспитание сирот воинов: Gilbert, Griech. Staatsalterth. I 328. — Цитата из Гомера XXII 495. — Защита раба, Meier-Schömann, там же 625 сл. Подобное в других местах, напр. в Гортыне на Крите, см. Neues Stadtrecht von Gortyn. изд. Bücheler-Zittelmann, 95 сл. См. статью S. Spitzers'a в Zeitschr. f. österr. Gymn., 1894. 1 сл. «Zur Geschichte der international. Moral bei den Griechen». Интересно, что спартанцы у Фук. VII 18 объясняют свой неуспех в Архидамовой войне из παρανόμια («противозаконный поступок») нарушением условий мирного договора и снова обнадеживаются после такого же поступка со стороны афинян.

\*\* (Стр. 29). «Школа Эллады»: Перикл в надгробной речи Фукид. II 41 называет Афины τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν.

## К главе 2

\* (Стр. 30). Похвала Афин у Еврип. Медея 824 сл. Алкетиды 452. Троянки 207. Фрагм. 360,5 сл. и 981. «Фиалковенчанными» часто называет Афины Аристофан.

\*\* (Стр. 30). «Взятие Милета»: см. Геродот VI 21.

\*\*\*\* (Стр. 32). Известный род: род Исагора, см. Геродот V 66. — Пелиды и Эакиды: первые из Пилоса в Мессении, вторые из Эгины. — Гостеприимство афинян: см. Страбон X 471 и Плутарх, Жизнь Кимона X,8. — Цитата из Курциуса «Altertum und Gegenwart» II 30.

\*\*\*\*\* (Стр. 32). Непрерывность развития: См. статью автора «Aristot. und seine neuentdeckte Schrift. Deutsche Rundschau, 1891, 219 сл. (=Essays und Erinnerungen 154 сл.)

\* (Стр. 34). «Воздух наиболее чист» и т. д.: Еврип. Медея в указанн. мест.; Аристид, Панафинейская речь § 97, 101 (I 156 и 162 Dind.), Аристоф.: Фрагм. из Ὀραὶ I 536. Коск Ср. Ксеноф. О податях I 3. Данные о климате основаны на двенадцатилетних наблюдениях астронома Юлиуса Шмита, которые приведены в статье Kurt'a Wachsmuth'a, Die Stadt Athen im Alterthum I 94. Прим. 1.

\*\* (Стр. 34). Эрнст Курциус, Op. cit., стр. 34.

\*\*\* (Стр. 34). Геродот: I 60.

\*\*\*\* (Стр. 34). В дальнейшем мы заимствуем у Бутми, Le Parthenon et le génie grec. Paris 1897; в первой обработке Philosophie de l'architecture et Grèce, 1870.

\* (Стр. 37). Вильг. ф. Гумбольдт: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, Ges. Werke VII, стр. 10/11. — Дж. Ст. Милль: «О свободе». Ges. Werke I, в особ. гл. 3, стр. 58 немец. изд.

\*\* (Стр. 37). Герод. V 78.

\* (Стр. 39). Фукид. или Перикл: надгроб. речь Перикла у Фукид. II 37 сл.

\* (Стр. 41). О материальном подъеме Афин после персидских войн см. Белох, Истор. Греции I 347. Москва 1905. Очень поучительна статья Cavaignac'a: «L'apparition du capitalisme à Athènes au siècle de Périclès», Revue des deux mondes, 1 Sept. 1910, p. 190 сл.

\*\* (Стр. 41). Фукидид IV 55.

\*\* (Стр. 42). Фукид. IV 65, 6.

### К главе 3

\* (Стр. 44). Рождение Сократа: точно установлена дата смерти — май 399 г. по Л. Диог. II 44; продолжительность жизни указывается Платоном в «Критоне» 52e — 70 лет, а в «Апологии» 17d — более семидесяти. Колебание рукописей в Апологии ἑβδομήκοντα («семьдесят») и πλείω ἑβδομήκοντα («более семидесяти») следует решить в пользу последнего чтения, так как иначе для прибавления слова πλείω нет повода, наоборот, закругление числа в «Критоне» (в целях ораторских) вполне возможно. См. наше примечание к части III, гл. 6 (I 479).

\*\* (Стр. 44). Хариты: см. об этом Furtwängler в Roschers Lexikon der Mythologie (I, 881), также Studniczka Zeitschr. f. österr. Gymn., 1886, стр. 684.

\*\*\*\*\* (Стр. 44). Архелай: Отрывок Иона у Лаэрт. Диог. II 23. Ср. также Феофраст *Doxographi* gr. 479, 17; сюда относятся также 546, 11 и 567, 1. Слова Цицерона *Tusc.* V 4, 10 и *Acad. poster.* I 4, 15. Целлер не верит этому свидетельству I<sup>5</sup> 1037.

\* (Стр. 45). Рассказ заимствован из «Пира» Платона 220c: ср. также 174d. Интересные параллели у Zuccante, *Socrate*, p. 377.

\*\* (Стр. 45). Арист. *Analyt. poster.* II 13 (97-b, 21).

\* (Стр. 46). Зопир: Наиболее полно источники этого свидетельства у R. Förster'a, *Scriptores physiognomici Proleg.* VII сл. Особенно важна версия, приводимая Иоанном Кассианом *Conlationes XIII* 5, 3 (p. X, n. 1). Она, может быть, передает дословный текст феоновского диалога (Л. Диог. II 9), в нем справедливо видят первоначальный источник. О приступах гнева свидетельствует Спинфар, отец Аристоксена, не вполне надежный источник (*Fragm. hist. Graec. ed. C. Müller*, II 280).

\*\* (Стр. 46). Об иронии, как свойстве Сократа, в противоположность *alazoneia* ср. Арист. *Ником. Этика* II 7 и IV 13, также Эвдемова *Этика* III 7 и *Magna Moralia* I 33. Затем Платона *Государство* I, 337a и 337e, *Пир* 216e, *Менон* 80a, *Апол.* 23e, также Ксеноф. «Меморабилии» IV 4, 10. Основное значение слова — «удовольствие мистифицировать». Сужение смысла в тексте вполне понятно. Самоуничижение, противоречащее потребностям и интересам жизни, гораздо более склонно ввести в заблуждение, чем хвастовство. Первая характеристика Феофраста воспроизводит сначала это узкое определение, а затем более широкое.

\* (Стр. 48) «Нищий болтун»: так называет Сократа автор комедий Евполид I 351 *Kock*. «Босой, как бы назло сапожникам» — эти слова принадлежат Амейпсию I 672 *Kock*. Следующие эпитеты принадлежат Аристофану (*Облака*, 361) и Платону (*Федон*, 117b). Об Аполлодоре и Херефонте см. Groen van Prinsterer, *Prosopographia Platonica*, p. 204 сл. Также Евполид I 322 *Kock*.

\*\* (Стр. 48). Свидетельство заимствовано из «Апологии» Платона 32c—e.

\* (Стр. 49) О процессе стратегов см. *Апол.* 32b—c, Ксенофонт *Hellenica* I 7, 14 сл., *Мемор.* I 1, 18 и IV 4, 2; наконец, Диодор XIII 100 сл.; из соврем. см. Grote, *History of Greece* <sup>2</sup> VIII 242 сл., Max Fränkel, *Die attische Geschworengerichte* 79 сл., примечания Киниона к Аристотелевой 'Αθηναίων πολιτεία («Афинской политики») с. 34 и брошюра автора *Die Schrift vom Staatswesen der Athener* 17 сл.

\* (Стр. 52). Арист. *Метаф.* M c 4 (1078b 27 сл.)

\*\* (Стр. 52). Указанное в тексте разделение *implicite* заключается в подведении сократовских положений под понятие *παράβολή* («сравнение»). Ср. Аристот. Ритор. В 20 (1393b3) с объяснениями Ксенофонта, Мемор. III 9, 10.

\* (Стр. 53). Исследования Иоэля сделали очень вероятным предположение, что Ксенофонт пользовался сочинениями сократиков, и прежде всего Антисфена. См. Jahresbericht von H. Gomperz. Archiv XIX 252 сл. Ксеноф.: Мемор. IV 2, 13 сл., также Платон, Государство I 331c.

\* (Стр. 54). Цитата Ксеноф. Мемор. IV 6, 15 и I 2, 37, вполне согласно с ним Платон, Горгий 491a и Пир 221e. — Далее: Ксеноф. Мемор. III гл. 6 и гл. 7, III 9, 10.

\* (Стр. 55). *Misologia*: см. Плат. Федон 89c, Апол. 38a.

\* (Стр. 57). Аристотель свидетельствует, что учение об идеях чуждо Сократу, Метаф. М с 4, 1078b 30 и 1086b 4.

\* (Стр. 58). См. Ксенофонт, *Oeconomicus* I 1 и IV 18. Паломничество в Дельфы: см. Аристотель у Л. Диог. II 23, также Мемор. IV 2, 24 сл. и Плутарх, Против Колота, с. 20. — Цитата Плат. Федр. 230d. О мисийцах и писидах: Мемор. III 5, 26; Анабасис III 2, 23.

\*\* (Стр. 58). О брошюре Поликрата см. речь Исократу XI § 4. По Фаворину, у Л. Диог. II 39 твердо установлено, что она написана несколько лет после казни Сократа. Прежде других Cobet (*Novae lectiones* 662 сл.) указал на вероятность того, что Ксенофонт в «Меморабилиях» имеет в виду эту брошюру. — См. определение *φθόνος* (зависть): Мемор. III 9, 8 и *σχολή* (досуг) III 9, 9 также III 8, 6 (о красоте навозной корзины). Затем III с. 4. — Правильное решение указано Иоэлем: *Der echte und der xenophontische Sokrates* I 64 сл.

## К главе 4

\* (Стр. 61). «Никто не делает ошибок добровольно» (*οὐδείς ἐκὼν ἀμαρτάνει*): многочисленные цитаты из Платона у С. F. Hermann, *Geschichte und System der platonischen Philosophie* 330. Anm. 328.

\* (Стр. 62). Об отрицании неразумной части души и о невозможности *ἀκρασία* («невоздержанность») см. Арист. *Нikom.* Этика Н с 3, 1145b 23, также 1147b 14 сл., 1200b 25; *Magna Moralia* A 1 (аналогично с. 20 1190b 28), также там же с. 10 1187a 6.

\*\* (Стр. 62) *Video meliora etc.* Овидий *Метаморф.* VII 20 сл.

\*\*\* (Стр. 62). «Великий одноглазый»: Дж. Ст. Милль называл так Бентама: *Ges. Werke* X 158 = *Dissertations and Discussions* I 357.



\* (Стр. 63). *Французский драматург*: Sardou, *La famille Benoiton* в нем. пер. изд. Реклама, стр. 76.

\* (Стр. 64). Эпихарм, фр. 78 Kaibel (*Comic. graeci. fragm. I 1, 104*) = frg. 56 Ahrens. — οὐδέεις ἐκῶν κωνηρός οὐδ' ἄταν ἔχων («Он ведь жаловался, что это — начало всяческих бед»). Два последние слова изменены в ἄκων μάκωρ у Аристот. *Ником. Этика Γ с. 7, 1113b 15*

\* (Стр. 65) Клеанф: цитата поставлена в начале книги. Кроме Климента в цитир. соч. эта фраза встречается также у Цицерона, *De legibus I 12, 22* с прибавлением: *id enim querebatur caput esse exitiorum oppium*, и в немного другой редакции *De officiis III 3, 11*.

\*\* (Стр. 65). Элегия Аристотеля у Bergk'a, *Poetae Iyr. Gr. II* <sup>4</sup> 366 сл. В начале последнего стиха было οὐ νῦν («не теперь»), которое редактор *Wiener Studien II 1* переделал в οὐ δίχα («не разделено»). Ср., напр., речь Диона III 39 (*I 40, 14 Arn.*) οὐ δίχα θεῖς τό τε αὐτοῦ συμφέρον ..... ἀλλ' ἄ κτέ («не разделяй соединенное ... но»). Автор вместе с Bernays'ом, *Ges. Abhandl. I 141 сл.* = *Rhein. Mus. 33, 232 сл.* думает, что здесь говорится о Сократе, а не о Платоне (*Ср. мои Platon. Aufsätze III* конец и IV, 10—12). Стих 3 ἀνδρός δὲ οὐδ' αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θεῖς можно отнести к Аристиппу и Антисфену, этим недостойным, по мнению Аристотеля, представителям сократизма.

\*\* (Стр. 66). «Рабское» состояние: см. Платон, *Пир 215e* и Ксенофонт, *Мемор. IV 2, 22*.

\* (Стр. 68) Ксеноф. *Мемор. III 9, 4*: σοφίαν ..... καὶ σωφροσύνην οὐ διωρίζεν («Мудрость и рассудительность он не разделяет»).

\* (Стр. 69). Построение сократовской философии морали лучше всего изложено в забытой докторской диссертации англичанина W. F. Hurndall, *De philosophia morali Socratis Heidelberg, 1853*. Следует упомянуть также L. Dissen, *De philosophia morali in Xenophontis de Socrate commentariis tradita (Götting. 1812)*. — В дальнейшем мы следуем прекрасному изложению эвдемонического обоснования морали Ксенофонтом Целлера: *Phil. d. Gr. II* <sup>4</sup> 1, 152.

\* (Стр. 71). Дж. Ст. Милль: *Syst. d. Logik V. гл. 1 § 33* = *Ges. Werke IV* <sup>2</sup>, стр. 115.

\* (Стр. 72) Платон: *Государство V 457b*

\*\* (Стр. 72). Ксенофонт, *Мемораб. III 8, 3; III 8, 7* и *IV 6, 9*.

\* (Стр. 73). Ср. Ксеноф. *Мемор. I 2, 49 сл.* и *I 2, 9 сл.*

\*\* (Стр. 73). Критика выбора должностных лиц по жребию. *Мемор. I 2, 9 сл.; III 9, 10*. Правильную точку зрения для суждения об этом институте указал Georges Perrot, *Essais sur le droit public et privé de la République Athénienne, Paris, 1867, стр. 10 сл., 54* и 71.

\* (Стр. 74) Сократ не презирал ремесленного труда: Ксеноф. Мемор. II 7, 6 сл. и Оесоп. во многих местах — Ниже: способность женщин: См. Ксеноф. Пир II 12 (и храбрости можно, по-видимому, научиться, так как эта женщина научилась таким опасным фокусам).

\*\* (Стр. 74). Антисф. у Л. Диог. IV 1, 12: «Добродетели мужчины и женщины одни и те же»; наконец, главн. обр. у Платона в «Государстве» и в «Законах».

\* (Стр. 75) Цитата из 39-й книги Ли-Ки по переводу Legge, Sacred book of the East XXVIII, стр. 412. См. также Lanessan, La morale des philosophes chinois, стр. 28

\* (Стр. 76). G. v. d. Gabelentz, Confucius und seine Lehre, Leipzig, 1888, стр. 43. — Ниже: Обвинение в эвдемонизме там же, стр. 22. — Альтруизм конфуцианского учения: Ли-Ки 39, 1; также Giles, Gems of Chinese literature, стр. 3 сл. Там же, стр. 1, сравнение с Сократом. Китайское сочинение о государстве у Giles, стр. 161. — Сомнение Конфуция в бессмертии у v. d. Gabelentz в указ. соч., стр. 11 сл.

\*\* (Стр. 76). Сократ и вопрос о бессмертии: см. Плат. Апология, конец, и Ксеноф. Киропедия. VIII 7, 19.

\*\*\* (Стр. 76). «Как земля тело»... Corpus inscript. Attic. I 442. — К дальнейшему смотри Rhode, Psyche II<sup>2</sup> 257 сл.; также Brückner'a, Über d. Entwickl. der Bestattung in Attica, Berlin. Philol. Wochenschrift, 1892, № 13 и 14.

\*\* (Стр. 77). Об отношении Сократа к религии прекрасно говорит К. Joël, Der echte u. der xenophontische Sokrates I 69 сл. Это сочинение, в котором ценное странно сплетается с неверным. Н. Gomperz не без успеха пытался разобраться в нем: Jahresbericht Archiv XIX, стр. 234 сл.

\*\* (Стр. 78). «Добро» вообще: Ксеноф. Мемор. I 3, 2. — «По закону государства» (νόμος πόλεως), Ксеноф. Мемор. I 3, 1; IV 3, 16; IV 6, 3. Также о дальнейшем см. Мемор. I 3, 3.

\* (Стр. 79). Сократ и Дельфы: см. примечание к стр. 58, затем Плат. Федр 229e и Апол. в разн. мест., Ксен. Мемор. IV 2, 24 и Анабасис III 1, 5 сл.

\*\*\* (Стр. 79). О свидениях см. Плат. Федон 60e и 61a, Апол. 33c, Крит. 44a—b. — «Демон»: см. Ксеноф. Мем. I 1, 4 и Плат. Апол. 31d. — Случаи «проявления демона» перечисляет Целлер II<sup>4</sup> 1, 80 прим. 2.

\* (Стр. 82). Две теологические главы «Меморабилий» суть I 4 и IV 3. О них и взгляде на них древних и наших современников см. Joël, Op. cit. 118 сл. Мы согласны с мнением, согласно которому (там

же, стр. 120) «I 4 во всяком случае ближе к истинному Сократу, чем IV 3».

\*\* (Стр. 82). Уклонение Сократа от натурфилософии: см. Арист. Метаф. А 6, 987b 1 и De anima А 1, 642a 25. Его полемика с натурфилософами у Ксенофонта, Мемор. I 1, 11 сл.; IV 7, 6 сл. и (более ксенофоновское, чем сократовское) III 7, 1—5.

## К главе 5

\*\* (Стр. 84). Эвполид: I 351 и 355 Коск; о Протагоре, там же 297.

\* (Стр. 85). Телеклеид: там же 218; Амейпсий 672; Аристофан: Птицы 1281 сл. и 1553 сл., Лягушки 1491.

\* (Стр. 86). «Король-вихрь»: Аристоф. Облака 380 и 1471.

\*\* (Стр. 86). О приглашении Архелая говорит Аристотель, Риторика В 23, 1398a 24.

\* (Стр. 87). Читает... свитки: см. Ксен. Мемор. I 6, 14. — Дары друзей: главный источник: Квинтилиан, Instit. orat. XII 7, 9. Почти признается Платоном: Апол. 33b. Цитата Аристоф. Облака 144 сл.

\* (Стр. 89). Об Аните см. Плат. Менон 90b, Исократ, Речь XVIII, § 23, Диодор XIII 64, Ксеноф. Hellenica II pass. Сообщение Ксен. Апол., § 29 сл. об отношениях Сократа к сыну Анита нужно признать маловероятным.

\*\*\*\* (Стр. 89). Ликон: незначительный государственный деятель, много раз осмеянный авторами комедий; см. схолии к платоновской Апологии 23e. — Мелет: посредственный поэт, автор «Эдиподии», тоже часто осмеивался в комедиях, между прочим, и за свою худобу, см. схолии к Апол. 18b и I 793 Коск. В «Евтифроне» Платона 2b он характеризуется «молодым и неизвестным» человеком; там же описывается его внешность.

\* (Стр. 90). Текст обвинения у Л. Диог. II 5, 40.

\*\* (Стр. 90). О форме судопроизводства: Meier-Schömann, Der attische Process<sup>2</sup> 160 сл. и 181 сл. Поправки Curt'a Wachsmuth'a (Die Stadt Athen. in Altertum II 377 сл.) в свою очередь исправляются Аристотелем 'Αθήν. πολιτ. («Афинской политии»). Col. 32, наиболее подробно истолкованным Sandys'ом, стр. 240 в его издании. Ср. также Daremberg-Saglio, Dictionn. des antiqu. II, стр. 195.

\* (Стр. 91). Об указанных лицах см. Плат. Апол. 33e—34a, также Groen van Priesterer, Proso-graphia Platonica, Leyden, 1823, затем бюст

Антисфена у Schuster'a, Portraits der griech'schen Philosophen, Leipzig, 1876, Tafel I 6, также признанный теперь аутентичным бюст Платона, см. Benndorf, Jahreshefte des öst. arch. Instituts II 250. — На курительную жертву и молитву вполне определенно указывает Аристофан в «Осах» 860.

\*\* (Стр. 91). Число присяжных выясняется из текста Л. Диог. II 41 и свидетельства Платона в «Апологии» 36а. Платон только округлил цифру 31 в 30, а Л. Диоген неточно выразился, говоря о большинстве в 281 голосов вместо того, чтобы сказать о 281 голосе, которые составили большинство. Нет надобности видеть у Л. Диогена опisku, как полагает Köchly Reden und Vorträge стр. 370. Число присяжных было немногим меньше, чем десятая часть 6000, которые в качестве πάντες Ἀθηναῖοι («всех афинян») были управомочены произносить ostracism и решать аналогичные дела. Такая значительная часть афинского народа должна была живо почувствовать вызывающий характер защиты и признать справедливость упрека, выставленного против Сократа: ὑπερορᾶν ἐλοίετο τῶν καθεστῶτων νόμων τοῦς συνόντας («Учил своих собеседников презирать установленные законы») (Ксеноф. Мемор. I 2, 9).

\* (Стр. 92). Стилизованная правда: об этом автор подробно говорил на Кельнском конгрессе филологов осенью 1895 года. И теперь он далек от того, чтобы вместе с Martin'ом Schanz'ом (Platons Apologie, Leipzig. 1893. Einleit. стр. 74) принимать «Апологию» за продукт свободного творчества Платона, хотя теперь ближе стоит к точке зрения Шанца.

\* (Стр. 93). Если я оспариваю, что Сократ хотел во что бы то ни стало умереть, то это не значит, что я согласен с теми, которые не признают Ксенофонта автором «Апологии» (§ 33). Даже если бы Ксенофонт не был в то время в Малой Азии, а был в Афинах, то он все-таки не мог безошибочно знать мотивы Сократа.

\* (Стр. 98). Воспитательное действие и т. д. Здесь я следую своему сыну Н. Gomperz'у, Grundleg. d. neusokratisch. Philosophie, стр. 28.

\*\* (Стр. 98). «Спасительная неправда»: см. Плат. Государство III 389b.

\*\* (Стр. 100) О занятии Сократа поэзией в тюрьме см. Плат. «Федон» 60c, затем Л. Диог. II 42: ἀλλὰ καὶ ποίεονα κατὰ τινὰς ἐλοίησεν («Впрочем, по мнению некоторых, он сложил и пэан»). Сомнение в подлинности этого пэана было высказано уже в древности, согласно Л. Диог. II 62. С другой стороны, заключающаяся в словах οὐ λᾶν ἐλιττεῦμενῶς критика стихотворного переложения эзоповской басни не является выражением сомнения в подлинности. Аутентичны ли два приводимые там стиха, об этом мы не можем судить. То же

нужно сказать и о маленьком отрывке у Афиней XIV 628 F (Bergk, Poetae lyr. Gr. II<sup>4</sup> 287). Но мне кажется неправильным сомневаться в самом факте, сообщаемом Платоном, как это делает Schanz: Hermes XXIX 602.

\* (Стр. 101). Наилучшую картину процесса дал и наилучше судит о нем Н. Köchly, Op. cit. и Grote в гл. 68 Hist. of Greece. Представляет интерес, хотя далеко не свободно от произвольных утверждений, сочинение Peter'a Forchhammer'a «Die Athener und Sokrates. Die Gesetzlichen und der Revolutionär», Berl., 1837.

\*\* (Стр. 101). Гегель: Ges. Werke XIV 81 сл.

\*\*\* (Стр. 101). Милль: О свободе, гл. III (Ges. Werke I 56).

\* (Стр. 103). Критий и Алкивиад: если Исократ в своей речи XI, § 5 утверждает, что до появления брошюры Поликрата никто не знал, что Алкивиад был учеником Сократа, то он либо не знает правды, хотя он и соотечественник и современник, либо хочет забыть ее в пылу полемики с Поликратом, либо, наконец, он непозволительно играет словом μαθητής («ученик»). Ибо «Пир» Платона не допускает сомнения, также вступление в «Протагоре» или в «Горгии» 481d и 519a. Ксен. Мем. I 2, 10—11.

\*\* (Стр. 104). Сократ внушал ученикам презрение: Ксеноф. Мем. I 29.

\* (Стр. 105). Бентам, Works X 583.

\*\* (Стр. 105). Эпиктет: I 9, 1 (стр. 32, 9 Н. Schenkl).

\* (Стр. 106). См. Плат. Критон 45e: ὡς εἰσῆλθεῖς ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν («Что вышло, хотя могло не выйти»). 52c: ἀλλ' ἡρῶ ὡς ἔφησθα πρὸ τῆς φυγῆς θάνατον («Подтвердил, что предпочтительно смерть бегству»); и раньше: ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοὶ φυγῆς τίμησασθαι («Еще на суде ты мог бы предпочесть для себя бегство»). Ксен. Мемор. IV 4, 4: ἀλλὰ ῥαδίως ἂν ἀφεθεῖς ὑπὸ τῶν δικαστῶν εἰ καὶ μετρίως τι τούτων ἐλοίπεσθε («Но легко был бы оправдан судьями, если бы в надлежащей мере воспользовался чем-то таким»).

\* (Стр. 107). О раскаянии афинян: см. Л. Диог. II 43 и Диодор XIV 37 кон.

\*\*\* (Стр. 107) Эскин: речь против Тимарха, § 173. — См. также Meiser, Studien zu Maximus Tyrius, стр. 28 сл.

## К главе 6

\* (Стр. 108) См. Л. Диог. II 6, 48. Кроме этого места единственным источником для его жизни рядом со случайными указаниями древних являются собственные сочинения Ксенофонта.

\*\* (Стр. 108). «Дилетант в гетевском смысле»: «Сущность дилетанта в том, что он не видит трудностей, заключающихся в каком-нибудь деле, и что он берется за дела, к которым неспособен». Goetes Gespräche (herausg. von Biedermann) VI 35.

\*\*\* (Стр. 108). Сочинение «Об охоте» (κυνηγητικός): L. Radermacher, Rhein. Mus. 51 и 52 показал, что язык этого сочинения сильно отличается от языка остальных сочинений Ксенофонта. (В последнем издании Гомперц уже не включает это сочинение в число произведений Ксенофонта. — Прим. Д. Ж.)

Хронология Ксенофонта. Так как при первом своем выступлении после пленения полководцев Ксенофонт говорит о своей молодости, которая мешает ему принять командование (Анабасис III 1, 25), то, по-видимому, ему тогда (401) не было 30 лет. Таким образом, он родился не раньше 430 г., вероятно, в 20-х гг. V столетия. Смерть его последовала не раньше 50-х годов IV столетия. Основания этого следующие: Ксенофонт заключает Hellenica битвой при Мантинее, а в «Агесилае» уже говорит о возможной смерти этого царя. Поэтому можно думать, что он прожил недолго после 360 г. Однако одна фраза в «Греческой истории» VI 4, 37 указывает, по мнению Sauppe (Ein Kapitel aus Xenophons «Ελληνικά» («Греческая история»), Nachrichten d. Götting. Gesellsch. der Wissenschaften, 1882, № 10), по крайней мере на 357 г. С другой стороны, Kaibel (Hermes XXV 597) доказал если не заимствование из речи Исократова о мире в сочинении περί πόρων («О доходах»), как думаю я, то тождество предполагаемой в обоих сочинениях политической ситуации. Так как эта речь Исократова относится к половине 50-х гг. (см. Blass, Attische Beredsamkeit II<sup>2</sup> 299), то и это соображение указывает на ту же эпоху. — Только после написания этой главы я получил книгу Schwartz'a: Fünf Vorträge über den griechischen Roman. Его взгляд на Ксенофонта во многом совпадает с моим. Хотелось бы знать, на чем основывается его утверждение (стр. 47), что Антисфен умер до того времени, как была написана «Киропедия». — Из современной литературы нужно указать на характеристику Ксенофонта: Gutschmid, Kleine Schriften IV 328 сл. и несколько страниц у Mahaffy, Problems of Greek History (стр. 106 сл., 118, 127).

\* (Стр. 109). Об этой младшей Аспасии см. Плут. Артаксеркс с. 26, 4 (Vitae, 1221, 15 сл. Döhner).

\*\* (Стр. 109). Вопрос Ксеноф. к дельф. оракулу: Анаб. III 1, 4—11.

\* (Стр. 111). Часто повторяющееся и в новое время мнение, будто Ксенофонт руководил отступлением десяти тысяч, впервые встречается в древности у Павсания IX 15, 3.

\*\* (Стр. 111). Некоторые мелкие подробности: см. III 4, 46 сл. и IV 4, 12.

\* (Стр. 112). Фемистоген из Сиракуз: Ксен. *Hellenica* III 1. — Рассмотрение совпадений и различий в изложениях Диодора и Ксенофонта завело бы нас слишком далеко. Попытку Dürrbach'a (*L'apologie de Xénophon dans l'Anabase, Rev. des Etudes Grecques* VI 343 сл.) объяснить совпадения использованием общего источника нельзя признать удачной ввиду того, как Диодор XIV 29, 3 пользуется местом у Ксенофонта, известным в литературе: Анаб. IV 7, 21.

\* (Стр. 113). Скиллунт: см. Анаб. V с. 3.

\*\*\*\* (Стр. 113). Грилл: см. Аристотель у Л. Диог. II 6, 55 и Квинтилиан, *Institut. orat.* II 17, 14. См. статью автора: *Die herculanischen Rollen, Zeitschr. f. österr. Gymn.* 1866, стр. 701 сл. Ср. также Jakob Bernays, *Die Dialoge des Aristoteles*, стр. 62 и 157.

\* (Стр. 115). Ср. Кироп. III 1, 22 и *Oeconom.* XII 12, также XX 2 и 21; о женщинах смотри весь *Oeconomicus* и уже указанные места о женской храбрости в «Пире».

\*\*\* (Стр. 115). Ученые много занимались сравнением обоих «Пиров». Теперь можно считать установленным, что сочинение Ксенофонта было написано позже одноименного сочинения Платона. См. Ivo Bruns, *Attische Liebestheorien usw. Neuen Jahrbüch. f. d. Klass. Altertum*, 1900, 1. Abt. стр. 17 сл.

\* (Стр. 116). Удачные места «Эллинской истории»: IV 1, 29; IV 1, 3 сл.; V 4, 25 сл.; MШ 4, 36 сл.; VII 2, 9.

\*\*\*\* (Стр. 116). Речи Ферамена и Крития: Эл. ист. II с. 3, Прокла — V 3, 13.

\*\* (Стр. 117). Плутарх: Биография Агесилая, прежде всего с. 5 in.

\* (Стр. 119). Черты спартанцев в «Киропедии»: напр., сисситии: II 1, 25 военная дисциплина: II 3, 21. — Дисциплина: Киропед. VIII 1, 2; бюрократия: VIII 1, 15; ответственность: V 3, 50; разделение труда: II 1, 21; VIII 2, 5.

\* (Стр. 120). Солдатский юмор: I 3, 10; II 2; VII 5, 40. Спорт: I 6, 39; верховая езда: IV 3, 15 сл.

\*\* (Стр. 123). Цитата из *Hippiarchicus* IX 8. По поводу дальнейшего см. там же, гл. 9, конец. См. также характерное место в Киропедии: I 6, 44 сл.

\* (Стр. 124). В руках одного критика: August Krohn в сочин. «Sokrates und Xenophon».

\* (Стр. 125). Разговор с Лампроклом: Мемор. II ч. 2. — Призыв к миролюбию: Мем. II с. 3. Аристарх: Мемор. II ч. 7. — Евфер: Мем. II ч. 8. К следующему смотри Мемор. III 12. О поведении за столом: III, 14.

\*\* (Стр. 125). Цитата: «Разобрать все...» — Мемор. IV 6, 1.

## К главе 7

\* (Стр. 126). Об Антисфене говорит Л. Диог. VI с. 1. Отрывки собраны А. W. Winckelmann'ом: *Antisthenis fragmenta*, Zürich, 1842. Вопросы хронологии подробно, но не вполне успешно разобраны Chappuis, *Antisthene Paris*, 1854, стр. 171 сл. Единственным указанием является лишь то, что Платон в насмешку называет его «учеником-стариком» (Софист 251b); это значит, что когда он общался с Сократом, то он уже не был молод. С этим согласуется и то, что прежде он был учеником Горгия, и не невероятным поэтому является сообщение, что советовал общаться с Сократом юношам, которым он давал уроки (по-видимому, риторики) (Л. Диог. VI 1, 1 и 2). Он был значительно старше Платона. Всякая попытка более точной хронологии разбивается о двусмысленность и недостоверность хронологических данных. Для понимания Антисфена поработал Ferd. Dümmler. См. его *Antisthenica*. Bonn, 1882, теперь *Kleine Schriften I* 70—78; *De Antisthenis logics*, там же 1—9; *Akademica*. Giessen, 1889. Этот рано умерший ученый (1859—1896) был образован, проницателен, поразительно расторопен и неутомимо деятелен; судьба помешала ему достигнуть полной зрелости. Его попытка свести как кинические, так и гераклитовские элементы стоицизма к Антисфену соблазнительна, но не выдерживает критики. Dümmler не заметил, что Антисфен, стоявший в гносеологии близко к мегарикам и неоплатонам, не мог даже наполовину быть гераклитовцем, не ставши запутанным эклектиком. Объявить же его таковым без строгого доказательства только на основании некоторых комбинаций было бы в высшей степени произвольно и несправедливо по отношению к незащитному мыслителю, сочинения которого погибли и с учением которого мы знакомимся только из полемических выпадов его противников — Платона и Аристотеля.

\*\* (Стр. 127). Мемор. III 9, 10 сл.

\* (Стр. 129). Цитата у Климентя, *Strom.* II 20, 485 Potter.



\* (Стр. 130). Приговоры по адресу... Алкивиада и Перикла: см. Афин. V 220с—d и XIII 589е.

\*\* (Стр. 130). «О природе животных». См. Л. Диог. VI 1, 15. — Примеры из жизни животных, напр., у Диона, речь 40, 174, II R (eiske) = II 54, 24 A(rnim) u. fin. 68, 364 (IIK) = 172, 18A. — Идеализация народов в естественном состоянии: см. Rhode, Griech, Roman<sup>2</sup> 214 сл. Много поучительного у Dümmler'a, Prolegomena zum platonischen Staat (Kleine Schriften I 150 сл.). — Стих из Гомера, Ил. XIII, 5/6. — Заимствовано из 6-й речи Диона: Διογένης ἡ περὶ τυραννίδος («Диоген, или О тирании»), в особенности стр. 206 R (I) = I 88, 14 сл. А. Речь является несомненно тем, за что она себя выдает: изложением кинических мыслей и изречений. Polemika против платоновского «Протагора» была до сих пор не замечена, но она несомненно есть. Ср. особенно Дион, Op. cit., стр. 21 сл. А. с «Протагором» Платона 321a—с.

\* (Стр. 132). Руссо: Discours sur les sciences et les arts, 2-nd partie, note 1.

\* (Стр. 133). Цитаты из Толстого взяты из книги: Melchior de Vogüé, Le roman russe, p. 310/1. Вогюз указывает на «vertige séculaire oriental», он указывает также на Индию, учения которой снова расцветают «dans la frénésie qui précipite une partie de la Russie vers cette abnégation intellectuelle et morale, parfois stupide de quiétisme, parfois sublime de devouement...» (стр. 313).

\*\* (Стр. 134). Я имею в виду статью Götting'a: «Diogenes und die Kyniker» или «Philosophie des griechischen Proletariats» (Ges. Abhandl. I 251 сл.)

\* (Стр. 136). См. Л. Диог. VI 9, 105 и VI I, 11.

\*\*\*\*\* (Стр. 136). См. Л. Диог. VI 1, 3.

\* (Стр. 137). Прометей и Геракл: здесь мы черпаем из 8-й речи Диона Διογένης ἡ περὶ ἀρετῆς («Диоген, или О добродетели»).

\*\*\* (Стр. 137). См. речь Диона к александрийцам I 657 R. = I 269, 11 A: τῶν δὲ Κυνικῶν λεγομένων ἔστι μὲν ἐν τῇ πόλει πλῆθος οὐκ ὀλίγον («А так называемых киников в этом городе немалое число»); затем 6 и 7 письма императора Юлиана (εἰς τοὺς ἀλαιδεύτους κύνας («к невоспитанным собакам») и πρὸς Ἡράκλειον κυνικόν («к кинику Гераклию»), I 234—310 Hertlein). Иоанн Златоуст (XLIX 173 Migne) указывает на трусость, якобы проявленную киниками в отличие от монахов в Антиохии во время восстания в 387 г. по Р. X. Ср. Gibbon,

Decline and fall... III<sup>2</sup> 48. (Точные даты по Rauscher'y, Jahrb. d. christl. Kirche unter Theodosius, 512—520). «Заблуждение» — τῶφος.

\* (Стр. 138). О Кратете см. Диог. VI 5. Он еще жил, когда Птолемей Филадельф взшел на престол (285 г. до Р. Х.), см. Hense, Proleg. ad. Telet. rel., p. 27. Отрывки его стихотворений собраны Bergk'ом, Poetae lyr. Gr. II<sup>4</sup> 364 сл., часть воспроизведена Curt'ом Wachsmuth'ом, Corpusculum poesis epicae Graecae ludibundae II<sup>2</sup> 192 сл. Интересно стихотворение (Frg. 17, Bergk): «Любовь исцеляет голод, время; если не помогают ни то, ни другое, есть третье: веревка». Вот еще известные стихи в свободной передаче: «Ни один дом, ни одна ограда не родина для меня; где только в мире я нахожу приют, там уже не чужбина». Отрывки его трагедий у Nauck'a, стр. 809 сл. Также добавления к ним Tragicae dictionis, index, p. XXVII и автора Nachlese zu den Bruchstücken der griech. Tragiker, стр. 48 сл., теперь Hellenica I 140 сл. О Бионе см. дальше, о Телете также. — О римских киниках и в особенности о Перегрине см. Bernays, Lucian und die Kyniker с переводом сочинения Лукиана «О смерти Перегрин». Berlin, 1879.

\* (Стр. 139) (При переводе с немецкого языка явилось большое уклонение от подлинника. 4-ю строку нужно перевести так: «Не забредет и блудник, дразнящий продажной любовью». — Прим. Д. Ж.) Несмотря на подражание «Одиссею», я не отношу этого отрывка к силлам Кратета, как это делает Wachsmuth. Уже его понимание первого стиха: «terra... quae jacet in medio philosophorum fastu» («земля... которая лежит посреди тщеславия философов») кажется мне слишком узким. Речь идет не «de dogmaticorum placitis» («о мнении профессионалов»), а о ходячем понимании жизни. Я читаю (как и Дильс) V. 4 λόρνησ' ἐλαγαλλόμενος λύρην («переведено в тексте, букв.: „блудник, гордящийся задом“»).

\*\*\* (Стр. 139). Я заимствую из 13-й речи Диона, в оценке которой я всецело совпадаю с Арнимом, Leben und Werke des Dio von Prusa (1898), стр. 256. Вместе с ним я считаю ошибочным предположение Dümmler'a, будто Дион пользовался здесь «Архелаем» Антисфена. Но что он черпал из древнекинического и, вероятно, антисфеновского сочинения, это весьма правдоподобно. См. or. 13, I 424 R = I 182, 20 сл.

\*\*\*\* (Стр. 139). Это сообщает Афинею V 220 D: ὁ δὲ πολιτικός αὐτοῦ διάλογος ἀπαντῶν καταδρομῆν περιέχει τῶν Ἀθηνησιν δημαγωγῶν («А его диалог „Политик“ нападает на всех афинских демагогов»). Даже своего учителя Горгия он будто бы осмел, как сообщает Афинею в диалоге «Архелай»; он полемизировал также с Исократом (Л. Диог. VI 1, 15). Приписываемые Антисфену речи «Аякс» и «Одиссей» (Orat.

att. II 167 сл.) мы вместе с большинством исследователей считаем неподлинными.

\* (Стр. 140). 13-я речь Диона.

\* (Стр. 141). Очень подробно о Диогене говорит Л. Диог. VI 2: неполная монография у Götting'a, *Gesammelte Abhandlungen* I 251 сл. Собрание изречений у Mullach'a, *Fragmenta* II 295 сл. — См. Дион, 8-я речь, I 275 K = I 96, 3 сл. А.

\*\* (Стр. 141). «Сумасшедший Сократ». Это выражение приписывается Платону Л. Диог. VI 2, 54 (Cobet без всякого основания заключил эти слова в скобки), также Элиан, *Varia hist.* XIV 33.

\*\*\* (Стр. 141). Объяснение легенды о занятии Диогена выделкой фальшивых монет принадлежит Дильсу: «Aus. d. Leben d. Kynikers Diog.», *Festgabe*, издателей Arch. f. Gesch. d. Philos., Целлеру, Berlin, 1894, стр. 3—6.

\* (Стр. 142). Авторами двух «древних сочинений» называют неизвестного Евбула и Мениппа (Евбулид и Гермипп, по любезному сообщению Wywaters, неправильное чтение). По-видимому, это выдумка киинического поэта Мениппа, Διοῦβουρος πρᾶσις («Продажа Диогена»), повод которой дала действительная продажа Платона на Эгине. Эта же сказка могла в свою очередь послужить образцом для Лукиана βίῳν πρᾶσις («Продажа жизни»). Приводимое сообщение Диона гласит: ἐπεὶ δὲ ἀπέθανεν ὁ Ἀντισθένης... μετέβη εἰς Κόρινθον («А когда Антисфен умер, он переселился в Коринф»), речь VIII, I 276 R = I 96, 17 сл. А. — Диоген в доме Ксенаида: Л. Диог. VI 2, 30 сл.

\*\* (Стр. 142). Сила, веселость, здоровье: см. Юлиан, речь VI 195a = I 252, 21 Hertlein и Эпиктет *Dissert.* III 22, 88 и IV 11, 22 = стр. 277, 4 и 391, 22 Schenkl. — Диоген и Кранейон: см. Павсаний, II 2, 4 Плутарх, *De exilio* VI, Жизнь Александра XIV, Алкифрон III 60, Дион IV 147, VI 199, IX 289 R = I 58, 4; I 84, 4; I 103, 17 A: Curtius, *Peloronnes* II 529. О конце его жизни см. Л. Диог. VI 2, 76 сл. Если поэт Керкид в действительности был современником Диогена, как это думают (см. Stephanus, *Byzant. s. v. Μεγάλη πόλις* и Meineke, *Analecta Alexandrina*, стр. 390), то в самоубийстве нельзя сомневаться. Стихи у Л. Диог. в указанном месте разбирает Bergk, *Poetae Iyr. Gr.* II<sup>4</sup>, 513. О происхождении этой клички уже в древности мнения расходились. См. Elias (раньше David), *Kommentar zu den Kategorien, Commentaria in Arist.* XVIII, стр. 111, 2. Berlin, 1900. Наиболее правильный взгляд у Н. Weber'a, *De Dione Chrysostomo cynicorum sectatore*, стр. 103 сл. Собака была образцом бесстыдности, а кииники бросали вызов нравам и условностям. В свою очередь они указывали на прекрасные качества собак, их верность, бдительность, острую

наблюдательность и т. п. По-видимому, прозвище дано было уже Антисфену.

Образ Диогена часто подвергался искажениям. Нищенский образ жизни, на который указывают многие изречения и позднейшие сообщения, он вел только временами. Пребывание в бочке было временной необходимостью, он избрал его не без намерения, чтобы показать свою неприхотливость (Л. Диог. VI, 2, 23). Трудно доискаться исторической правды, так как последующее время стремилось переносить черты позднейшего кинизма на древнейших представителей. Но мы приближаемся к оригиналу, когда всматриваемся в его образ, рисуемый речами Телета сто лет после его смерти. У него находим мы объяснение, данное Диогеном тому, почему он не преследует убежавшего раба: «Если Ман может жить без Диогена, то почему бы Диогену не жить без Мана?»

Таким образом, в то время, когда Телет писал, Диогена считали рабовладельцем, что вряд ли совместимо с нищенской жизнью. А так как все подобное Телет почерпнул у Биона, то подлинность этого образа приобретает новую опору. О костюме Диогена см. поучительное исследование Leo в *Hermes*. XLI, 441 сл. («Diogenes bei Plautus»).

\* (Стр. 143). О Мониме, Онесикрите, Кратете, Метрокле, Гиппархии говорит в указанной последовательности Л. Диог. VI с 3 сл. О поэзии Кратета была уже речь выше. Приписываемые ему письма мало что дают, частью они наполнены изречениями, приписываемыми в других местах Диогену и Антисфену, частью они плохи до безвкусицы как № 24 (*Epistolographi Graeci*, ed. Hercher, p. 213). Наоборот, письма, приписываемые Диогену (там же, 235 сл.), представляют собой довольно полезный источник (см. Weber, Указ. соч., 93 Note 1). Комедия, как это можно было ожидать, сильно преследовала киников. Менандр заставляет Монима нести не одну, а три нищенские сумы; Филемону кажется недостаточным, чтобы Кратет носил зимой и летом одну и ту же одежду: зимой он носит более легкую, летом более тяжелую. Не щадят и супругу Кратета Гиппархию (см. II, 523, III 35 и III 72 Kock). О посещении Онесикритом индийских гимнософистов подробно сообщает Страбон (XV 716), вероятно, по сочинению Онесикрита об Александре.

\*\*\* (Стр. 143) Отрывки драм Диогена, несправедливо (как думает автор и как он пытался это доказать в *Zeitschr. f. österr. Gymnas.* 1878, стр. 255) объявленных неподлинными, у Nauck'a стр. 807 сл.; смотр. его же *Tragicarum dictionis index*, стр. XXVI сл.

\* (Стр. 144). Отрывки из Телета, сохранившиеся у Стобея, собраны, переработаны и снабжены прекрасным предисловием Otto Hense: *Teletis reliquias edidit, prolegomena scripsit O. H. Freiburg, 1889, 2 Aufl. 1909.*

\* (Стр. 145). «Государство» Диогена: о подлинности автор говорит в цитир. выше журнале 254. Указанный выше в тексте «Эдин» Диогена трактовал, наверное, вопрос о кровосмешении в том смысле, как это мы знаем из Диона. X кон., «Атрей» и «Фиест» — вопрос антропофагии Диог. VI 2, 73. Крайние проявления презрения к нравам у Диона VI I 203 сл. R = I 86/7 A. Из речи императора Юлиана (VI = I 250, 20 сл. Hertlein) мы узнаем, что его занимала мысль, что люди должны отказаться от пользования огнем и перейти к *ἀποφαγία* («поедание сырого мяса») зверей. Отсюда анекдот, что он умер от вкушения сырого мяса: Плутарх, *Aquane an ignis sit utilior* Пб и Плутарх (?) *De esu carniū* I, 6 (*Moralia*, ed. Dübner 1170, 40 и 1217, 49): см. также Л. Диог. VI, 2, 34).

\* (Стр. 146). Плутарх или, правильнее, Эратосфен у Плутарха: *De Alexandri fortuna* 329a = *Moralia* 403/4 Dübner. Также у Страбона I стр. 66. Ср. поучительную статью Eduard'a Schwartz'a: «*Hekataios von Teos*» *Rhein Mus.* XL 223 сл. и Ulrich'a Köhler'a: «*Fragmente zur Diadochengeschichte*» (*Berl. Sitzungsberichte* v. 26. Febr. 1891), в которых разбираются замечательные эксцериты Суды.

\*\*\* (Стр. 146). «Один пастырь и одно стадо»: см. Плутарх, *Op. cit.* — Костяные деньги: Афин. IV 159C и Филодем, разобранный автором в вышеуказанном месте. — Общность детей: см. Л. Диог. VI 2, 72.

\* (Стр. 147). Свободная любовь: Л. Диог. указ. соч. *τὸν κείσαντα τῇ κείσθεισῃ συνεῖναι* («кто какую склонит, тот с той и сожительствует»), в сравнении с VII 131 по Зенону и Хрисиппу: *ὥστε τὸν ἐντυχόντᾳ τῇ ἐντυχούσῃ χρῆσθαι* («чтобы сходиться, кто с кем случится»).

\*\* (Стр. 147). Название книг у Л. Диог. VI 16 сл.

\* (Стр. 148). Мягкость и кротость: см. *Origenes contra Celsum* III 50 = стр. 142 Spencer; *Aristides* II 400 сл. Dindorf, Эпиктет *Dissert.* III 24, 64 (стр. 297, 1 Schenkl). — С монотеистическим исповеданием Антисфена, известным нам раньше по сообщению Цицерона, *De nat. deor.* I, 10, 26, теперь мы знакомимся у Филодема. О благочестии стр. 72 моего издания: *παρ' Ἀντισθένη δ' ἐν μὲν τῷ Φυσικῷ λέγεται τὰ κατὰ νόμον εἶναι πολλοὺς κατὰ δὲ φύσιν ἕνα* («У Антисфена в „Физике“ говорится, что все существует согласно закону и согласно природе»). — У Климента *Protrept.* VI 71 (61 Pott) и *Strom.* V 108 (7141) Антисфен говорит, что божество нельзя узнать ни из какого изображения.

\* (Стр. 149). Яков Бернайс: *Lucian und die Kyniker*, стр. 31. — Шутка Диогена у Л. Диог. VI 2, 37 и 72. Другие версии у Бернайса,

стр. 95. На почву народной религии Антисфен становится в изречениях у Иоанна Дамаскина в Append. к Stob. Floril IV 199, 7b Meineke.

\*\* (Стр. 149). Изречения Антисфена и Диогена у Климента, Protrept. стр. 64 Potter; Л. Диог. VI 4; Плутарх, De audiendis poetis IV = Moralia, ed. Dübner 26, 4, разбавлено у Л. Диог. VI 2, 39.

\* (Стр. 150). Большие выдержки из Γοήτων φόρα («изобличение обманщиков») Эномая, у Евсевия Праер. evang. V 19 сл. и VI 7. Об его Κυνός αὐτοφονία («Самоубийство собаки») см. Cursius, Rhein. Mus. XLIV 309 сл. О его трагедиях с отвращением говорит император Юлиан, речь 210b = I 273, 6 Hertlein, но он же приводит слова его о древности кинизма и хвалит его независимость от учений глав школы (VI 187c I 242, 22 H). Культурно-исторический уникум представляет собой личная дружба Эномая с рабби Меиром; см. Comptes rendus de l'Acad. des Inscript., 1883, стр. 258).

\*\* (Стр. 150). Остатки поэзии Керкида, состоявшие до сих пор из дюжины стихов, теперь (1911) внезапно обогатились. См. Охугунчус Раруги VIII 20 сл. Издатель Arthur Hunt прекрасно решил главные вопросы. Он воспользовался советами v. Wilamowitz'a; дальнейшую критику и объяснение к тексту дает v. Arnim. Wiener Studien XXXIV 1 сл. — Керкид, которого мы уже знаем как прославителя Диогена (см. стр. 139), занял почетное положение в своем родном городе, может быть, только в последнее время своей жизни; если традиция не обманывает, то он был законодателем (см. Kühl в Rhein. Mus LXVII и, во всяком случае, военачальником в битве при Селласии (221 г. до Р. Х.). Тем удивительнее его киническое мировоззрение, его ненависть к богатству и наслаждениям, к расточителям и скупцам; он выражает эту ненависть в смелых словах, как σοῦλλοῦτοσύνη («свинская жадность»), ἐκχυμενίδας («транжиры, расточители») или ῥυλοκίβδοτόκων («породители грязных обманов»). Интересно было бы знать, в каком контексте в отрывке 5 упоминается Сфер, стоик, который, по всей вероятности, внушил царю Клеомену III его аграрно-коммунистические тенденции. О личности Керкида см. Полиб. II 48—50 и 65 (I 182 сл. и 203 сл. Büttner Wobst) и Grote History II<sup>3</sup> 530 сл.

\* (Стр. 151). Это возглас Антисфена у Л. Диог. VI 6, см. Bernays, Op. cit., стр. 92.

## К главе 8

\* (Стр. 155). Отсталые старики, нищие духом и т. д. см. Платон, Софист 251b/c, Арист. Мет. Δ29 1024b 32 и Η3 1043b 24. — Первая попытка беспристрастной оценки: Gustav Hartenstein, Über d.

Bedeutung der megarisch. Schule für die Geschichte der metaphysischen Probleme (1847, теперь в Historisch-philos. Abhandl 127 сл.)

\*\*\* (Стр. 155). Узурпаторская попытка Теаргена не могла оказать влияния, так как была слишком кратковременна.

\*\* (Стр. 156). Об Евклиде и его учениках см. Л. Диог. II 10, особенно § 106. См. Ferd. Deuycks, De Megaricorum doctrina (Bonn, 1827).

\*\* (Стр. 158). Мнение об Абеляре принадлежит Виндельбанду: Gesch. d. Philos. Freiburg. 1892, стр. 243. Прим. 3.

\* (Стр. 159). Известный историк философии: Виндельбанд, Op. cit. стр. 236. Прим. 1.

\* (Стр. 160). Следующая цитата из Целлера: Geschichte der deutsch. Philos., стр. 840 сл. — (§ 3). Контаминирующие суждения: см. Н. Gomperz, Zur Psychologie der logischen Grundtatsachen (1897), гл. 3, в особен. стр. 54 сл.

\* (Стр. 163). См. Л. Диог. VI 2, 53; Simplicius In Aristotelis categorias f. 66b/67a Brandis; Ammonius In Porphyrii Isagogen 22 B.; Феопомп Fragm. 335, Fragment. histor. graec. I, 331, сомнения Миллера можно считать здесь необоснованными.

\*\* (Стр. 163). Указание Платона: Софист 251b—с.

\*\* (Стр. 164). Только суждения тождества: Аристотель, Met. Δ29 1024b 32 и Плат. Софист, там же.

\* (Стр. 165). Определения: см. Diogenes VI 1, 3. К дальнейшему см. Аристот. Met. Н. 3 1043b 24 и Плат. Теэтет 201e сл. Правильно ли решение, предлагаемое нами, об этом можно спорить. Но совершенно недопустимо предположение, что своим недопущением никаких суждений, кроме суждений тождества, Антисфен поставил крест на науке. Тогда следовало бы идти дальше и утверждать, что он вообще отказывался от всякого поучения, что он отказывался говорить о теплоте солнечных лучей или о холоде льда. В действительности — по изложенным в тексте основаниям — он мог находить неправильным употребление в подобных суждениях глагола «быть». Если это было так, то он должен был, подобно Ликофрону, прибегать к другим оборотам. Если же мы верно угадали его мысль, то он явился предшественником Томаса Брауна (см. Милль, Логика, кн. II, гл. 3, § 6, Ges. Werke II<sup>2</sup> 231 сл.)

\*\* (Стр. 166). Противоречие невозможно: Арист. Met. там же (μακρὸς λόγος) («многословие») 1043h 26 см. также N 3, 1091a 7 с примечаниями Швеглера), также Толика A 11, 104b 20. Затем Плат. Евтидем 285d сл., Кратил 429d сл. Ср. также насмешки Исократ в

начале «Елены». Сочинение Антисфена, направленное против Платона, называлось Σάφον ἢ περὶ τοῦ ἀντιλέγει («Сафон, или О противоречии»), Д. Диог. VI 1, 16 — Исследование наименований: у Эпиктета Dissert. I, 17, 12 (57, 11 Schenkl) ἀρχὴ παιδείσεως ἢ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις («начало воспитания как исследование имен»).

\*\* (Стр. 169). Стих Тимона (fragm. 41 Poesis Iudibunda ed. Wachsmuth II<sup>2</sup> 152) οὐδ' ἐριδάντω/Εὐκλείδω, Μεγαρεῶσιν ὅς ἐμβαλε λόσσαν ἐριστοῦ («ни спорщика Евклида, который принес мегарцам ярость спора») не должен ввести нас в заблуждение. Рассказанный Плутархом анекдот (Mor. 560, 46 и 593, 14 Dübner) De cohibenda ira 14 и De fraterno amore 18 показывает, что его считали образцом скромности. Его вспыльчивый брат кричит ему: я погибну, если не отомщу тебе. Он отвечает: я тоже, если не успокою тебя. См.: Л. Диог. II 10, 107. Здесь же Л. Диог. называет заглавия шести диалогов Евклида. К несчастью, из них ничего не сохранилось. В подлинности их и диалогов Федона сомневался Панэтий, который отбрасывал всю сократическую литературу в диалогах за исключением Платона, Ксенофонта, Антисфена и Эскина (Л. Диог. II 64). Нам кажется, что литературно-историческая критика стоика-эклектика совершенно неосновательна. На том основании, что, высоко ценя Платона, он не разделял его веры в бессмертие, он отбрасывал Федона. Сочинения стоика Аристана он приписывал одноименному с ним перипатетику только по той причине, что ему не нравился кинизм этого стоика. Так же произвольно было отнесение насмешки Аристофана в «Лягушках» (1493 сл.) вместо Сократа к неизвестному поэту этого же имени. Здесь мы высказываем лишь наше убеждение; подробнее об афетезах Панэтия ниже.

\*\*\* (Стр. 169). Об Евбулиде см. Л. Диог. Op. cit. 108 сл. О его страстной полемике против Аристотеля см., главн. обр., Евсевия Praeparatio evang. XV 2, 5, Афиней VIII 354 С; последний X 437 D приводит два язвительных стиха из его комедии (см. II 431 Kock.)

\* (Стр. 170). О софизме «Куча» преимущ. Л. Диог. VII 82. Цицерон, Acad. priora II 29, Sextus, Pyrrh. II 253 и adv. mathem. VII 416 (117, 19 и 281, 17 Bekker).

\* (Стр. 172). О «Лжеце» см., прежде всего, Цицерон в указанном месте § 95, Gellius Noctes Atticae XVIII 2, 10, затем Аристотель: Sophistici elenchi XXV 180b 2.

\* (Стр. 173). Хрисипп: по Л. Диог. VII 197. Феофр.: по Л. Диог. V 49 кон. О «Лжеце», его значении и истории очень подробно и с большим знанием говорит Alexander Küstow в монографии, носящей это же заглавие (Leipzig, 1910). Сюда относящийся отрывок Хрисиппа (В геркуланском папирусе 307) разбирает автор стр. 72 сл.



\*\* (Стр. 173). «Электра» или «Покрытый»: см. Лукиан: *Vitarum auctio* 22 (562), Л. Диог. VII 198, Арист. в указ. месте XXIV, 179а 33.

\* (Стр. 174). Эпикур: см. сочинение автора: *Neue Bruchstücke Epikurs*, Wien 1876, стр. 7: διὸ καὶ ῥαδίως ἄπαντες καταγέλῳσιν ὅταν τις ὁμολογήσαντός τινος μὴδ' ἐνδέχεσθαι ταῦτὸ ἐκίστασθαι τε καὶ μὴ προφέρει τὸν συγκεκαλυμμένον (непереводимо). Автору этого силлогизма тотчас дали кличку софиста.

\* (Стр. 175). См. Л. Диог. VII 187 и II 135, также VI 38; Gellius, *Noct. Att.* XVI 2, 4 сл. Упоминается также Аристотелем, *Op. cit.* XXII, 178а 29. Алексин: отрывок из его сочинения *περὶ ἀγωγῆς* («О состязании») открыл и восстановил v. Arnim. *Hermes* XXVII 65 сл. я не могу так серьезно отнестись к анекдоту Л. Диог. II 109, как Арним (там же, стр. 70). Эпоха определяется точнее, чем прежде, через *Terminus ante quem* этого сочинения 282/1. — Сильпон: см. Л. Диог. II с. 11. — Прослыл за «светского человека»: это правильное объяснение *πολιτικώτατος* у Л. Диог. *Op. cit.*, § 114; см. v. Wilamowitz, *Antigonos von Karystos* стр. 142, несмотря на возражение Susemihl'я (*Alexandrin. Lit.-Gesch.* I 17).

\*\* (Стр. 175). О Сильпоне как моральном философе см. особенно Сенека *Epist.* IX I и 18, далее Телет 45, 10 Heuse. — Единственный отрывок, разобранный автором *Rhein. Mus.* XXXII, 474 сл.: Στίλῳνι Μητροκλεί (этот диалог знает Л. Диог. II 120) ἐνεβρίκει τῷ Στίλῳνι Μητροκλῆς («Метрокл обрушился на Сильпона»). Не вполне очищенная от добавлений Телета цитата у него же стр. 14 Hense. См. v. Wilamowitz (*op. cit.*, стр. 360), который прекрасно восстановил вступление. Уничтожая две вставки критиков, я читаю: *τι λέγεις, φηδί, καὶ τίνων ἢ φυγῆ, ποίων ἀγαθῶν στερίσκει, τῶν περὶ ψυχὴν ἢ τῶν περὶ τὸ σῶμα ἢ τῶν ἐκτός* («Он говорит: что ты имеешь в виду? Каких благ лишает человека изгнание? Тех, что относятся к душе или тех, что относятся к телу, или внешним?»).

\* (Стр. 176). Насмешка Кратета над Сильпоном у Л. Диог., *Op. cit.* 118. Там же шутка Сильпона над Кратетом. С обеих сторон были сравнительно безобидные колкости.

\*\* (Стр. 176). Я не вижу оснований относить слова Л. Диог. ἀνῆρει καὶ τὰ εἶδη («отвергал общие понятия») (*Op. cit.* 119) исключительно оспариванию Платонова учения об идеях. Контекст говорит против этого; здесь нужно видеть оспаривание субстанциального бытия родовых понятий вообще. Следует сравнить то, что сообщается об эретрийской школе, т. е. преимущественно об ученике Сильпона Менедеме: ἀνῆρου τὰς ποιότητας ὡς οὐδαμῶς ἔχουσας τι κοινὸν οὐσιώδες, ἐν δὲ τοῖς καθ' ἕκαστα καὶ συνθέτοις ὑπαρχούσας («Они считали, что качества

сущности не имеют ничего общего, но существуют в отдельных и составных вещах») (Simplicius in Aristotelis categorias 68a 24 Brandis).

\* (Стр. 177). Об этом и о предшествующем смотри Плутарх против Колота 22 (Vor. 1369 Dübner), — (§ 9). См. Аристокл у Евсевия Praer. evang. XIV 17, 1.

\*\* (Стр. 177). О жизни Диодора нам известно очень мало: см. стр. 196 сл. Подробнее говорит о нем Brandis, Griech-römische Philosophie II 1, 124 сл. и Ritter, Geschichte der Philosophie II 137 сл. Интересное дает также Tennemann II 146 сл. Так, напр., о его мнимой корпускулярной теории (Евсев. Praer. evang. XIV 23, 4; Секст, adv. mathem. X 85 = 493, 11 Bekker; Stob. Eclogae I 310 и 350 = I 128, 10 и 143, 20 Wachsmuth, Simpl. in Phys. 926, 20 Diels): «Es scheint uns daher wahrscheinlicher, dass er die Atomen des Leukipp nur als Hypothese zum Behuf der letzten (nämlich der Argumente gegen die Bewegung) annahm». (Op. cit. 151). Главные места об этом аргументе у Секста в указ. мест. и X 112 сл. (499, 5 сл. Bekker). Наше понимание довольно близко сходится со взглядом Прантля (Gesch. d. Logik I 55 сл.)

\* (Стр. 179). Аргумент против возможности называется κριβὸν λόγος. Это обозначение не должно означать «победоносный» или «непреодолимый», но относится к своему содержанию, как все аналогичные названия (ὁ ἀγὸς λόγος, ὁ ἀξάνόμενος, ὁ ψευδόμενος («блестящий аргумент, усиливающий, ложный») и т. д.) Это утверждал Гассенди (Opera, Lyon, 1658 I, стр. 52a). Лучше всего, может быть, перевести: «положение о всесильности». — Цицерон: ad familiares IX 4. Подробный разбор у него же: de fato с. 6 сл. Ср. Эпикт. II 19 сл. (169/70 Schenkl). Плутарх: de Stoicorum repugn. 46 (Mor. 1291 30 Dübner). Александр у Аристот. analyt. prior. 183/4 Wallies. Иначе у Gercke, Chrysiprea, стр. 725 сл. Лейпциг, 1885.

Обо всем этом смотри важный отрывок Клеанфа у v. Arnim, Stoicorum veterum fragmenta I 109 сл.

\*\* (Стр. 182). Германн Бониц: Kommentar zu Aristoteles Methaphysik Θ 6 1048b (стр. 395, п. 1): mira levitate, ut dicam quod sentio, Aristoteles his notionibus defungitur etc («Удивительно легко высказать, что я чувствую. Аристотель здесь переносит (подменяет) понятия»). С ним согласен Grote, Plato III 495 Прим.: I will not use so uncorteous a phrase; but I think his refutation of the Megarics is both unsatisfactory and contradicted by himself. Противоречие существует между Метаф. Θ 3, особенно 1047a 25, и Θ 5 1048a 1 24. С целлеровским взглядом на спорный вопрос я не могу согласиться II<sup>4</sup> 1, 257. К дальнейшему см. Clemens Strom. IV 19, 619 Potter. Мужское имя Феогнид, а Менехене есть недопустимое образование женского имени из мужского Менехепос. Наименование одного раба

ἄλλανθῆν и собственных сыновей Μέν и Δέ (ср. Аммоний у Арист. de interpret, стр. 38, 17 Busse и Стефан в комментарии к тому же сочинению, стр. 9, 21 Hayduck), учение о том, что двусмысленностей не может быть (Aulus Gellius XI, 12) — все это тесно связано с его защитой условной теории языка, что Стефан в указ. месте определенно утверждает, а Аммоний достаточно ясно намекает.

\* (Стр. 183). Секст, Pyrrhon. II 245 (стр. 115, 13 Bekker) рассказывает анекдот. К Диодору, вывихнувшему себе плечо, призывают известного александрийского врача Герофила. Последний, ссылаясь на зеноновский аргумент, вновь выдвинутый Диодором против возможности движения, доказывает ему, что он не мог получить этого повреждения. О происхождении, юности и славе Диодора см. Л. Диог. II 111. — Зенон: по Л. Диог. VII 25.

\* (Стр. 183). Клиномах: см. Л. Диог. II 112 — Федон: о нем говорит Л. Диог. II с. 9. Немногочисленные отрывки разбирает Preller, *Ausgewählte Aufsätze*, стр. 370, недавно v. Wilamowitz: *Hermes* XIV 189 сл. Там правильные, по-видимому, заключения о его положении между Антисфеном и Аристиппом.

\* (Стр. 184). Менедем: ему Л. Диог. посвящает 170-ю главу 2-й книги. Разбор источников у Wilamowitz'a, *Antigonos von Karystos* 86 сл. Круг Менедема там же 140/2. — Личное знакомство Антигона с Менедемом оспаривает на основании хронологии Beloch, *Griech. Geschichte* III, 1, 499 Ант. Отрывки Ликофрона у Nauck'a<sup>2</sup> стр. 817. Это были литературно-исторические сатиры. — О дальнейшем см. Плутарх, *de adulate et amico* 11 (Mor. 66, 46 Dübner). О его учении о добродетели см. Плутарх, *de virtute morali* 2 (Mor. 535, 1 D). Остроумные замечания Менедема у Плутарха *de profectibus in virtute* 10 (Mor. 97, 37 D) и *de vitioso pudore* 18 648, 42 D). Хрисипп говорит об уже потускневшей славе Стильпона и Менедема, Плутарх, *de Stoicorum repugn.* X 11 (1268, 18 D).

\* (Стр. 186). Субстанциальное бытие: см., примеч. к стр. 176.

## К главе 9

\* (Стр. 187). Описание местности заимствовано у Heinrich Bart'a, *Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres*, I с. 8; Elisée Reclus *Nouvelle géographie universelle* XI, стр. 8 сл.; Beechey *Proceedings of the expedition to explore the north coast of Africa*, стр. 431 сл. Пиндар: *Pyth.* IV 7. Цитата из Барта, *Op. cit.*, стр. 425.

\* (Стр. 189). Об Аристиппе говорит Л. Диог. II с. 8. См. Н. von Stein, *De philosophia Cyrenaica (pars prima)*, Göttingen 1885. — С уче-

ником Сократа, а именно с Исомахом. См. Плутарх, de curiositate, с. 2 (Mor. 624, 38 сл. Dübner). О его общении с Сократом см. Ксен. Мемор. II 1 и III 8. У Ксенофонта он выступает очень самостоятельно. — Уроки за плату: об этом древний источник, Фаний из Эреса, сотоварищ Теофраста, у Л. Диог. в указ. месте § 65. — Арист. Метаф. В. 2 996a 32. — Был ли Аристипп при дворе старшего или младшего Дионисия, об этом с уверенностью ничего нельзя сказать. Грот, Plato III 549 сл. несомненно прав, когда на анекдот, относящийся к одновременному пребыванию Платона и Аристиппа, смотрит как на «illustrative fiction». Более вероятным кажется ему посещение им Дионисия I, чем II. Арист.: Мет. М. 4, 1078a 32, ср. с указанным выше местом.

\*\* (Стр. 189). Феопомп: у Афиней XI 508 С. Указанные выше διατριβαί («диатрибы») появляются в перечне сочинений у Л. Диог. II 84: ἔνιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτὸν φασιν ἐξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὄλας γράψαι ὡν ἐστὶ καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος («Некоторые говорят, что он написал шесть диатриб, некоторые же, как Сосикрат Родосский, что — вообще ничего»). Это тот же самый, который вместе с Панетием приписал сочинения стоика Аристона — вопреки свидетельству заглавия и содержания — перипатику того же имени (Л. Диог. VII 163). Тотчас после этого Л. Диог. сообщает о Панетии, что он в противоречии с общим суммарным отрицанием II 64 (смотри выше) двенадцать упомянутых там сочинений признавал подлинными, и, следовательно, другие прежде упоминаемые неподлинными. Сохранился небольшой отрывок у Деметрия, de elocutione § 296: οἱ δὲ ἄνθρωποι χρήματα μὲν ἀπολείλουσι τοῖς παισίν, ἐπιστήμην δὲ οὐ συναπολείλουσιν τῇ χρησομένῃ τοῖσιν ἀπολείφθαι («Люди оставляют детям средства, но не оставляют при этом знания, как пользоваться оставленным»). Последние два слова последний издатель удачно восстановил из переданных τοῖσιν ἀπολείφθαι — ср. Demetrii Phalerni qui dicitur libellus, L. Radermacher, Leipzig 1901, стр. 60, 27 и стр. 121. Ἀρίστιππος ἢ Καλλίας («Аристипп или Каллий») приводится как диалог Стильпона Л. Диогеном II 120. Он же упоминает диалог Ἀρίστιππος («Аристипп») IV 5. Спевсиппа.

\* (Стр. 190). Одно изречение Stob. flor. XVII 18 = III 493, 15 Hense, другое ἔχω, οὐκ ἔχομαι у Л. Диог. II 75 и у других. — Гораций: Epist. I 17, 24 и I 1, 18/9.

\*\* (Стр. 190). Арист. Ритор. В 23 1398b 29 — Солнечная веселость: см. Aelian., var. hist. 14, 6 (II 160, 23 сл. Hercher). О бюсте, по-видимому, изображающем Аристиппа, см. Franz Winter, стр. 436 сл. в сочинении, посвященном автору. — Цицерон: Magnis illi et divinis bonis hanc licentiam assequabantur («Ведь благодаря тем великим и божественным добродетелям они достигли такой свободы») (De

officiis I 41, 148). — Интересна похвала Максима Тирского Diss. VII 9, стр. 125. Рядом со злобными анекдотами, которые Афиней почерпнул главным образом из Гегесандра (XII 544 с. 63), есть и другие, приводимые Плутархом, de cohibenda ira (Мог. 561, 2 D). Здесь Аристипп отличается в споре с Эхином как спокойным хладнокровием, так и невольным признанием его превосходства со стороны его сотоварища и противника. — Монтестье: приведено у Karl Hillebrand, *Zeiten, Völker und Menschen*, V 14.

\*\* (Стр. 190). Платон: в Теэтете 156a (κοιψότεροι) («искушенные») и Филебе 53c (κοιψοί) («искусники»). — См. Секст, *adv. mathem.* VII 11 (192, 24 сл. Bekker). Совершенно по-сократовски звучит то, что Евсевий Праер. *ev.* I 8, 9 приводит из Плутарха. Мнение о математике у Арист. *Met.* В 2 996a 32. Главные положения его основ этики у Л. Диог. II 85 сл.

\* (Стр. 192). «Нежное движение», достигающее сознания (Л. Диог. II 85), точнее определяется и объясняется Аристоклом у Евсевия Праер. *ev.* XIV 18, 32.

\* (Стр. 193). μή διαφέρειν τε ἡδονὴν ἡδονῆς («не различать наслаждение от наслаждения»): Д. Диог. II 87.

\*\* (Стр. 193). Цитата из Л. Диог. там же. Современный утилитарист Д. С. Милль: Утилитаризм, (1863), стр. 253 (*Ges. Werke* I 167). — Л. Диог. II 91 и 96 конец.

\* (Стр. 194). Мнение Антисфена: у Афиней, XII, стр. 513A.

\* (Стр. 195). Аристотель называет Евдокса гедоником: Ник. *этика* А 12 1101b 27, там же К 2 1172b 9, прибавляя при этом, 15 сл.: ἐπιστεύοντο δ'οἱ λόγοι διὰ τὴν τοῦ ἡθους ἀρετὴν πολλοῦ ἢ δι' αὐτοὺς, διαφερόντως γὰρ ἔδοκει σάφρων εἶναι («Этим рассуждениям доверяли, скорее, благодаря добродетели права [Евдокса], нежели благодаря им самим, ибо он считался одним из исключительно отличающихся рассудительностью»).

\* (Стр. 196). Л. Диог. II 68.

\* (Стр. 197). Это указание у Л. Диог. II 90.

\*\* (Стр. 197). О Гегесии и его кличке Л. Диог. II 86. О его книге и ее влиянии см. Цицерон, *Tuscul.* I, 34, 83/4 и Плутарх, *de amore proliis* с. 5 (Мог. 602, 24 D). — См. Л. Диог. II 94/5.

\* (Стр. 198). Об Анникериде и его учении см. Л. Диог. II 96 7 и Clemens Strom. II с. 21 498 Potter. См. Л. Диог. II 93.

\* (Стр. 199). *The moral philosophy of Paley*, Edinburgh, 1852, p. 59 сл.: Therefore, private happiness is our motive and the will of God our rule («Философия морали» Палея, Эдинбург, 1852, стр. 59 сл.: «Таким

образом, личное счастье — это наш мотив, а воля Бога — наш принцип...»). Между здравым смыслом (*prudence*) и обязанностью (*duty*) Палей видит лишь следующее различие: *that in the one case, we consider what we shall gain or lose in the present world: in the other case, we consider also what we shall gain or lose in the world to come* («...это, в одном случае, когда мы рассматриваем то, что мы получили или потеряли в этой жизни; во втором случае, мы рассматриваем также и то, что мы получили или потеряли в жизни грядущей»).

\* (Стр. 200). См. Guyau, *La morale d'Épicure*, откуда заимствованы цитаты из д'Аламбера и Гольбаха, р. 270 сл.

\* (Стр. 202). Полезно привести цитату из Бентама: *Nature had placed mankind under the governance of the sovereign masters, pain and pleasure. ...In words a man may pretend to abjure their empire, but in reality he will remain subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law.* («Природа поставила человека под управление самовластных господ: боли и удовольствия... На словах человек может отрицать эту власть, но в реальности он будет все время оставаться подчиненным им. Принцип утилитаризма признает это положение дел и полагает на этом основании фундамент такой системы, предмет которой воздвигает здание счастья руками разума и закона»).

\* (Стр. 203). Я имею в виду: David Hartley, *Observation on man* (1749) и James Mill, *Analysis of the phenomena of the human mind* (1829 в перв. изд., 1869 во втором, очень расширенном издании с примечаниями Bain'a, Findlater'a, Grote, издано J. S. Mill'ем.

\* (Стр. 204). Цитата по-гречески: *μόνα τὰ κίνησις καταλητὰ (εἶναι)*. Так Аристотел у Евсевия Пгаер. ev. XIV 19, почти дословно Секст Эмпири. *adv. math.* VII 190 сл. (232, 19 Bekker). Подобным же образом Плутарх против Колота 24, 2 (Mor. 1370, 21 D), а Цицерон *Acad. Grior.* II 46, 142; *aliud... Cyrenaicorum, qui praeter peremotiones intimas nihil putant esse iudicii* («Кто-то из киренаиков, которые полагали, что нет никаких суждений, кроме непосредственных движений»). См. J. Диог. II 92.

\* (Стр. 205). Платон: см. I 366 сл. также 468. Мнение, что Платон в Теэтете 152a сл. излагает и критикует учение Аристиппа, разделяется теперь также и Целлером I<sup>5</sup> 1098 сл., после того как он раньше II 1<sup>4</sup> 350, прим. 2 оспаривал его. Возражают против него теперь только очень немногие, как Türk, *Satura Vidriana*, 1896, стр. 89 сл. То, что мы имеем возразить против этой статьи, уже сказано в тексте. О возражении Иоеля — *der echte und der xenophontische Sokrates* II 842 сл. — и о противоположном ему взгляде S. Knospes'a (*Gros-*

strelitzer Gymnasialprogramm von 1912) говорит Н. Gomperz в Archiv XIX 422.

\* (Стр. 206). Слова догматического характера: ἀληθῆ, τὴν ἐνάργειαν ἔχον ἀπερίσπαστον, ἀδιάψευστα, ἄψευστα, ἀπλανεῖς, τὸ ἀναμάρτητον, ἀνεξελέγκτως.

\* (Стр. 207). Указанные здесь ошибки чувств частью у Секста там же, частью у Аристотеля. Met. Γ 6 1011a 33 и еще в др. месте, см. Index Aristotelicus, стр. 165a 31 сл.

\* (Стр. 208). «Сами ощущения неопровержимы»: сравни Секст, там же, 196 (233, 26 В): ἕκαστος γὰρ τοῦ ἰδίου πάθους ἀντιλαμβάνεται с Платоном, Теэтет 160c ἀληθῆς ἄρα ἔμοι ἢ ἐμῆ αἴσθησις («Ведь каждый воспринимает свое собственное страдание»).

\*\* (Стр. 208). Цитата из Джеймса С. Милля, Analysis I<sup>1</sup> 71.

\* (Стр. 209). Платон, Теэтет 157b—с.

\*\* (Стр. 209). Секст, там же, 194 (233, 15 Вк.).

\*\*\* (Стр. 209). Английские психологи: Дж. Ст. Милль, An examination of Sir W. Hamilton's philosophy<sup>1</sup> 203; — Австрийский физик: Эрнст Мах, Beiträge zur Analyse der Empfindungen<sup>3</sup> (Iena 1902, стр. 6).

\* (Стр. 210). «Деятельности, процессы и все невидимое»: πράξεις δε καὶ γενέσεις καὶ πᾶν τὸ ἄορατον: Теэт. 155e.

\* (Стр. 211). Можно опровергать и т. д.: сказанное здесь требует пояснения. Нет противоречия в том, если я сначала заявлю: я знаю материю только как осязаемое, видимое и т. д., почему я и не могу удержать это представление, одновременно отвлекаясь от воспринимающего субъекта, а потом отдельные ощущения и потенции ощущений буду сводить на другие аналогичные же, как на причины их (т. е. их неизменные и безусловные antecedents). Наоборот, киренцы проявили действительную непоследовательность, когда они одновременно и отрицали всякое субстанциальное бытие, и выводили всю совокупность феноменов из движения субстанциального. Но никак нельзя упускать из виду, что платоновское изложение, содержащее подобные вещи, не есть аутентичное сообщение — См. Сенека, Ep. 89, 12; Секст, adv. math. VII 11 (192/3 Вк.)

\*\* (Стр. 211). Указываемое сочинение Филодема носит заглавие περὶ σημείων καὶ σημειώσεων («О знаках и обозначающих») и впервые обработано автором в 1865 году.

\*\*\* (Стр. 211). Замечание Платона в «Государстве» находится кн. V, 516c. Оно было замечено Шопенгауэром, Die Welt als Wille und Vorstellung, кн. III, § 31. Сходство с древней теорией индукции впервые заметил Эрнст Лаас, и его словесное замечание дало повод

Наторпу проследить этот вопрос в своих «Forschungen zur Geschichte der Erkenntnissproblem im Altertum», стр. 148 сл. Намеки Платона он отнес к Протагору.

\* (Стр. 213). Теэтет: 157e сл.

\*\* (Стр. 213). Слова Гельмгольца, *Physiol. Optik* <sup>1</sup> 444/5.

\*\*\* (Стр. 213). Цитата: Ernst Mach, *Analyse der Empfindungen*,<sup>3</sup> стр. 7, прим. 1. — Отношение современных феноменалистов к проблеме присущности может пояснить следующая цитата: «Вещь, тело, материя суть только комплексы цветов, тонов и т. д., т. е. так называемых признаков. Мнимая философская проблема в разнообразных формах об одной вещи со многими ее признаками возникает вследствие того, что мы пренебрегаем следующим обстоятельством, что охватывание целого и расчленение его нельзя произвести одновременно, хотя и то и другое необходимо для различных целей» (Mach, там же, стр. 5).

\* (Стр. 214). О Феодоре смотри, прежде всего, Л. Диог. II 86 и 97 сл. Изречения, свидетельствующие о его прямодушии, кроме Л. Диогена, сообщают Плутарх, *de exilio* 16 (Mor. 732, 18 D). Сообщаемое Филоном, *Quod omnis probus liber* с. 18 (II 465 Mangey) есть лишь распространенное переложение Цицерона, *Tusc. I* 43, 102, Плутарха, *An vitiositas... sufficiat* 3 кон. (Mor. 604, 35 D), Стобей, *flog. II* 33.

\* (Стр. 215). Против предположения, что Феодор был атеистом в подлинном смысле слова, говорит вопреки утверждениям Цицерона, на это намекающих (*de deog. nat. I* 1, 2 и в др. месте), еще многое. Слова Секста *adv. math. IX* 55 (404, 20 Вк.) τὰ κατὰ τοῖς Ἑλλήσι θεολογούμενα ποικίως ἀνασκεύασας («разными способами поколебав эллинские представления о богах») нельзя толковать как принципиальное и определенное отрицание веры в богов. К этому присоединяется указание на зависимость Эпикура от критики Феодора (Л. Диог., там же, стр. 97), наконец, еще и совершенно не тенденциозный анекдот, а потому не лишенный ценности, о диалектической перепалке между ним и Стильпоном, в которой предполагается бесспорная вера в богов (Л. Диог., там же, 100). Не доказателен Плутарх *de commup. potit. 31, 4* (Mor. I 315, 28 D). Очень важными кажутся мне слова Климента (*Protrept II* 24, 20 Pott): Феодора и некоторых других σωφρονως βεβιωκότας καὶ καθεσπράκóτας ὀξύτερόν που... τὴν ἀμφὶ τοὺς θεοὺς τοῦτους πλάνην несправедливо называли атеистами. Один из позднейших писателей: а именно Епифаний, *adv. haereses III* 2, 9, 24 (Doxogr. 591, 25): Θεόδωρος... ᾤετο... μὴ εἶναι θεῖον καὶ τοῦτου ἕνεκεν προούρτελετο πάντας κλέπτειν ἐπιόρκειν ἀρπάξειν καὶ μὴ ὑπεραλοθνήσκειν πατρίδος («Феодор... полагал..., что божественное не существует и из-за этого призывал всех воровать, рушить, грабить и не губить себя ради родины»). Если



действительно были ученики, которые так его понимали, то он имел право сказать, что левой рукой берут то, что он отдал правой. (Плутарх, de tranquill. animi, с. 5, Mor. 556 31 D).

\*\* (Стр. 215). Радость и печаль, χαρὰ и λύπη (Л. Диог. там же 98). Подлинным фрагментом, скорее всего, можно счесть приводимую Стобеем аргументацию против допустимости самоубийства, flor. 119, 16: разве не должен восставать против него тот, для которого случайности жизни не имеют значения и для которого прекрасное есть добро, а отвратительное зло. (Вместо αἰσχροὺν τὸ κακόν нужно, по видимому, читать τὸ αἰσχροὺν κακόν.) К традиционному причислению *Евгемера* к киренской школе, хотя и со всевозможными оговорками, мы не можем присоединиться. «Никакое предание, — уже давно заметил Эрвин Роде, — не говорит за это предположение» (Der griech. Roman<sup>2</sup>, 241 прим. 1). Поэтому нельзя относить на счет киренской школы ошибочное утверждение Евгемера, возникшего под влиянием культа Александра, что *единственным* действительным фактором образования религий является обоготворение человека, хотя второстепенного значения за этим фактором нельзя не признать. (О почти ежедневно происходящем в Индии обожествлении живых людей еще недавно говорил сэр Альфред Лайелль.)

\* (Стр. 216). О Бионе см. Л. Диог. IV, с. 7; основательное исследование Hense, Teletis reliquiae Prolegomena, стр. XLVI сл. Его хронология, как она описана в нашем главном источнике, страдает противоречиями. Однако я не могу согласиться с тем, чтобы сообщение о том, что он посещал школу академика Кратета, основывалось на смешении с киником Кратетом, потому что свидетельство Л. Диогена подкрепляется здесь свидетельством осведомленного ученого, автора Index Academicorum Herculaneensis (см. автора Die herkulanische Biographie des Polemon Philosophische Aufsätze Eduard Zeller gewidmet, стр. 149). Я предпочитаю пожертвовать порядком его занятий, чем отдельными замечаниями, которые почти наверное в этом и в других случаях исходят из перечня записей в самих школах. Именно поэтому такие указания ничего не доказывают о влиянии учителя на ученика; следует обратить внимание еще на то, что и зрелый возраст допускает посещение лекций. — Два пародийных стихотворения разбирает Wachsmuth, Poesis Graeca ludibunda кон. Там много прекрасного о Бионе и против его клеветников. Мнение Эрвина Роде, Griech Roman<sup>2</sup>, 268 прим. Прекрасное доказательство Hense, там же, стр. XLVI, что юмористическое описание Бионом суеверного человека, увешанного амулетами, «как столб», было применено к нему и к его обращению на смертном одре. Ср. Л. Диог. IV, 54 — со ссылкой на предание в Халкиде, где Бион умер! И Плутарх, De superstitione с. 7, Mor. 199/200 D.



## Комментарий ко II тому

1) Согласно установившемуся в современной науке взгляду, представление о верховном небесном божестве утверждается в Древней Элладе вместе с приходом индоевропейских племен (см.: *Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев*. М., 1986), первая волна которых докатилась до территории Греции в нач. III тыс. до н. э. Древнегреческая мифология и эпиграфика сохранили сведения об иных, более ранних культах у так называемых «пеласгических племен», проживавших здесь до индоевропейцев: таковы хтонический культ Гермеса-психопомпа у аркадских пеласгов, «долунных людей» из «Медвежьей страны» (см.: *Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей*, т. III. СПб., 1911. С. 90—100), и культ «супруга Земли» Посейдона в образе жеребца у древнейших жителей Аттики (см.: *Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии*. М., 1957. С. 94), или культ богини-Владычицы (Потнии) у микенских этеокритян (см.: *Бартошек А. Златообильные Микены*. М., 1991. С. 197) — все они впоследствии были включены в состав Олимпийской религии. Вместе с тем по поводу мнения Т. Гомперца о том, что греческая религия кон. V—нач. IV в. до н. э. (именно об этом времени идет речь в начале II тома книги) была целиком направлена на освящение и укрепление полисного права, а боги «возводятся в сан защитников и охранителей правового порядка», страдает односторонним социологизмом, поскольку игнорирует обычное разделение религиозной веры в язычестве на государственную и народную сферы. Действительно, в каждом греческом полисе существует собственный культ божества, покровительствующего правовому порядку общины, однако наряду с этим существуют могущественнейшие боги, управляющие, по представлению греков, самыми различными потенциями природных и духовных явлений. И эти боги изначально потусторонни всякой социализации (более того, зачастую противостоят ей) и тому, что Т. Гомперц часто называет «естественнонаучным прогрессом» античного мира. Для V в. божеством, покровительствующим государственности, был Аполлон Дельфийский. И вместе с тем он оставался богом, навещающим слепой ужас одним воспоминанием о стрелах, приносящих невидимую и необъяснимую смерть людям, богом, дающим совершенно иррациональные и по-восточному коварные советы устами своего оракула. Именно в этой роли Аполлон выступает в «Эдипе» Софокла и Эсхила — как олицетворение непостижимого для человеческого здравого смысла Всесилия природы (см. прекрасный разбор трагедий Эсхила и Софокла *А. Бон-*

нара. Греческая цивилизация. От Антигоны до Сократа. М., 1992). Однако уже в сочинениях Платона культ Аполлона полностью «огосударвляется» (Государство VI—VII).

2) То, что Т. Гомперц называет здесь античным «пессимизмом», скорее, обычным этическим резонерством, свойственным не только современникам Еврипида, но и гораздо более поздним античным мыслителям. Похожие рассуждения можно услышать от некоторых героев диалогов Платона, они встречаются в сочинениях киников и скептиков (напр., высказывание Антисфена, приводимое Диогеном Лаэртским: На вопрос о том, какую женщину лучше брать в жены, он ответил: «Красивая будет общим достоянием, некрасивая — твоим наказанием», VI 1, 3). Проблема античного пессимизма вообще имеет довольно позднее происхождение и встает, главным образом, вместе со становлением «философии жизни» XIX в. (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше; см.: Паульсен Ф. Шопенгауэр, Гамлет, Мефистофель. Киев, 1902; Каро Э. М. Пессимизм в XIX в. Леопарди—Шопенгауэр—Гартман. М., 1883), которая видела источник и причину упадка античной культуры в становлении «сократизма» и рефлексии (см.: Ницше Ф. «Рождение трагедии из духа музыки»), поскольку и сама сформировалась в качестве защитной интеллектуальной реакции на кантовский трансцендентализм, в котором рассудочная рефлексия века Просвещения достигла своего апогея.

3) Действительной причиной убийства мужчин-военнопленных можно считать неразвитый, патриархально-экстенсивный характер рабства в раннеисторических обществах, ограничивающий возможности применения труда военнопленных в хозяйстве. См. точку зрения А. И. Немировского и А. И. Харсекина (Этруски. Введение в этрускологию. Воронеж, 1969), где речь идет о массовых человеческих жертвоприношениях у этрусков, развившихся на основе той же особенности общественной организации.

4) Илотами называлась некоторая зависимая часть населения Спарты, находившаяся на положении государственных рабов: илоты прикреплялись к наделам земли, с обработки которых они платили ренту государству, они не имели гражданских прав, но иногда привлекались к военной службе; часто поднимали восстания, угрожая стабильности государства.

5) Спорная точка зрения, поскольку наиболее характерной особенностью натурфилософского учения Анаксагора является введение понятия «семени» (в интерпретации Аристотеля — «подобочастных») и «космического ума». В центре этической диалектики Сократа тоже не находится понятие «цели», а скорее «стремления к благу» как цели (напр., Менон 77в), что, собственно, меняет те акценты, которые

пытается поставить Т. Гомперц; хотя если рассматривать такие диалоги Платона, как «Федон», «Федр» в качестве сократических, т. е. хотя бы отчасти отражающих орфические мотивы в этике Сократа, то его учение можно интерпретировать как телеологическое (но все же не утилитаристское).

6) Диалектическое выяснение понятий, которым занят Сократ, вряд ли будет правомерно называть «странный деятельностью» для V в., как это делает Т. Гомперц, даже если и иметь в виду отношение самих афинян к этому, довольно модному в данные времена, занятию. Выяснением понятий были заняты уже старшие софисты, и ранние диалоги Платона подтверждают «софистический» метод рассуждений Сократа уже тем, что почти все они оставляют открытым предмет, стоящий в центре обсуждения. При этом отметим, что искусство «беседовать» (διδάσκειν — «беседую») имеет свою историю. Если Зенон Элейский развивает метод опровержения противоположного тезиса, а софисты — доказательство двух противоположных тезисов одновременно, то Сократ дополняет диалектику разделением и исследованием понятий по родам, нахождением общего в понятиях и вещах на основании сущностного определения по восходящей и т. д. (см.: Кессиди Ф. Х. Сократ. М., 1988).

7) См. деление диалогов Платона, приводимое А. Ф. Лосевым (в кн.: Платон. Соч. в 4 т. Т. I. М., 1995. С. 44—46), в котором сочинения Платона подразделяются на: 1) ранние; 2) переходные; 3) зрелого и 4) позднего периодов (развивающих собственно платоновские идеи).

8) Мисия — страна в западной части Малой Азии, на юге от Троады. Мисийцы принимали участие в Троянской войне на стороне Илиона (Аполлодор. Э. III 34). Писидия — страна в горах Тавра восточнее Мисии в Малой Азии, населенная воинственным народом.

9) Будучи «внучатым учеником» Анаксагора, Сократ несомненно исходил в своем интеллектуализме из представления о наличествующем в природе соответствии между человеческим разумом и космическим умом, о чем свидетельствуют, помимо всего прочего, и довольно частые обращения Сократа к учению своего предшественника (Апология Сократа 26d; Горгий 465c—d; Кратил 400a—b, 413c—d). Отсюда и «жить добродетельно» означает для Сократа прежде всего «знать», что есть добродетель, но знание всегда связано с возможностью заблуждения.

10) Добавим к этому, что Сократ был одним из тех, кто вслед за Ксенофаном и элейцами остро ощутил «изжитость» древнего регионального анимизма, мало способствующего укреплению в граждан-

ском сознании идеи полисного единства (как и идеи единства общенационального), и осознал это в связи с отмеченным выше распространением идеи единого солнечного божества (см.: *Ван-дер-Варден Б.* Указ. соч. С. 142—182), следовало бы поставить вопрос об уровне распространения этих восточных влияний на сознание афинян. Ответ на этот вопрос содержится отчасти и в обвинении, предъявленном Сократу на суде, в котором ему было инкриминировано введение новых богов: эти восточные по происхождению идеи, получившие еще раньше благоприятную почву в Греции в лице орфического монотеизма, ко времени Сократа поддерживались только небольшим количеством интеллектуалов, но не пользовались поддержкой в широких слоях афинян. Разумеется, влияние чужеродных идей на сознание небольшой части (хотя бы даже стоящей у власти) какого бы то ни было народа остается невостребованным, если в самом обществе не созрели условия для их репродуктивного развития. Эти условия, если они еще не определились фактически, все же предчувствуются отдельными гениальными мыслителями. Сократ, безусловно, принадлежал к числу таковых. Его работа по поиску общезначимых этических определений (на основании предвзятой идеи об устремленности бытия к единому божеству), с одной стороны, могла опираться на предчувствие скорых глобальных геополитических изменений в античном мире (или, по крайней мере, на осознании их необходимости или неотвратимости), а с другой стороны, породила как следствие монотеистическую «философскую религию» Платона. При этом, учреждая культ человеческого разума, Сократ ничуть не отступает от философской традиции Анаксагора: он не индивидуализирует разум и не обособляет его от бытия, а, напротив, все усилия Сократа направлены на то, чтобы «вписать» человеческий разум в космичность сущего, обосновать его целесообразную и генетическую принадлежность космосу. В этом смысле Т. Гомперц преувеличивает критический характер рационализма Сократа, который «утверждал права критики» современных ему взглядов все же не «вопреки традиции и авторитету», а исходя именно из них, взывая не только к способности критической рассудительности своих собеседников, но и к непререкаемому авторитету древних эллинских богов.

11) Т. Гомперц преувеличивает рационально-утилитаристский мотив в учении афинского философа (что, впрочем, можно отнести и ко многим другим аналогичным местам его труда). Следование идее пользы или личной выгоды, на которой Сократ (как у Ксенофонта, так и у Платона) действительно сосредоточивает свое внимание, все же не несет на себе главную смысловую нагрузку в учении Сократа об этических определениях, в его «этической диалектике» (А. Ф. Лосев), не является смысловым центром его философии в целом. Таковым центром следует

полагать неназываемое, но непременно искомое самим Сократом наименование того, что есть высшее благо, или что располагается за пределами высшей человеческой добродетели и определяет (порождает формальные пределы) для нее. С другой стороны, Сократ стремится решить проблему, способен ли человек интеллектуальными усилиями достичь этой основополагающей идеи. Обе задачи, поставленные Сократом, были более четко обрисованы Платоном («Федр», «Федон», «Государство» VI—VII) и решены только великими неоплатониками христианской эры. Однако справедливости ради скажем, что и сам Сократ несколько продвинулся по этому пути, высказав, во-первых, критические замечания по поводу древнего политеистического благочестия, что подразумевает наличие у него более общей идеи единого божества, а во-вторых — еще более древнюю идею существования демона-покровителя, опекающего человека и направляющего его моральные поступки. Такая вера в демонов, в мир околоземных духов, который существует между мирами богов и людей, духов, которые произвольно вмешиваются в события человеческой жизни, сохраняющая свое значение для всех времен античности (и особенно характерная для Древнего Рима и Италии), была, согласно Э. Родэ (О Гесиодовых пяти поколениях. В кн.: *Гесиод. Работы и Дни*. Пер. В. В. Вересаева. М., 1927. С. 74—82), в большей степени распространена в соседней с Атикой Беотии в начале классического периода, что и зафиксировано в «Легенде веков» у Гесиода (Труды и Дни, 106—126), но, судя по обвинению, предъявленному Сократу, была уже непопулярна в Афинах кон. V в. до н. э. Однако, начиная от Сократа, происходит метафизическое «вознесение этого суеверия философами платоновского направления, которое и оканчивается сложными иерархиями демонических сущностей у неоплатоников». Сократ, разумеется, совершенно далек от какой-либо космологической иерархизации (физика и космология не входили в область интересов Сократа), но его «даймонион» — это та именно метафизическая сущность (представленная в мифологическом образе), которая связывает разумную часть его души с некоей более глубокой божественной сущностью мира, куда Сократ всю свою жизнь ищет путь рационального умопостижения и которую, по его мнению, можно сравнить только с одним из великих эллинских божеств — богом Аполлоном, подобным Солнцу (или тождественным с ним?), ибо только в свете этого бога гармонии и порядка может быть найдена идея блага, торжествующая над всем умопостигаемым космосом, т. е. такая точка, в которой совпадают идеи пользы и справедливости, добродетели и благочестия и т. п. Отсюда объяснимо и то, что Т. Гомперц называет ниже «утилитарной моралью» Сократа: ведь то, что «благое само по себе», то, что является наилучшим в космическом и метафизическом плане, включает в себя, или, точнее, дает жизнь «полезному» и

«целесообразному» (ибо одновременно оно существует и в качестве цели всего сущего), и от этого только целесообразный или полезный поступок, с точки зрения Сократа, может быть благим и справедливым.

12) Доказательству тезиса «Справедливое полезно» посвящена часть «сократического» диалога Платона «Алкивиад I» (113d—116e), а утверждение Т. Гомперца о том, что Сократ стоит у истоков утилитаризма, следует принимать с учетом поправок, высказанных нами в предыдущем комментарии.

13) С данным утверждением Т. Гомперца можно согласиться только в определенной мере, а именно: во-первых, в том смысле, что всякий античный мыслитель, как, впрочем, и любой античный обыватель, всегда отдавал предпочтение какому-либо одному божеству (со времени Семи мудрецов бог Аполлон считался покровителем философии), и во-вторых, в том смысле, что философы включали богов в свои учения и при этом отводили им вполне определенное и объяснимое (с точки зрения их философий) место. Так, орфическая религия разорванного и воскресающего Диониса, чьи останки, по преданию, были захоронены в Дельфийском храме Аполлона, и религия Аполлона, покровителя мудрости и вселенского порядка, в наибольшей степени отвечали метафизическим интуициям Сократа; но, неоднократно отмечая последнее обстоятельство, Т. Гомперц отчего-то стремится представить Сократа в качестве атеистически мыслящего философа.

14) Проводя различие между «суеверием» и «религиозностью» Ксенофонта, Т. Гомперц имеет в виду, в первую очередь, веру в старинных богов и духов, которых античный человек почитал (поскольку сталкивался с ними) при каждом значительном действии и поступке; эти божества составляли необходимое разнообразие представлений человека об окружающем его космосе, частью которого он ощущал себя с тем большей полнотой, чем большее число божеств сопровождало его хозяйственную и духовую жизнедеятельность. Эти божества присутствовали за семейным столом, сохраняли очаг и покой дома, благополучие государства, направляли руку мастера, изготовлявшего утварь, и архитектора, воздвигающего храмы и дома, сопровождали морское путешествие и т. д. Однако, как правило, для каждого человека преобладал свой «собственный» космос, выстроенный вокруг одного божества, которому он отдавал предпочтение либо по признаку пола, либо по принадлежности к определенной родовой категории населения, либо — по профессиональным интересам.

15) Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) — представитель французского Просвещения, автор трактата «Об общественном договоре, или Принципы политического права» и «Рассуждения о происхождении неравенства между людьми», а также — этико-дидактического романа

«Эмиль, или О воспитании», в которых развивал идеи о «естественном состоянии» человека как наиболее счастливой поре в его истории. Однако к естественному состоянию, считает Руссо, возврат невозможен, поскольку сама «природа человека» включена в процесс исторических изменений; поэтому Диоген (т. е. киник вообще) искал, по мнению Руссо, человека минувших времен. Другим ярким воплощением этой популярной просветительской идеи стал знаменитый роман Д. Дефо о приключениях Робинзона Крузо.

16) Согласно «сократическому» диалогу Платона «Феаг», мудрости (а значит, и добродетели) можно научиться только у Сократа и только в присутствии «даймониона» Сократа, благотворное влияние которого распространяется и на учеников (128d—131).

17) Диоген Лаэртский рассказывает о БIONE в книге, посвященной Древней Академии, сообщая, что «сначала он принадлежал к Академии, хотя в то же время был слушателем Кратета. Затем он обратился к киническому образу жизни», после этого принял учение Феодора Безбожника (330—270 гг. до н. э.), киренаика и последователя Аристиппа, а затем «учился у перипатета Теофраста» и вообще «первый нарядил философию в лохмотное одеяло» (IV 7, 51—52).

18) Род фригийского царя Тантала был проклят богами: его сын Пелопс добился власти в Элиде обманом, но не добился счастья, поскольку был предан своими сыновьями Атреем и Фиестом, которые, спасаясь от гнева отца, бежали в Микены, где вступили между собой в братоубийственную вражду из-за обладания царской властью. Среди других кровавых эпизодов этой вражды особой свирепостью отличается поступок Атрея, который под предлогом примирения пригласил на переговоры Фиеста, но умертвив его малолетних детей, накормил Фиеста их мясом. В этой легенде, повествующей о временах, предшествующих Троянской войне, видят рудимент человеческих жертвоприношений.

19) В переводе М. Л. Гаспарова это место звучит так: «Он заявлял, что существует одно только благо (ἀγαθόν), лишь называемое разными именами: иногда разумением, иногда богом, а иногда умом и прочими наименованиями» (Диоген Лаэртский II 10, 106).

20) В настоящее время в так называемый эпический цикл включают четырнадцать поэм, созданных в разное время. Это: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Киприи», «Малая Илиада», «Эфиопиды», «Взятие Иллиона», «Возвращения», а также «Теогония», «Титаномахия», «Данаида», «Эдиподия», «Фиваида», «Эпигоны», «Телегония» из которых часть сохранилась лишь в названиях.



А. В. Цыб

## ТЕОДОР ГОМПЕРЦ — ИСТОРИК «АНТИЧНОГО ПОЗИТИВИЗМА»

19 век вошел в историю науки как столетие всевозможных открытий и великих технических изобретений. На фоне ожесточенных социальных столкновений, межнациональных европейских конфликтов стремительно разворачивалась пружина той стадии научно-технического прогресса, которая на место странной надежды на всеислие рационального знания в улучшении человечества породила первые серьезные сомнения в успехах Разума, выпустившего на волю из бесчисленных заводских труб ядовитого джина промышленных отходов. Падению эйфорической веры рационализма сопутствовали и некоторые фундаментальные сдвиги в области гуманитарного знания, благодаря которым критика новой и новейшей цивилизаций стала считаться хорошим тоном для литературы и философской публицистики. Однако не менее бодро становились и направления, следующие за научными и техническими достижениями, и от этого литература и философия превращаются в арену борьбы идеологий: по большому счету 19 век стал временем нарастающего «мозаичного» расцвета европейской философии и ее дробления на великое множество противоречащих друг другу философских концепций, — временем, сравнимым лишь с постсократической ситуацией в античной эллинистической философии, когда философские школы росли и множились как грибы после благодатного летнего ливня. Этот процесс поступательно перешел и в наш век, близкий к своему завершению, но его начало принято рассматривать в качестве законной интеллектуальной реакции на императивный и радикальный рационализм века Просвещения, нашедший свое высшее выражение в трансцендентальной философии И. Канта и диалектической системе Гегеля: «философия жизни» и начало экзистенциализма в лице А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и их последователей в значительной мере подорвали авторитет классического европейского рационализма, подтолкнув философствующую мысль, с одной стороны, к понску донисийского оргазма в культуре, с другой — к открытию абсолютного начала в самом

человеке. Однако и рационалистическая мысль отнюдь не прекращает своего существования, но переходит в иные формы. Одной из этих форм становится, на первый взгляд, совершенно не философское (главным образом благодаря собственной антиметафизической рефлексии), но чрезвычайно влиятельное течение европейской мысли, самоопределившееся под названием «положительной философии», или позитивизма. Позитивизм возникает во Франции в 30-е годы 19 века, провозгласив решительный разрыв с философской метафизикой, считая, что наука не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии, что, по его мнению, не исключало существования синтеза научного знания, за которым можно сохранить старое название «философии»; последняя же сводится, таким образом, к общим выводам из естественных и общественных наук.\* С этой точки зрения, всякий процесс, подвергаемый исследованию, идет ли речь об опытных или теоретических проблемах науки, имеет внутреннюю естественную закономерность, в фиксации и описании которой состоит задача исследователя. Основателями и наиболее выдающимися представителями первой, «классической» волны позитивизма 19 века стали француз О. Конт, автор «Курса позитивной философии» (1830—1842 гг.), и англичане Герберт Спенсер («Основные начала») и Джон Стюарт Милль («Система логики», 1843 г.; «Утилитаризм», 1863 г.). Из довольно пестрого разнообразия философских школ своего времени позитивизм выделялся именно тем, что постулировал строгое антиметафизическое требование ограничить мышление рамками «объективных» (т. е. существующих вне самого мышления) закономерностей, приписав тем самым философии статус «науки наук» — дисциплины, венчающей пирамиду знания, но лишь в описательной форме излагающей результаты последнего. Как направление абстрагирующего мышления, декларативно порывающее с традиционной метафизикой, позитивизм привлекал именно тех современников 19 века, чьи профессиональные интересы были тесно связаны как с естественнонаучной деятельностью, так и с торговой и промышленной, — то есть теми отраслями жизни, которые испытывали наиболее явные и интенсивные перемены. Именно под флагом этого направления спустя более чем полвека после основания школы, — флагом отрицания метафизики — создает свой фундаментальный историко-философский труд Теодор Гомперц, методические установки которого как бы продвигаются вслед за теоретическими положениями классического позитивизма, прослеживая историю самого «положительного» знания, истоки которого, по мнению австрийского философа, восходят к самому началу европейской культуры.

Вместе с тем, 19 столетие является временем рождения и собственно исторической «картины мира». Начало века ознаменовалось возникновением ряда новых

---

\* В данном случае я пользуюсь наиболее элементарным, общим определением позитивизма, взятым из простейшего философского словаря. (Прим. автора.)

исторических школ, принявших на вооружение идеи экономического и общественного прогресса, благодаря которым из гуманитарных наук все более элиминируются методы фрагментарной описательности, на смену им приходят, с одной стороны, новая методология историцизма, основанная на идее прогресса, с другой — подкрепляющее эту позицию упорное стремление обнаружить реальную эмпирическую базу для обоснования выводов глобального философского характера. Эта работа, в свою очередь, породила поступательное становление всевозможных «вспомогательных» гуманитарных дисциплин в современном смысле этого слова: источниковедения, археологии, сравнительной этнографии, лингвистики, а желаемое накопление новых эмпирических данных все чаще приводило к неизбежному краху одних и рождению новых парадигм науки. Вряд ли мы будем не точны, если скажем, что вслед за тремя веками Нового Времени, сформировавшим естественную научную «картину мира», 19 век совершил первую убедительную попытку представить панораму его исторического развития, немаловажной частью которой становится история Античного мира. Историко-философская мысль Т. Гомперца и движется вслед этим реалистическим установкам исторических исследований своего времени.

Источники же общей методологической позиции Т. Гомперца, конечно же, следует усматривать в фактах жизненного пути ученого.\* Теодор Гомперц родился 29 марта 1832 года в моравском г. Брюнне, высший социальный слой которого составляло преобладающим образом немецкое население. Еврейская семья Гомперц, уже более двух веков осевшая в немецкой среде, к этому времени полностью идентифицировала себя с немецкой культурой. Его отец Филипп Гомперц (1782—1857), сын Леопольда Бенедикта Гомперца (1712—1857), выходец из Голландии, занимавшегося оптовыми поставками табака и переехавшего в Австрию в середине 18 века из Номвегена, был оптовым торговцем и владельцем семейного банковского предприятия в Брюнне; мать Генриетта, урожденная Ауспитц (1782—1881), происходила из семьи, которая играла значительную роль в хозяйственной и политической жизни либеральной Австрии; она неоднократно изображалась на портретах художника Франца фон Ленбаха (1836—1904), друга семьи и знаменитого немецкого портретиста, чья кисть запечатлела для истории портреты австрийских императоров, Бисмарка, Р. Вагнера, Франца Листа, А. Шопенгауэра, Т. Моммзена,

\* В рассказе о которых воспользуемся материалами, пожалуй, единственного более или менее полного на данный момент биографического очерка жизни и деятельности Т. Гомперца, автором которого является Роберт Канн (См.: *Teodor Gomperz — ein gelhertenleben im bürgertum der Franz-Josefs-Neubearb. und hrsg. von Robert A. Kann. Wien, 1974.*). Данная часть статьи представляет, собственно, сокращенную выборку материалов, сделанную мной из очерка Р. Канны. (Прим. автора.)

а также многочисленные изображения представителей немецкого и австрийского бюргерского «света»; она же привлекла внимание современников тем, что сыграла роль фрау Гудулы, родоначальницы дома Ротшильдов, в пьесе Карла Ресслера «Пять Ротшильдов». Однако, с точки зрения аналогии, семья Гомперц не была столь сказочно богата, хотя и принадлежала к высшему хозяйственному и культурному слою австрийского бюргерства и всегда придавала значение внешнему материальному быту, что было характерно и для тех членов семьи второго поколения, которые как Теодор Гомперц отошли от производительной и банковской деятельности. Биографы отмечают, что очень похожими сравнительно с семьей Ротшильдов здесь были чрезвычайно тесные семейные отношения между родственниками, членами семьи Гомперц, а также — ее матримониальный центризм. Очень похожей была и профессиональная ориентация членов семьи, чьи способности проявлялись главным образом в сфере коммерции. Так, старший брат Теодора Макс стал в зрелые годы президентом кредитного банка торгово-промышленной компании, одного из наиболее значительных финансовых институтов австрийской монархии; второй брат Юлиус, президент палаты предпринимателей, депутат земельного\* и государственного парламентов, а позднее — и Верховной палаты последнего. Особую атмосферу семьи старшего брата создавала его жена Каролина, знаменитая певица императорской оперы; оба брата были возведены в дворянство; Теодор Гомперц к моменту своего ухода от университетской преподавательской деятельности был также пожалован со стороны монархии предложением дворянства, но с достоинством отклонил его из-за своих неколебимых либеральных немецко-бюргерских убеждений. Старшая сестра Теодора Жозефина вышла замуж за барона Леопольда Вертхаймштайна, руководящего чиновника Венского отделения банка Ротшильдов, который был близок Меттерниху в качестве финансового советника, и играла довольно значительную и весьма своеобразную роль не только в жизни своей семьи и Теодора, который, судя по его переписке, до конца своих дней боготворил сестру, но и в культурной жизни австрийской столицы. Характерно отличаясь от того типа «образованных дам», чья духовная привлекательность была направлена всецело на укрепление общественного и делового положения мужей, Жозефина Вертхаймштайн стремилась возвращаться в кругу наиболее выдающихся деятелей культуры своего времени из чистой любви к образу жизни просвещенной дамы, подерживаемой прекрасным домашним гуманитарным образованием. По характеру несколько пассивная и медлительная, глубоко меланхоличная женщина, она чрезвычайно сильно воздействовала на воображение окружающих ее мужчин из круга венских литераторов и художников — таких как Эдуарда фон Бауэрнфельда, автора популярных комедий на сюжеты современного ему австрийского общества и крупного государственного чиновника, или Фердинанда фон Саара (1801—1871) —

\* Т. е. регионального.

драматурга и писателя, автора исторических драм, комедий и рассказов, или Адольфа Вильбрандта — занимавшего в 1881—1887 годах должность придворного драматурга венского императорского театра, — благодаря именно этим чертам ее характера. Так в уже семидесятилетнюю Жозефину был платонически и глубоко влюблен Хуго фон Гофмансталь — выдающийся австрийский поэт, представитель неоромантизма, — а позднее он перенес эти чувства на ее дочь Франциску. Собственно в этой духовной среде, — несколько оперетточно-фривольной (знакомой нам по столь популярным всегда в России произведениям Кальмана и Оффенбаха) и вместе с тем болезненно-экзальтированной среде венской культуры, породившей З. Фрейда, Стефана Цвейга и Ф. Кафку, — формировался облик Теодора Гомперца, этого довольно странного представителя своего поколения, который всю свою профессиональную жизнь посвящает развитию одной, по большому счету, идеи — осмыслению античной классики с точки зрения современного ему естественнонаучного прогресса. Из младших родственников Т. Гомперца следует назвать рано умершего брата Карла, сестру Минну, которая позднее жила в доме Вертхаймштайнов, была всесторонне образована и, как и Жозефина, поддерживала постоянный контакт со своим братом Теодором, а также — сестру Софи, которая состояла замужем за крупным промышленником и финансовым бароном Эдуардом Тодеско. Отсюда видно, что «пять франкфуртцев», сыновья Майера Аншеля Ротшильда, которые держали банковское предприятие во Франкфурте, а затем основали сеть банков в Париже, Лондоне, Неаполе и Вене, напоминали семью Гомперц и своим происхождением и тесными родственными связями. Но во втором случае речь идет даже не о строительстве некоей экономической власти дома, а о том, что он породил второе поколение, которое, начиная с Теодора Гомперца, уже не стремилось к торгово-промышленной деятельности — что было в большей мере свойственно уже для сыновей и дочерей Т. Гомперца. Характерным для этого нового поколения либеральной буржуазии становится отсутствие безудержного стремления к приобретению внешних благ, в которых они, правда, никогда не знали недостатка.

Теодор Гомперц, младший из восьми детей семьи, до одиннадцатилетнего возраста воспитывался дома, затем в 1843—1847 годах посещал гимназию в Брюнне с третьего по шестой класс. Без формального свидетельства об ее окончании в 1847 году он поступает на двухгодичный философский факультет в родном городе, который оканчивает в 1849 году, а 1848 год — время европейских революций — сильно подвинул его в сторону национально-либеральных убеждений, которым Т. Гомперц остается верен всю свою жизнь. Разумеется, его внимание было направлено при этом скорее на события в европейских столицах и Вене, где в течение весны 1848—осени 1849 годов прошли три крупных антиправительственных восстания, чем на его моравскую родину, которая совершенно не испытала никакой революционной активности. В октябре 1849 года Т. Гомперц сдает вступительный

экзамен на юридической факультет в Вене. Однако вскоре его внимание привлекает философия и классическая филология — две области знания, в занятиях которыми пройдет вся его дальнейшая жизнь. Здесь его учителями становятся философ Роберт Циммерманн (1824—1898), последователь Гербарта и Лейбница, развивавший идеи «философии реализма» в эстетике, и выдающийся историк Древней Греции Германи Бонитц (1814—1888) — в эти годы помощник министра образования Лео Туна по проведению реформы средней школы. Еще более важными были контакты, поддерживаемые Т. Гомперцем в Вене со своими коллегами во время учебы, благодаря той общительности, которая являлась его характернейшей чертой в течение всей его жизни. К ближайшим друзьям студенческих и более поздних венских лет жизни Т. Гомперца принадлежали адвокат и либеральный парламентарий Х. Яквес, выдающийся юрист, позднее министр, Йозеф Унгер, и прежде всего — Эдуард Вессель, филолог-классик и либеральный политический журналист. В 1853 году произошли два важнейших события в жизни Т. Гомперца: он знакомится с системой позитивной философии Дж. Ст. Милля и принимает решение перенести свою учебу в Лейпциг. Под непосредственным впечатлением от чтения главного философского труда Дж. Ст. Милля «Система дедуктивной и индуктивной логики» Т. Гомперц начинает перевод этого сочинения на немецкий язык, — работу, которая заняла его время на многие годы вперед и оказала сильнейшее влияние на все его дальнейшее мировоззрение, поскольку все его последующие научные труды, включая главный — «Греческие мыслители», — находятся под влиянием прагматизма и позитивизма Милля. Так в этом духе он истолковывает, например, космологические спекуляции ранних досократиков как первый расцвет позитивизма, а поздних досократиков и софистов рассматривает как представителей эпохи Просвещения. Этот перевод привел к переписке, а затем и к разносторонним личным контактам с английским философом. 1853 год, проведенный Т. Гомперцем в Лейпциге, привел также к тесной дружбе с историком литературы и редактором известного в эти годы издания «Гренцboten» («Пограничный вестник») Юлианом Шмидтом и позднее к тесным дружеским взаимоотношениям с Густавом Фройтагом, романистом и драматургом, представителем литературного направления «молодая Германия». Годы учебы в Вене проявили научные интересы Т. Гомперца, а пребывание в Лейпциге — еще больше сблизило его с национально-либеральными политическими кругами.

В 1855 году Т. Гомперц возвращается в Вену, где в конце пятидесятих годов заводит дружбу с молодым английским дипломатом Робертом Литтоном, позднее лордом Литтоном, будущим вице-королем Индии, а также — с известным английским историком древности Георгом Гротом, ссылаясь на труды которого насыщены «Греческие мыслители», а шестидесятые годы становятся для него временем интенсивной научной работы, посвященной филологическому изучению Еврипида и Демокрита, а также знаменитых Геркулановских папирусов. В 1867 году

он избирается приват-доцентом классической филологии в Венском университете, хотя к этому времени еще и не имел формальных условий для докторской степени. В это время Т. Гомперц самостоятельно, на основе прекрасного знания классических древних языков, овладевает французским, английским и итальянским, на которых в результате свободно объяснялся и писал. Однако английский дух и английский менталитет оставался для него более близким, чем французский и итальянский, в течение всей его жизни. «Англия для Т. Гомперца, как и для всего поколения, родившегося между 1830 и 1860 годами и занявшего к концу века твердые позиции в общественной и политической жизни Австрии, — пишет Роберт Канц в биографическом очерке, — была образцом совершенного рационально обустроенного конституционного государства, занимавшего ведущие мировые позиции благодаря своей победоносной мощи». После пребывания в Риме в 1866 году уже в 1867 году он избирается почетным доктором университета в Кеннгсберге. А в 1869 году он с готовностью принимает приглашение занять экстраординатуру по классической филологии в Венском университете. С этого момента он занят не только исследованиями, но и преподаванием, причем не только истории древности и классической филологии, но и истории античной философии.

В 1869 году Т. Гомперц женится. Его юная шестнадцатилетняя супруга Элиза (1848—1929) была дочерью Генриха фон Зихровски, ведущего чиновника в банке Ротшильда, который был дружен с семьей Вертхаймштайн (старшей сестры Т. Гомперца). Духовная атмосфера семьи Зихровски и Гомперц была схожей, и Элиза Гомперц показывала себя столь же высокообразованной и одаренной дамой света, которая, как показывает ее переписка с мужем, во всем разделяла его научные интересы. В этом смысле их брак можно назвать совершенно счастливым на протяжении всех сорока лет, однако Элиза Гомперц, отмечают биографы, была несколько своенравного склада характера и совместная жизнь с ней не всегда казалась легкой и безоблачной. Супруги имели трех детей: старшего сына (впоследствии биографа и духовного наследника Т. Гомперца) Генриха, младшего Рудольфа и дочь Беттину, вышедшую впоследствии замуж за философа, доктора Рудольфа Хольдапфеля. О последующих внешних событиях жизни Т. Гомперца можно рассказать в нескольких словах. В 1873 году он получает штатную должность профессора на философском факультете Венского университета и в 1882 году избирается действительным членом Академии наук. Последовали общепринятые почести, как награждение титулом надворного советника, ряд предложенных почетных академических званий и членств в родной стране и за пределами Австрии: в 1907 году — к пожизненному членству в Верхней палате парламента, к которому ранее уже был представлен его брат Макс, затем он избирается почетным доктором классической древности в Дублине и членом императорской Академии наук в Санкт-Петербурге и парижской Академии les inscriptions et Belles Lettres. Таков триумфальный послужной список Т. Гомперца, за которым стояли десятилетия

кропотливой исследовательской работы. Итогом этой плодотворной деятельности стал ряд публикаций филологических и отчасти историко-философских исследований из истории античной литературы и философии, завершённый фундаментальным трехтомным историко-философским трудом «Греческие мыслители», работе над которым Т. Гомперц посвятил последние годы жизни, поскольку в 1901 году он окончательно отходит от преподавательской деятельности ради этой цели.

Характерными чертами образа жизни Т. Гомперца в эти последние годы его жизни, совпавшие с началом нашего века, стали необычайная для него, задалого путешественника, привязанность к одному месту жительства — Вене и ее ближайшим окрестностям, — а также интенсивный интерес к самым различным проблемам современного ему мира. Так, он принимал близко к сердцу обсуждение женского вопроса и реформу образования, в которых он высказывался с несколько консервативных (с точки зрения сегодняшнего дня) позиций за развитие специализированного женского обучения и выступал убежденным сторонником утверждения классических форм для среднего образования и вместе с тем — их более глубокой гуманитарной интеграции. Продолжается его интерес к современным течениям в гуманитарной и философской мысли Европы. Круг его общения в это время самый разнообразный: он поддерживает теснейшие контакты с Эдуардом фон Бауэрнфельдом, Фердинандом фон Сааром, Георгом Брандесом — знаменитым датским критиком и сторонником позитивизма Дж. Ст. Милля, автором многих знаменитых эстетических трудов своего времени, Артуром Шнитцером — одним из наиболее ярких представителей «нового направления» в немецкой драматургии, Гуго фон Гофмансталем, известнейшим и значительнейшим историком и филологом Античной древности Теодором Моммзеном, а также с весьма левыми социалистами, к числу которых, например, принадлежали молодые историки Генрих и Лили Браун, со знаменитым австрийским психиатром и философом, отцом психоанализа Зигмундом Фрейдом. В переписке со своими близкими он интенсивно обсуждает свое и их отношение к идеям малозвестного еще философа Вильгельма Дильтея, высказывая, кстати говоря, их чистосердечное непонимание. Судя по этой переписке, в вопросах философии Т. Гомперц особенно ценит мнение своего старшего сына Генриха (1873—1942), будущего крупного философа неокантианского направления. Именно Генриху Гомперцу мы, собственно, и обязаны тем, что весь архив его отца был не только бережно сохранен, но и тщательно обработан, систематизирован. В 1935 году политическая ситуация в Австрии побуждает Генриха Гомперца, профессора Венского университета, эмигрировать в США, где он получает профессорскую должность в Калифорнийском университете. Еще до отъезда из Австрии он доводит до конца обработку автобиографического наследия отца и копии этого труда, составляющего в общей сложности свыше 2000 машинописных страниц, вывозит и сохраняет в архиве университета Южной Калифорнии.



\*\*\*

Предлагая отечественному читателю новое издание сокращенной версии главного историко-философского труда Т. Гомперца, отметим его главные концептуальные особенности. Ведущую идею этого сочинения (относительно публикуемой части сочинения) может выразить одна цитата, выбранная из него самого: «Эллинская наука (до времени Платона) имеет перед собой не одну задачу. На ее долю, или, по крайней мере, на долю тех гениальных умов, которые она создала, выпало грезить блестящие спекулятивные сны. Им было дано создать несравненное в области образов и слов. Но более чем несравненным, прямо единственным является другое достижение греческого духа: позитивная или рациональная наука». В этой короткой фразе высказано все, что Т. Гомперц довольно легко и ясно разворачивает на страницах своего труда. Исходя из достаточно традиционных аргументов в объяснении так называемой проблемы «греческого чуда», Т. Гомперц на протяжении значительного количества страниц сосредоточивает внимание на комментировании предфилософской, мифо-поэтической традиции в древнегреческой культуре, представляя ее в виде до-научного базиса всех дальнейших достижений греческого духа. Отсюда разворачивается и его «позитивистская» демифологизация и сциентизация ранних форм предфилософского европейского самосознания, отталкивающаяся от эволюционистского (т. е. выдержанного в духе дарвиновского подхода) разъяснения истоков возникновения и ближайших путей развития религиозных и мифологических представлений древних греков. Ранние формы религиозного опыта — фетишизм и анимистическая персонификация природы — объяснены Т. Гомперцем с концептуальным дополнением идей современных ему психологических теорий, — в качестве опыта индивидуального сознания (т. е. «опыта», понимаемого в духе Дж. Ст. Милля), сводимого к всеобщим, или общепризнанным истинам, с одной стороны, и — в качестве результата ассоциативной деятельности воображения, понимаемой в ключе «антропологического психологизма», т. е. такой ассоциативной деятельности воображения, которая, связывая воедино внутренние акты сознания, вместе с тем произвольно проецирует человеческие черты и свойства на объекты познания, относящиеся к внешнему физическому миру. Согласно этому взгляду, такое «очеловечивание природы есть в свою очередь некий до-философский вид абстрагирующей рефлексии», которая, по словам Т. Гомперца, «не только доставила неисчерпаемый материал инстинкту игры, постепенно облагораживающемуся до инстинкта художественного творчества, оно дало вместе с тем и первое удовлетворение научному стремлению человека». Отметим, что подобные концепции «психологического антропологизма», воспринятого Т. Гомперцем, видимо, под влиянием близкого общения с Францем Brentano (1838–1917), были, как известно, подвержены (безотносительно к Т. Гомперцу) основательной критике Э. Гуссерлем уже в «Логических исследованиях» (1900–1901), т. е. в самое напряженное время создания «Греческих мыслителей». Похоже, что критика Э. Гус-

серля теории, на которой Т. Гомперц в значительной мере строит свою концепцию возникновения предфилософского мышления древних греков, осталась незамеченной со стороны Гомперца, что, впрочем, вполне объяснимо из свойственного ему избегания какой-либо метафизической неопределенности и абстрактности мышления, ведь феноменология Гуссерля, собственно, положила начало новому метафизическому «всплеску» европейского самосознания, явив собой крайнюю противоположность конкретно-фактологическому, естественнонаучному методу позитивизма. Далее, с точки зрения главной идеи Т. Гомперца — идеи становления «начала позитивной науки», — ранняя античная философия, продолжающая традиции мифопоэтического периода, складывается из «многочисленных попыток вывести пестрое многообразие мира из начала единого вещества» (первовещества, первоматери или «материальной субстанции»), благодаря чему были открыты все пути «постижения всеобщих законов природы», «заложена основа точному исследованию природы — сначала астрономами, а вскоре физиками». Отсюда берут начало истоки всех философских парадигм ранней греческой мысли. Т. Гомперца интересует прежде всего та частица «положительного», т. е. «естественнонаучного» (в современном смысле этого слова) знания, которая, по его мысли, предвосхищает фундаментальные научные открытия девятнадцатого века. Таково главное, если изложить его в нескольких словах, содержание предлагаемого нами историко-философского труда выдающегося австрийского ученого. И хотя, на наш взгляд, некоторые оценки, даваемые Т. Гомперцем «научным» достижениям античного мира, носят явно преувеличенный характер, подробное критическое рассмотрение этих его наблюдений было бы неуместным в данном предисловии, поскольку, с одной стороны, оно потребовало бы большего объема, чем предусматривает данный жанр, с другой — труд Т. Гомперца является настолько законченным и целостным концептуально, что представляет несомненный самостоятельный интерес для широкого читателя, интересующегося духом и атмосферой классических античных штудий прошлого столетия.

# СОКРАТ И СОКРАТИКИ

## Оглавление

Глава первая . . . . .	7
Глава вторая . . . . .	30
Глава третья . . . . .	43
Глава четвертая . . . . .	61
Глава пятая . . . . .	84
Глава шестая . . . . .	108
Глава седьмая . . . . .	126
Глава восьмая . . . . .	154
Глава девятая . . . . .	187
Примечания и добавления . . . . .	219
Комментарии . . . . .	251
<i>А. В. Цыб. Теодор Гомперц — историк «античного позитивизма»</i>	V